

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Александр Александрович Бестужев-Марлинский Сочинения. Том 1

В.И. Кулешов. А.А. Бестужев-Марлинский

До недавнего времени многим современным читателям Бестужев-Марлинский был знаком больше по имени. Он известен, в основном, как декабрист, сподвижник Рылеева по изданию «Полярной звезды», и как соавтор агитационных песен. В сборниках поэзии декабристов он всегда заслонен более яркими талантами: Рылеевым, А. Одоевским. Его имя называется среди друзей Грибоедова, Пушкина, и последний характеризовал Бестужева как человека в высшей степени симпатичного, остроумного, но колкого, вызывающего на споры. В течение десятилетий немалую роль играло и предубеждение: Белинский в свое время развеял славу Марлинского как писателя, склонного к внешним эффектам, изображающего «неистовые страсти и неистовые положения»¹, а критик редко ошибался...

Но как раз критика Белинского и может многое нам разъяснить. Если вдуматься в его суждения о Марлинском, они на редкость доброжелательны и нелицеприятны. У Белинского была своя система критериев, связанная с его борьбой за утверждение реализма в русской литературе. Устами Белинского гоголевская эпоха выносила Марлинскому свой приговор. По-разному оценивал он Бестужева-критика и Марлинского-прозаика. Первого Белинский вообще никогда не подвергал сомнению. Его статьи, по словам Белинского, были «крайне интересны», отличались «верностью взгляда на предметы, остроумием и живостью»; автор их везде обнаруживал «эстетическое чувство и верный вкус человека умного и образованного»². И о последней его критической статье, написанной по поводу романа Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем», представляющей собой целый трактат о романтизме, Белинский сказал: «сколько... светлых мыслей, верных замечок, сколько страниц и мест, горячих, сияющих, блещущих живым, увлекательным красноречием»³.

О Марлинском-прозаике Белинский отзывался очень резко, отмечая у него «талант чисто внешний», отсутствие характеров, лиц, образов. Однако еще в «Литературных мечтаниях» писал: «Он одарен остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать с природы картинки-загляденье»⁴. А незадолго до своей смерти, когда уже с десяток лет не было в живых и самого автора, критик заявлял: «Марлинский был писатель не только с талантом, но и с замечательным талантом, не чуждым даже оригинальности и силы»⁵. Марлинский проигрывал только в

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч... т. IV. М... Изд-во АН СССР, 1954, с. 51.

² В. Г. Белинский. Полн. собр. соч... т. IV. М... Изд-во АН СССР, 1954, с. 30.

³ Там же, с. 32.

⁴ Там же, т. I, с. 83.

⁵ Там же, т. X, с. 361

сравнении с Гоголем, чья проза становилась с половины 1830-х годов господствующей в русской литературе. А где-то между Карамзиным, первым серьезно обратившимся к прозе, и Гоголем было уготовано прочное место Марлинскому, внесшему свой вклад в разработку жанров русской повести и рассказа. Его не зорно было похвалить и посреди шумных успехов «натуральной школы» 1840-х годов. «Марлинский был первым нашим повествователем, был творцом или, лучше сказать, зачинщиком русской повести»⁶, — писал Белинский.

Долгое время о Бестужева-декабристе вовсе нельзя было писать. Лишь в 60-х и 80-х годах прошлого века начались журнальные публикации его писем к родным: в этом немалая заслуга М. И. Семецкого, снявшего заклятие с имени «государственного преступника». Но в общественном сознании еще слабо связывались декабризм Бестужева с его литературной деятельностью. Позднее Н. Котляревский в книге «Декабристы» (1907) уделил много внимания именно писательскому облику Марлинского, не принимая всерьез его политические взгляды.

В советское время были опубликованы следственные дела декабристов, проведены специальные изучения — и ярко выступила роль А. Бестужева в революционном движении. Но еще расслаивался облик его на Бестужева-декабриста, Бестужева-критика, Бестужева-поэта и где-то отдаленно предстал Марлинский — популярный автор повестей и очерков, «опечатанный» однажды мнением Белинского, многими превратно понятым...

В 1937 году вышел сборник избранных повестей Марлинского (всего восемь) с предисловием Н. Л. Степанова. Затем началось обстоятельное изучение литературного наследия декабристов. Благодаря работам Н. И. Мордовченко, В. Г. Базанова, Ф. З. Капуновой⁷ многое разъяснилось в том, что громко называлось «Бестужев-Марлинский».

Сегодня можно засвидетельствовать наличие широкого читательского интереса к Марлинскому. В 1958 году быстро разошлись его Сочинения в двух томах. В 1976 году вышел еще один однотомник его повестей. И вот сейчас опять предлагается издание двухтомника, в котором — все жанры творчества писателя: повести, рассказы, очерки, стихотворения, статьи, письма.

Бестужев-Марлинский предстает как закономерное, сложное явление русской литературы. Он отдавал дань и высокому гражданскому стилю, и байронической рефлексии, поклонялся Гете, Шиллеру и новомодному Гюго, отстаивал романтическую программу декабристского движения и спорил с опережавшим это движение Пушкиным-реалистом, в своих фантазиях готовил появление ранних повестей Гоголя и зарисовками городского быта предвещал будущие «физиологические очерки» «натуральной школы»; в его повестях и очерках есть то, что готовило кавказские поэмы, «Кавказца» и «Героя нашего времени» Лермонтова; у него есть и то, что привлекало внимание Толстого, обдумывавшего свои «Севастопольские рассказы», «Кзаков», «Хаджи-Мурата».

Что же влечет теперь современного читателя к Марлинскому? Только ли возросшая любознательность?

1

В характерах всех Бестужевых: отца, матери, пяти братьев и трех сестер — отразилось определенное историческое время. И именно у Александра Бестужева — с особенной силой

⁶ Там же, т. I, с. 272.

⁷ Н. И. Мордовченко. Вступительные статьи к изданиям стихотворений А. Бестужева, в серии «Библиотека поэта», 1948 и 1961; Русская критика первой четверти XIX века. М.-Л., 1959 (раздел об А. А. Бестужева); В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Публицистика, проза, критика. М... 1953; Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.-Л., 1961; Ф. З. Капунова. Эстетика русской романтической повести. Томск, 1973

и яркостью. У него все исконно «бестужевское» прямо вело к «декабристскому».

Александр Александрович Бестужев родился 23 октября 1797 года в Петербурге, в обедневшей дворянской семье. Его отец А. Ф. Бестужев вместе с «радищевцем» И. П. Пниным издавал «Санкт-Петербургский журнал», проповедовавший идеи просвещения, гражданского равенства. Здесь отец поместил свой «Опыт военного воспитания», в котором начертал программу благонравия дворянских юношей. Все его сыновья, как и он сам, прошли военную службу; четверо из них: Николай, Александр, Михаил и Павел — были захвачены водоворотом 14 декабря 1825 года, сосланы в Сибирь, в солдатчину. Пятый — Петр — пострадал за то, что он Бестужев, «брат своих братьев», протаскал ранец в персидской и турецкой кампаниях, пока после унижений и измывательств не заболел психическим расстройством. Мать была простой нарвской мещанкой, даже не знала по-французски, но была чуткой и волевой женщиной, которая вместе с мужем не только воспитала детей в безграничной братской любви друг к другу, но и с глубоким пониманием отнеслась к их самопожертвованию во имя родины; только смерть помешала ей с дочерьми выехать к сыновьям — Николаю и Михаилу — в Сибирь.

Деятельность, смелость, верность долгу отличали Бестужевых. Николай Бестужев — морской офицер, автор ученых трудов, в Сибири впоследствии своею кистью создаст художественную галерею портретов декабристов и их жен, изобретет хронометр для кораблей, «сидейку» — специальный экипаж, который в Забайкалье так и будет наречен «бестужевкой»; брат Павел во время солдатчины на Кавказе изобретет особый прицел для пушек, который будет называться «бестужевским». Старшая из сестер, Елена, гордо встретит вечером 14 декабря нагрянувших с обыском на квартиру жандармов и не впустит их в спальню матери, а сама тем временем, обманув шпииков, стороживших дом с улицы, тайком переправит скрывающемуся брату Михаилу его амуницию. Она будет поддерживать в письмах дух своих страдальцев-братьев, даст издателю Смирдину копию автопортрета Александра Бестужева (сама пририсовав к нему кавказскую бурку, в чем был намек на солдатчину брата) для помещения в альманахе «Сто русских литераторов» (1838), что вызовет негодование Николая I. В 1847 году она с другими сестрами, Марией и Ольгой, — как «истинные русские женщины», — отправится к ссыльным братьям Николаю и Михаилу в Селенгинск. Переживет своих братьев Михаил, он станет хранителем их памяти, напишет воспоминания о них. Вместе с Еленой он будет помогать Семевскому осуществить его публикации⁸.

Благородство, смелая инициатива, беспримерная храбрость отличали Александра Бестужева. Он до восстания уже прославился как поэт, критик, повествователь. Даже в солдатчине под псевдонимом «Марлинский» он снова сделал себе имя.

Первоначальный выбор Горного корпуса, где Александр Бестужев недолго пробыл кадетом, не удовлетворил его, он оставил корпус и иронически, а как оказалось, пророчески, сказал матери: «Так меня и без Горного корпуса в Сибирь сошлют». Но порыв поступить в гардемарины, хоть и укрощенный тоже вскоре отвращением к математике, шел от сердца. Романтика моря отзовется позднее в повестях: «Лейтенант Белозор», «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин». Служба в лейб-гвардии драгунском полку, хотя и напоминает банальное круговращение жизни дворянской молодежи того времени, вводила в общество тех, кто впоследствии будет действовать на Сенатской площади, знакомила с солдатом, сталкивала с проявлениями аракчеевщины. В быстром восхождении, Бестужева, до должности адъютанта герцога Вгортембергского, не было ни тени карьеризма, желания преуспеть. Артистически, свободно он относился к переменам жизненного пути, словно испытывая свои силы. А между тем перед глазами открывалось ничтожество высшего света, правящих кругов, он убеждался, как все разлагалось при дворе, как даже среди аристократии

⁸ Богатый материал о Бестужевых приведен в издании: «Воспоминания Бестужевых». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1951

зрел заговор. Увлекаясь балами, сердечными романами, он чувствовал себя на пиру жизни и со всем пылом молодости отдавался ее радостям. Тут было и поприще для наблюдений и глубоких раздумий, закалка воли, бесстрашия, гордости. Бестужев умел по-рыцарски поддерживать свое достоинство: три раза стрелялся на дуэлях, был секундантом на дуэли Рылеева с кн. К. Я. Шаховским. «Кровь за кровь» назовет он позднее свою повесть, без его воли переименованную цензурой в «Замок Эйзен»: там тоже идет речь о защите чести от покушений наглой аристократии.

Все больше накапливался в душе Бестужева протест против казенщины, муштры. С гвардией он проделал в 1821–1822 годах бессмысленный поход в нищие российские западные губернии (первоначальный замысел у Александра I был бросить русские войска на подавление революции в Пьемонте), цель которого была рассеять воинские силы, вывести их из столицы, отвлечь умы после бунта в Семеновском полку. Бестужев же перед тем, на свой страх и риск, посетил в Кронштадте мятежный полк, уже находившийся под арестом и ждавший отправки в Свеаборг: хотелось проникнуть в психологию неповиновения, протеста, гордого несения кары. Личное желание посвятить себя высокому проявлялось у Бестужева в самых различных формах. Миротлюбиво настроенный Федор Глинка свидетельствовал в своих ответах на вопросы Следственной комиссии: «Александр Бестужев — человек с головой романтической... Я ходил задумавшись, а он — рыцарским шагом и, встретясь, говорил мне: Воевать! Воевать!» Вскоре всех окружающих людей он стал оценивать с этой точки зрения.

Бестужев вступил в Северное общество во второй половине 1823 года и занял в нем радикальную республиканскую позицию. Рылеев стал самым близким его другом. Накануне восстания они жили в одном доме. На «русских завтраках» у Рылеева (кочан кислой капусты, хлеб и водка) собирались единомышленники, принятые в тайное общество, и многие литераторы оппозиционных настроений.

Бестужев принял в тайное общество Каховского, Якубовича, А. Одоевского, Оржицкого, своих братьев Михаила и Павла. Он был участником всех совещаний, на которых обсуждался план выступления, предлагал захват Зимнего дворца и арест царствующей фамилии. В ночь перед восстанием он вместе с Рылеевым и братом Николаем обходил улицы, останавливал прохожих, разговаривал с часовыми, солдатами, убеждал не присягать Николаю I. Даже из Петропавловской крепости он писал царю в обстоятельном трактате, условно получившем название «Об историческом ходе свободомыслия в России»: «...признаюсь вашему величеству, что, если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки (то есть захвата Зимнего дворца. — В. К.), которой в голове моей вертелся уже и план». В этом же документе Бестужев глубоко проанализировал причины свободомыслия: вторжение Наполеона в Россию, вследствие которого поднявшийся на борьбу «народ русский впервые ощутил свою силу»; пробуждение «во всех сердцах чувства независимости, сперва политической, а впоследствии и народной»; походы во Францию и сравнение порядков в этой стране и у себя дома; недовольство во всех слоях русского общества: среди крестьян, мещан, купечества, дворянства, в войсках; разгул аракчеевщины. Бестужев не выгораживал себя и не раскаивался. Само столь откровенное обращение к торжествовавшему победу Николаю I — акт большого гражданского мужества со стороны Бестужева.

После восстания, не дожидаясь ареста, Бестужев явился вечером следующего дня на главную гауптвахту Зимнего дворца. Он был приговорен по первому разряду к смертной казни отсечением головы. Ему вменялось в вину то, что он: «Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии; возбуждал к тому других... участвовал в умысле бунта привлечением товарищей, сочинением возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов»⁹. Затем приговор был заменен

⁹ «Очерки по истории движения декабристов». М... Госполитиздат, 1954, с. 434.

каторжными работами сроком на двадцать лет с последующим поселением в ссылке; позднее срок каторги был сокращен до пятнадцати лет.

Отбыв год заключения в финляндской крепости «Форт Слава», Бестужев был отправлен в Якутск, где оказался в полном одиночестве. Братья Николай и Михаил были сосланы в Читу, а потом переведены в Петровский завод. На Кавказе отбывали службу братья Павел и Петр. Александру хотелось действовать, рисковать, быть среди друзей, теплилась надежда вырваться на свободу. В феврале 1829 года Бестужева, не без участия Грибоедова, переводят рядовым на Кавказ в войска Паскевича, сначала в Тифлис в 41-й егерский полк, потом через полгода — в Дербентский гарнизонный батальон. В 1834 году его перевели в действующую часть. За Бестужевым постоянно осуществлялся тайный надзор, никаких наград ему не полагалось, наоборот: извести при первой возможности — было намерение царя. Недобрые предчувствия никогда не покидали Бестужева, он делился ими в письмах к родным. Предчувствия особенно сгустились перед самой гибелью, на корабле перед десантом Бестужев даже составил духовное завещание. Много лет спустя Михаил Бестужев сообщал Семевскому: «...мы с братом (то есть с Николаем Бестужевым. — В. К.) были уже к этому подготовлены и письмами его, в которых пробивалась его решимость — искать смерти, и уже заметным намерением правительства вывести его в расход»¹⁰.

2

Первоначальную литературную известность Бестужев снискал себе как журнальный критик. Перевод «Оды о навигации» Лагарпа, помещенный в «Сыне отечества» за 1818 год, прошел незаметно. Можно лишь принять во внимание, что ода импонировала Бестужеву, успевшему полюбить море, и выражала настроения его активной натуры; недаром он придал переводу символическое название — «Дух бури». Более существенным был критический разбор катенинского перевода «Эсфири» Расина, напечатанный в том же «Сыне отечества» за 1819 год, № 3, который впервые был подписан псевдонимом: «Александр Марлинский» (лейб-гвардии драгунский полк, в котором служил Бестужев, стоял в части Петергофа, примыкающей к дворцовому строению под названием «Марли»). Первоначально этим псевдонимом Бестужев почти не пользовался, предпочитая подписываться своим настоящим именем или криптонимами. Популярность псевдоним «Александр Марлинский» получил в 30-е годы, когда им был подписан рассказ «Страшное гаданье», появившийся в «Московском телеграфе» за 1831 год.

Разбор катенинского перевода трагедии Расина был замечателен нелюбезной беспощадностью, несмотря на чрезвычайный авторитет Катенина в тогдашних литературных кругах: П. А. Катенин слыл знатоком драматургии, древнегреческих классиков, Корнеля, Расина. Кроме того, Катенин был в то время близок к декабристам и вскоре был выслан из Петербурга за то, что ошибался на сцене артистку Семенову, пользовавшуюся покровительством двора. В драматургии Катенин оставался классиком, а в других жанрах — в балладе, поэме — уже начинал пролагать пути романтизму. Складывавшийся декабристский романтизм был явлением сложным, и в рецензии Бестужева на катенинский перевод «Эсфири» чувствуются уже попытки сформулировать некоторые принципы гражданского романтизма. В следующей рецензии на постановку «Липецких вод» Шаховского Бестужев подверг уничтожающей критике автора популярных тогда русских комедий. Бестужев ставит ему в вину отсутствие характеров, противоестественность завязок и развязок, отсутствие настоящего действия, резонерский характер комедийности. Здесь впервые выдвигаются требования, которым гораздо позднее, в глазах Бестужева, удовлетворяла только грибоедовская комедия «Горе от ума».

¹⁰ «Воспоминания Бестужевых», с. 223.

От статьи к статье Бестужев быстро вырастал в ведущего русского критика, глашатая национальности и самобытности в литературе. Воплощением этих качеств, по его мнению, занималась та новая литература, которая создавалась писателями, активными участниками декабристского движения, и теми, кто к нему примыкал. Объединить же эти свежие силы Бестужев и Рылеев задумали в специальном альманахе «Полярная звезда» (вышло три выпуска: на 1823, 1824 и 1825 годы). В альманахе появились главные литературно-критические статьи Бестужева, выражавшие программу гражданского романтизма. Кроме того, декабристы почти полностью завладели «Сыном отечества» Н. И. Греча, в Москве появился альманах «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского (двоюродного брата поэта А. Одоевского), деятельно работало «Вольное общество любителей российской словесности», своего рода филиал Союза Благоденствия, со своим органом «Соревнователь просвещения и благотворения».

Декабристская литература, то есть творчество К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, А. И. Одоевского, В. Ф. Раевского, Г. С. Батенькова, самого А. А. Бестужева-Марлинского, на ранних этапах входивших в это движение Ф. Н. Глинки, П. А. Катенина или тесно примыкавших к ним в разной степени О. М. Сомова, Н. М. Языкова и других, — была одной из ветвей романтического направления в русской литературе. Оно разрабатывалось также В. А. Жуковским, К. Н. Батюшковым, юным Пушкиным, отчасти А. С. Грибоедовым (особенно после создания «Горя от ума»), по-своему отдал ему дань П. А. Вяземский. Развиваясь и разветвляясь в различных своих течениях, романтизм продолжал питать творчество В. Ф. Одоевского, А. Ф. Вельтмана, обрел своих журнальных глашатаев в лице братьев Н. А. и Ф. А. Полевых, из которых первый был и значительным прозаиком. Романтическим было позднее и творчество славянофилов А. С. Хомякова, братьев К. С. и И. С. Аксаковых. На сложных перекрещиваниях своих внутренних потоков романтизм дал такие громадной важности явления, как ранний Гоголь и Лермонтов.

Та линия в романтизме 10-20-х годов XIX века, которая пролагалась творчеством писателей-декабристов, в общих чертах достаточно ярко была заявлена самими декабристами, особенно в статьях А. Бестужева, Кюхельбекера и Рылеева.

Романтизму свойственно отталкивание от существующей действительности, недовольство ею, стремление создать «мир иной, и образов иных существовань» (Лермонтов) — и в декабристском романтизме это качество проявилось с наибольшей силой. Литературная программа у них вытекала из политической: борьба за национальную, самобытную героико-патриотическую литературу, именно декабристы взяли на себя главную миссию критики российской действительности, выражения духа оппозиции — и в этом смысле оказались наследниками всей русской сатиры XVIII и начала XIX веков. Вместе с тем декабристский романтизм проповедовал возвышенные идеалы общественной жизни, гражданские, патриотические добродетели, страстно искал в окружающей жизни и в русской истории героические личности, которые могли бы служить примером для современников. И в этом смысле романтики-декабристы оказывались наследниками русского гражданского классицизма и сентиментализма: ведь эти добродетели воспевали Радищев и поэты-«радищевцы», тот же Пнин, а также Княжнин и Карамзин. Декабристы-романтики были первыми, кто заговорил о необходимости «народности» в литературе, о выражении в ней неповторимого национального своеобразия.

Но идеология и литературные позиции декабристов имели и специфические черты, связанные с незрелостью и слабостью их движения. Декабристы выступали за народ, но без народа, как заговорщики — преувеличивали свои силы, свою способность перевернуть государственный строй в России. Отсюда же в литературе декабристов сосредоточение внимания на отдельных героях, а не на массе народа, прославление воли, героической личности, в уста которой вкладывалась, без должной исторической и психологической мотивировки, определенная гражданская и патриотическая программа. Произведениям этих писателей был свойствен некоторый схематизм образов, отвлеченная дидактичность, непростой, возвышенный литературный стиль. Пропагандистский характер романтизма

декабристов был его силой и его слабостью. Силой — поскольку в основе любой личности, любого деяния было сознание общественного долга, прогрессивной цели; в литературу активно включалась «политика», открыто произносился приговор над действительностью. Слабостью — поскольку этой программной устремленности придавался спартански-аскетический характер и не рассматривался человек во всей его внутренней сложности, противоречивости, в его связях с обществом, историей. Этот ригоризм сказывался не только в темах, сюжетах и образах собственного творчества декабристов, но и в однобоких суждениях о Карамзине, Жуковском и, что особенно досадно, о Пушкине, который шел в своем творчестве путем широчайшего синтеза лучших достижений всей русской литературы. Пушкин не раз указывал на узость подхода А. Бестужева-критика ко многим важным вопросам. Те явления, которые возникали не в русле их программы, не удостоивались высокой оценки или нередко приспособлялись к их собственной доктрине, получая однобокую, пристрастную оценку.

И само декабристское движение было сложно и многослойно, в нем были свои внутренние противоречия. По-разному, например, осознавались гражданские задачи «республиканцами» Пестелем, Рылеевым, А. Бестужевым, с одной стороны, и более умеренными Никитой Муравьевым и Ф. Глинкой — с другой. Далеко не совпадали в своих границах романтическая программа, которую формулировал А. Бестужев в критических статьях, с той программой, которую обрисовал близко общавшийся с декабристами О. Семов в трактате «О романтической поэзии», обсуждавшемся и одобренном на заседании «Вольного общества любителей российской словесности». Были различные оттенки в отношениях декабристов к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Никита Муравьев, как известно, полемизировал с ней, его поддерживал Михаил Орлов: «История принадлежит народам» — вот их главный тезис (а не «государям», как утверждал Карамзин). Но спор по этой линии с Карамзиным заслонял для Муравьева и Орлова другие достоинства «Истории...» Карамзина, а их хорошо видел А. Бестужев. Он сознавал, что эта «История...» помогает увидеть героические личности в Древней Руси, живые предания Новгородского и Псковского веча, деспотизм царей и князей, патриотические подвиги народа, не раз спасавшего Русь. Вот почему у Бестужева и Рылеева (в «Думах») встречается много заимствований из Карамзина.

Не разделял А. Бестужев и чрезмерно критического отношения к Жуковскому со стороны Кюхельбекера и Рылеева. Бестужеву принадлежит известная эпиграмма на Жуковского («Из савана оделся он в ливрею...»), но придворная служба Жуковского не заслоняла в сознании Бестужева достоинств поэта, которому он сам в ряде случаев следовал; и у Рылеева в «Думах» северные, мрачные, «оссиановские» пейзажи нарисованы в духе баллад Жуковского. Чувствуется этот балладный дух и в некоторых «ливонских» повестях Марлинского. Есть определенная литературная преемственность между его же рассказом «Страшное гаданье», повестью «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» и балладами Жуковского «Людмила», «Светлана». Патриотическое же стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов» было чрезвычайно по душе декабристам.

По всеприемлемости явлений, отзывчивости на самые тонкие их оттенки Бестужева можно назвать одним из самых широких по кругозору декабристов-романтиков. В своем интересе к Байрону и Шекспиру, Гете и Шиллеру, Вашингтону Ирвингу и Эдгару

По он далеко превосходил многих своих приятелей-литераторов и даже наиболее чуткого к исканиям всего нового Рылеева.

Как литературный критик Бестужев во многом был предшественником Белинского.

В одной из первых своих статей, «Взгляд на старую и новую словесность в России», Бестужев набросал живую картину развития русской литературы, выделив в ней самые важные процессы, развитие обличения, сатиры и гражданского свободомыслия. Нередко ошибаясь в отдельных оценках, он в общем верно угадал главный пафос русской литературы. «Возвышенные песнопения» он прослеживает от «соловья Бонна», упоминаемого в «Слове о полку Игореве», до Рылеева, «сочинителя гимнов исторических»,

который «пробил новую тропу в русском стихотворстве», избрал «целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Кантемир — «верный живописец нравов и обычаев века, будет жить слабою в дальнем потомстве!», Ломоносов — «целым веком двинул вперед словесность нашу», Фонвизин — «в комедиях своих „Бригадир“ и „Недоросле“ в высочайшей степени умел схватить черты народности...», Крылов — «возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство». Идеалом же поэта, который является и «лириком-философом», и первым стал «говорить царям истину», и как «поэт вдохновенный» открыл тайну «возвышать души пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний», был для Бестужева Державин. Державина воспел в известной думе и Рылеев. Конечно, декабристы идеализировали Державина, приписывали ему слишком много доблести и смелости. И все же, как и Пушкин, они ценили в Державине «бича вельмож».

Бестужев прослеживает в старой и новой словесности развитие стиливых форм, средств художественной выразительности. Это позволяло ему даже у самых высокочтимых поэтов подмечать не только сильные, но и слабые стороны. Так, у Кантемира — «неровный, жесткий» слог, у Ломоносова — «единообразие в расположении и обилие в рассказе». У самого Державина — «часто восторг его упреждал в полете правила языка и с красотами вырывались ошибки». Но особенно важно в статьях Бестужева — внимательное и уважительное отношение к писателям, не являвшимся прямыми предшественниками декабристов, но ценным им за большие заслуги в преобразовании русского языка. Для Бестужева это — часть вопроса борьбы за национальную самобытность русской литературы, Карамзин важен для него тем, что чуть ли не первым «блеснул на горизонте прозы», совершенно еще не обработанной никем; «он преобразовал книжный язык русский» «и дал ему народное лицо». Отодвигая на будущее оценку Карамзина как историка — «время рассудит», — он считал, что Карамзин уже и теперь достоин благодарности современников за «решительный переворот в русском языке». Точно так же и с Жуковского наряду с Батюшковым Бестужев ведет отсчет истории «новой школы» русской поэзии. И те самые мечтательность, призрачность, туманность колорита поэзии Жуковского, которые через год подвергнутся разгрому в нашумевшей статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» на страницах «Мнемозины», — все они получили у Бестужева высокую оценку. Бестужев и объясняет нетленные, «чарующие столь сладостными звуками» свойства поэзии Жуковского: «Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы, как знакомцев, встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим — былое». А ведь это — точно мысль Белинского, которая будет положена великим критиком в основу его оценок Жуковского.

От мажорного тона первой статьи, прослеживающей развитие русской литературы за много веков, Бестужев более сдержанно переходит к обозрению успехов литературы за один, 1823-й год. И хотя он пытается отсчитывать ритм развития литературы, идущей к определенным, по его мнению, целям, все же большее внимание он уделяет ее недостаткам, с той же сугубо декабристской точки зрения. В чем же они, эти недостатки?

Бестужев недоволен тем, что после общественного подъема, вызванного войной 1812 года, когда слова: «отечество и слава» электризовали каждого, наступило охлаждение ко всему родному, «политическая буря утихла, укротился и энтузиазм». Тайною мыслью Бестужева является подчинение литературного развития той новой политической «буре», которую готовили сами декабристы. И поскольку эта буря мыслилась как дело ближайшего будущего, отсюда и отсчет ритма литературного движения — обзор его по годам. Самым значительным выглядело упоминание об успехе в прошлом, 1823-м году «Полярной звезды», которая быстро разошлась, и почти все повести из нее были переведены на немецкий язык и повторились в других заграничных журналах. Только по быстрому и благосклонному приему «Полярной звезды» заметно было, что не погас жар к отечественной словесности в публике.

Вся эта статья Бестужева пронизана пафосом ожидания «новой тропы», которую должна проложить в литературе «Полярная звезда».

В последней статье, то есть обзоре русской словесности за 1824 и начало 1825 годов, сливались мотивы прежних статей Бестужева, приобретали особую остроту, получали более глубокое объяснение. Автор с тем большей яростью нападает на «подражательность» литературы, чем яснее видит, что одними понуканиями критики ее не сделаешь оригинальной. «Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски?» Бестужев уже готов даже не связывать целиком судьбы русской литературы с успехами «Полярной звезды». Он ищет таланты и гении вокруг, ищет, на кого же опереться. Но оценки его носят по-прежнему пристрастный характер. И все выдает в нем убежденного романтика. Вот перед ним первая глава «Евгения Онегина», только что вышедшая в свет, и «Цыганы», которые он знал в рукописи. Начало стихотворного романа не манит его, это — всего лишь «заманчивая одушевленная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, — стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу». Бестужев не чувствует, что именно в этом обращении к «прозе» жизни и была сила романа Пушкина, его реализм. Бестужеву важнее те произведения, где «мечта уносит поэта» от повседневности. В «Цыганах» его прельщает как раз романтизм, «молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей...». В этих суждениях Бестужева о Пушкине четко обозначилась ограниченность романтизма критика, хотя декабристский романтизм нес в себе много важных проблем, решение которых способствовало становлению русского реализма.

Пушкин в письме к Бестужеву от мая — июня 1825 года оспорил многие положения его статьи: «У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает»; «Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кой-какая у нас есть, а критики нет»¹¹. Оспаривал Пушкин в письмах к декабристам и недооценку содержания «Евгения Онегина», казавшегося им слишком легким, недостойным поэзии.

Высокая оценка Бестужевым «Горя от ума» как творения «народного», «феномена», какого не видали мы от времен «Недоросля», казалось, противоречила тому, что только что было сказано о «Евгении Онегине»; тут как раз в похвалу Грибоедову ставились: «Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах...» Но «ум и остроумие» явно подразумевают образ Чацкого-обличителя, который импонирует Бестужеву, а не саму по себе «картину нравов». Назвать прямо Чацкого в статье Бестужев не захотел, зная о цензурных гонениях на комедию Грибоедова, еще не напечатанную. Резко же обрисованный Чацкий выигрывал во многом в его глазах по сравнению с более противоречивым героем романа Пушкина. Высокая оценка реалистической комедии Грибоедова объясняется особым декабристским ее прочтением.

3

Уже первые опубликованные стихи Бестужева свидетельствовали о доминирующем значении в них гражданских тем. Жанр послания, в отличие от карамзинистов и «арзамасцев», не носил у Бестужева легкого, эпикурейского характера. Послания у него обязательно включают мотивы некоего служения высшим идеалам. Так, в послании «К К у» (1818), поэту и вольнодумцу, воспитаннику Пажеского корпуса, он советует в невзгодах жизни преодолевать малодушие, вселяет в него чувство уверенности: «Возможно жезл судьбы железной // Терпением перековать». «Подражание первой сатире Буало» (1819) начинается с ноты пушкинского стихотворения «Вольность»: «Бегу от вас, бегу, Петропольские стены». Основной темой стихотворения оказывается обличение пороков той

¹¹ А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. 9. М... «Художественная литература», 1977, с. 149, 150.

жизни, которую он оставляет. В послании «К некоторым поэтам» (1819) оплакивается оскудение русского Парнаса, всеилие людей «испорченного тона», недостойных ни Державина, ни Крылова, ни Карамзина. Здесь подспудно вырисовывается некая программа обновления литературной арены, хотя четко это намерение и не определено. Программа вырастает между строк стихотворения «К Рылееву», в котором пародируется баллада Жуковского «Иванов вечер» («Замок Смальгольм», 1822) и упоминается некая «поэма» Рылеева — всего вероятнее, «Войнаровский». За дружеской полушутливостью обращения к Рылееву проступает пророческое предвидение возможной судьбы автора этой поэмы: оно Бестужевым вкладывается в уста опасливого Плетнева, удостоившего крамольную «поэму» своего косвенного взора:

За возвышенный труд
Не венец тебе — кнут
Аполлон на Руси завещал.

Можно определенно утверждать, что до 14 декабря Бестужев выступал как поэт рылеевского склада: его влекли гражданские темы и «любовь никак не шла на ум». Бойкие, задорные «агитационные песни»: «Ах, где те острова...», «Ты скажи, говори...» и другие, предназначавшиеся для распространения в казармах, — сочинены были с хорошим знанием законов устного солдатского фольклора, с запоминающимися повторами, прибаутками, колкими издевками над царскими порядками и самим царем, «немцем нашим русским». Песни распространялись и среди простого народа. Один мемуарист зафиксировал, что полицейские запрещали петь лодочникам-гребцам на Неве популярную песню Нелединского-Мелецкого «Ох, тошно мне на чужой стороне», потому что усматривали в ней прототип крамольной песни Бестужева и Рылеева, написанной на тот же голос, но с характерной переделкой: «тошно мне» не «на чужой», а «на родной стороне». В советское время была доказана принадлежность Бестужеву думы «Михаил Тверской», впервые появившейся в «Сыне отечества» за 1824 год, за подписью: Б....в. Она написана в духе «Дум» Рылеева: в ней главное — высокое моральное поучение, которое завещает мученик Золотой Орды своему сыну: «Всегда будь верен правде, чести».

В основном верным рылеевской школе Бестужев-поэт оставался и в годы испытаний. Поэму «Андрей, князь Переяславский» (1826) (из задуманных пяти частей написано было только две) Бестужев создавал в «Форте Слава». Обе ее части без ведома автора, анонимно были напечатаны в 1828 и в 1831 годах. Выбор героя для поэмы — младшего сына Владимира Мономаха — и гражданская риторика напоминали приемы прежней декабристской поэтики, по которым написаны «Думы» Рылеева и «Михаил Тверской» Бестужева. Но внутренняя проработка образа несла в себе уже горький опыт пережитого. Появились иллюзии о возможности власти, основанной на взаимном понимании и любви парода и князя, мыслящего дворянства и царя. Ведь даже записка «Об историческом ходе свободомыслия в России» заканчивалась надеждами на то, что Николай I — великодушный и проницательный — может стать другим Петром Великим. Андрей Переяславский был прозван в народе за свои личные качества Добрым: он посвятил себя не гордыне и славе, а «общественному благу». Поэма не получилась художественно ценной, так как не несла в себе продуктивной идеи.

Значительными были успехи Бестужева-поэта в эти годы, особенно там, где он погружается в свой внутренний мир и открывает в самом себе живого человека, преисполненного прежних благородных идей, но понимающего сложность жизни, отдающего ее многообразию или желающего быть сопричастным мотивам, волновавшим других поэтов. Он интенсивно переводил из Гете, из Гафиза. Таковы философское стихотворение «Череп» (1828), элегия «Осень» (1829). В первом из них поэт, наперекор очевидности — все в мире подвержено тленью, — провозглашает, что «мысль, как вдохновенный сон», никогда не умирает. Во втором — выводы более грустные: «Не призвать

невозвратимого, // Дважды сердцу не цвести». Собственная своя судьба, «таинственная быль» поэту представляется в виде низвергающегося в бездну водопада:

Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал!

Бестужев задумывается над проблемой вечности и бессмертия:

Хоть поздней памятью обрызгни
Могилу тихую певца.

(«Шебутуй»)

А думы о земных царях, о Наполеоне, с его «строптивою десницей» и безумным кличем: «хочу — могу», заканчиваются выводом, что народы о владыках-честолюбцах уже ведут «сомнительную речь» «с улыбкой хладного презренья» («Часы»).

В поэзии «позднего» Бестужева начинали готовиться лермонтовские мотивы. Еще в поэме «Андрей, князь Переяславский» промелькивает стих:

Пловец плывет на челноке,
Белеет парус одинокий.

Есть что-то лермонтовское и в заключительных строках стихотворения «К облаку» (1829):

Блести, лети на ветерке, Подобно нашей доле, —
II я погибну вдалеке От родины и воли!

Изгнанником, «последним сыном вольности» чувствовал себя Бестужев. Ведь и формула: «с улыбкой хладного презренья» — готовит финал лермонтовской «Думы». Бестужевские «светлые народов поколенья» — это то же, что «потомок — гражданин», с его «презрительным стихом» на устах; являлось это как бы и моделью еще одного будущего лермонтовского стиха, «Поэт»: «покрытый ржавчиной презренья». Таков он был, Бестужев, «недосказанный поэт», — как он сам говорил о себе...

4

Трудно переоценить заслуги Бестужева, который одним из первых в истории русской литературы XIX века серьезно обратился к прозе. На вопрос: «чья проза лучшая в нашей литературе?» — Пушкин в 20-х годах отвечал: «Карамзина», но «это еще похвала не большая»¹². Сам Пушкин приступил к прозе в то время, когда Бестужев уже прославился повестями и очерками. Гоголь выступил около этого же времени, то есть в начале 30-х годов. Но, неоспоримо, за вычетом карамзинской прозы в «Истории государства Российского» (сильно возмужавшей в связи с необходимостью рисовать «шекспировские» характеры Ивана Грозного, Бориса Годунова), бестужевская проза на протяжении 20-х и начала 30-х годов была «лучшей». Она своеобразно сосуществовала с прозой Пушкина, Гоголя, соперничала с ними и во многом их предваряла.

Это особенно заметно на некоторых частных моментах. Можно определенно утверждать, что широкая картина крестьянских поверий, суеверий, глубоко уходящих в языческие времена, фольклор, воспроизведенные в «Страшном гаданье» Бестужева (напечатано в самом начале 1831 года), предваряют соответствующие украинские мотивы в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя (первая часть появилась в печати в сентябре

¹² А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. 6. М... «Художественная литература», 1976, с. 228.

1831, вторая — в начале 1832 года). Название бестужевского произведения «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» и его многосоставность, когда попеременно сменяющиеся рассказчики передают друг другу житейские истории одна другой страшнее, также предваряют рассказы Рудого Панька и других лиц, вроде дьячка ***ской церкви, Степана Ивановича Курочки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Следы «бивуачных», офицерских, историй, рассказней о дуэлях, на которые Бестужев был великий мастер, заметны в «Выстреле» Пушкина, перекликается «Страшное гаданье» — с пушкинской «Метелью» (мотив блуждания на лошадях в непогоду, мотив похищения возлюбленной). В свою очередь, дагестанские очерки Бестужева продолжали линию пушкинского «Путешествия в Арзрум», беллетристических описаний краев России, еще только намечавшуюся в русской литературе.

В целом проза Бестужева оставалась по своей основной программе декабристской. Подходил он к прозе через прямые политические, публицистические задачи, являвшиеся составной частью идеологии декабризма и его гражданского романтизма. Тематический ее диапазон с годами расширялся.

Еще в 1818 году в «Сыне отечества» Бестужев поместил перевод одной из глав книги баварского посланника при российском дворе графа фон Брая «Опыт критической истории Лифляндии с картинами нынешнего состояния сей области», в которой автор сравнивал положение крестьян в русских губерниях и Лифляндии и со скорбью говорил о крепостном праве в России. Несомненно, именно эта тема привлекла Бестужева у Брая; цензура повымарала немало мест в его переводе.

В конце 1820 года Бестужев совершил путешествие в Ревель и затем описал его, опираясь на личные впечатления и хроники Б. Руссова, Х. Кельха. Внешне это путешествие напоминает карамзинские «Письма русского путешественника», но «Поездка в Ревель» Бестужева ближе к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву». Его занимают не исторические достопримечательности, а картины угнетения народа, предания о борьбе эстов и ливов против немецких меченосцев. Это произведение открывает у Бестужева целый цикл «ливонских» повестей: «Замок Венден» (1823), «Замок Нейгаузен» (1824), «Ревельский турнир» (1825), «Кровь за кровь» (1825).

На многих из них лежит печать влияния эстонских эпических песен «Калевипоэт», народных преданий о псах-рыцарях, поэзии трубадуров. Пушкин отмечал влияние Вальтера Скотта в «Ревельском турнире», причем следует иметь в виду не только исторические романы В. Скотта, но и ранние поэмы на средневековые шотландские сюжеты. Чувствуется определенное влияние и «готического романа» Анны Радклиф, хотя Бестужев нигде не идеализирует рыцарство. В этих повестях заметна песенная, сказовая основа, с резким противопоставлением добродетельных и злых героев. Жестокий магистр Рорбах в «Замке Венден», издевавшийся над крестьянами, топтавший их поля, погибает от благородного рыцаря Вигберта, выступающего в роли мстителя за народ. При этом У декабриста Бестужева еще не сам народ мстит за себя, и вместо турнира-поединка тиран погибает в результате заговора. Погибает и самосудный убийца Вигберт. Как и в «Вольности» Пушкина, здесь некий абстрактно понимаемый нравственный закон своим мечом «без выбора скользит» над головами всех, кто преступает его нормы.

В «Замке Нейгаузен» подвергается суду нравственность рыцарства, по которой благородные люди оказываются жертвами коварных честолюбцев (старый барон Отто, и его семья, и Ромуальд фон Мей), В повести намечается некоторое усиление народного колорита. Включаются образы пленных новгородцев, Всеслава и Андрея, которые находят общий язык с эстонскими крестьянами-простолюдинами, освобождают из темницы Эвальда и карают Ромуальда. Все органичнее спаянными у Бестужева оказываются судьбы русского и эстонского народов.

С наибольшей художественной мотивированностью нарастание демократической силы, которая взрывает рыцарство, показано в «Ревельском турнире», лучшей повести ливонского цикла. Победителем спесивого рыцаря Унгерна оказывается молодой рижский купец Эдвин,

которому и латы, и копьё, и меч пришлись по плечу. Ему достается царица турнира, дочь барона Буртнека. Эдвин сильнее всех рыцарей и нравственно: «он умел мечтать и чувствовать». Его победа над рыцарем кончается городской свалкой, дракой между благородной аристократией и «черноголовыми», то есть купцами, которые единодушно поддерживают Эдвина. Бестужев в повести исторически верно показал обреченность рыцарства и всего феодального уклада.

И уже совсем внешней ширмой ливонский колорит выступает в повести «Кровь за кровь». В развенчании самодурства и зверств феодалов видны явно русские помещичьи порядки. Не случайно исследователи давно сопоставляют ее с «Дубровским» Пушкина. Вместе с тем ливонский колорит здесь отработан лучше, чем в какой-либо другой повести: мастерство Бестужева нарастало. И то заветное, что всегда водило его пером в этих случаях, — сказать громче о русских порядках, — в этой повести выступало как прямая аналогия. Даже, кажется, ссылки на ливонские хроники здесь служат для отвода глаз цензуре. В самом повествовательном строе чувствуются не традиции трубадуров, а образы и мотивы русских сказок, вплоть до таких прямых речений, как «ни в сказке сказать, ни пером описать»; есть здесь и «избушка на курьих ножках», и образ колдуньи, бабы-яги. И описания Регинальда и его невесты даны в традициях русского сказа: «молодец он был статный и красивый...», «приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай бог памяти», «девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу». Снимается и проблема двойной вины: племянник Регинальд отомстил своему дяде Бруно, жестокому обидчику; Регинальда в его самосуде поддерживает парод.

По границам Ливонии разбросаны были новгородские и псковские земли. Для декабриста Бестужева древние Новгород и Псков были символами исконно русской вечевой демократии, попранных затем тиранами. Неверно представляя себе историческую роль Москвы как объединительницы Руси, Бестужев идеализировал новгородскую вольницу. Повесть «Роман и Ольга» (1823) посвящена этой характерной для всей декабристской литературы теме. Бестужев писал, что он, работая над повестью, вникал в новгородские летописи, опирался на песни и сказы (в описании кулачного боя, например, явно сказалось влияние былины о Василии Буслаеве). В повести встречается много реалий, отсылающих нас к концу XIV века, когда московские князья делали первые попытки задушить новгородскую свободу. И все же исторические факты излагаются тут по заранее заданной схеме. Герой повести — новгородец Роман — и отважный воин, и лазутчик, проникающий в московский стан и самое Москву, и песнопевец, и достойный жених дочери именитого гостя новгородского Симеона Воеслава. Роман беден, но благороден душой, и после многих приключений и подвигов соединяется с Ольгой.

Главное в повести Бестужева — апофеоз храбрости, доблести, борьбы против тирании во всех видах. Бестужев ставил те же цели, что и Рылеев в «Думах»: «возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Предки эти не собственно исторические лица. Бестужев, в отличие от Рылеева, сам выдумывает героев, старается «домашним образом» показывать историю. У него герои носят более обмирщенный, буднично-характер, но все же они непременно герои. Как и Рылеев, он в их уста вкладывает свои слова: «Спешу, куда зовет тебя долг гражданина» (слова разбойничьего атамана Беркута в повести «Роман и Ольга»).

Этот выход в житейский план таил большие возможности для Бестужева-прозаика. Он создает еще в 1823 году повести из хорошо знакомого ему армейского быта: «Вечер на бивуаке», «Второй вечер на бивуаке». Это даже собственно и не повести, а отрывочные рассказы офицеров о примерах храбрости, удали и молодечества, которые они совершали сами, свидетелями которых были или слышали о них от других. Эти анекдотические случаи развернутся у Бестужева позднее в еще более широкое полотно: «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». То, что это не было далекой историей, а выглядело как повседневный армейский быт, как предмет восхищения между равными храбрецами, чрезвычайно приближало тему героизма к простым людям, лишало ее выпяченной ходульности, избранности, обособленности от других сторон жизни. Бестужев начинал выводить эту тему

за рамки чисто декабристского ригоризма: тут и «любовь шла на ум», иногда даже помогала совершать подвиги, и светские увлечения не «позорили гражданина сан». Бестужев все больше и больше выводил прозу на широкие просторы жизни.

Но оставалась верность прежнему пафосу исканий героики. Бестужев ищет ее везде — можно сказать, на суше и на море: «Лейтенант Белозор» (1831), «Фрегат „Надежда“» (1833), «Мореход Никитин» (1834); в светских темах: «Испытание» (1830), «Страшное гаданье» (1831); в экзотическом Кавказе: «Аммалат-Бек» (1832), «Мулла Нур» (1836). В поддержании этой героики нуждалось общество, переживавшее время упадка. Тенденция эта была так велика, что она выдвинет еще в эти годы Лермонтова с его «кавказскими» и «демоническими» темами, Гоголя с «Тарасом Бульбой», Пушкина с «Песнями западных славян», «Кирджали», «Дубровским».

Пережитая катастрофа несколько перестроила творчество Бестужева: оно стало автобиографичней, с большей опорой на увиденное и достоверное в жизни, с большей отдачей себя объективным впечатлениям, более критическим в отношении к прежней восторженной вере в силу разума, священного порыва, в скорую возможность преобразования мира.

Случай, непредвиденные обстоятельства лежат в основе «Морехода Никитина», «Аммалат-Бека», «Муллы Нура», хотя сюжеты этих произведений основываются на реальных былях. Бестужев изучает Кавказ досконально, создает цепную очерковую литературу о нем, изобилующую реальными наблюдениями над бытом и нравами горцев, в частности рисуются и их темные обычаи, дикие привычки. В «Письмах из Дагестана» и других очерках, в повестях «Аммалат-Бек», «Мулла Нур» дано много этнографического, фольклорного материала, много и подчеркнутой экзотики. Бестужев знал шесть языков, в том числе и татарский, который изучал на Кавказе, от самого парода. Любознательности его не было границ, недаром он писал братьям Полевым из Дербента: «Я настоящий микрокосм. Одно только во мне постоянно — это любовь к человечеству...» (1831)¹³. И родным через два года: «Вообще Кавказ вовсе неизвестен: его запачкали чернилами, выкрасили, как будку, но попыток узнать его не было до сих пор»¹⁴.

Неизведанными казались ему Россия и русский народ. Он хочет зарисовывать картины жизни с натуры, как фламандец Теньер, которому он поклонялся, постичь как философ его место в семье человечества. Бестужев терпеть не мог туманной, фаталистической немецкой «метафизики», которая наиболее интенсивно (в системах Шеллинга и Гегеля) занималась осмыслением этих проблем. Он писал Полевым в начале 1832 года: «Чтоб узнать добрый, смышленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в расхмель на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тяпуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? какое оригинальное существо, какое святое существо и какой чудный, дикий зверь вместе с этим! Как многогранна его деятельность, но как отличны его понятия от тех, под которыми по форме привыкли его рисовать! Этот газетный мундир вовсе ему не впору. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает... хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал, на батарею, лежать под пулями в траншее, под перевязкой в лазарете; да, безделица: ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хламу, и потом дар, чтобы снизить из этих перл ожерелье! О, сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моей рассыпанных, не мог я соорудить ничего доселе!»¹⁵

¹³ «Русский вестник», 1861, № 3, с. 304

¹⁴ «Русский вестник», 1870, № 7, с. 47

¹⁵ «Русский вестник», 1861, № 3, с. 319.

Тут целая программа творчества, видно, в каком направлении шла мысль Марлинского и его художественные поиски.

В другом месте он рассуждает об отличительных особенностях храбрости русского солдата, который «неохотно идет в огонь, но хорошо стоит в нем», и потому, что не умеет уйти, не смея послушаться, и потому, что русскому солдату доступны все высокие чувства: и честь полка, и честь родины, его увлекают пример и красное слово. А есть и такие, «которые так же радостно идут в дело, как в кружало»¹⁶.

Сам Марлинский лишь отчасти осуществил обширную программу, им намеченную. Его мореход Савелий Никитин с шестью «русаками» взял в плен английский карбас, вместе с капитаном и командой, почти голыми руками, бывши в плену у англичан. Есть у Марлинского небольшой, снятый прямо с натуры очерк «Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом». Сопоставления типов храбрости русской и французской, русской и чеченской постоянно проходят в его повестях.

Наблюдательность Марлинского вовсе не ограничивалась военным бытом: тут и описания намаза и других мусульманских обычаев, и описания главной мечид под Дербентом, и целые выкладки по ботанике, коль уж судьба завела лейтенанта Белозора в оранжереи добряка Саарвайерзена. В манере скрупулезного В. Гогарта он зарисовывает в «Испытании» «чрево» Петербурга: возы, торговые ряды на Сенной площади, пишет целые трактаты о святочных гаданиях, чтобы их вставить в повесть. Эти не организованные в сюжете огромные массы эмпирического материала, натуралистических зарисовок готовили взрыв романтизма и переход прозы к реалистической достоверности.

Экстравагантные, авантюрные интриги, приключения, рискованные похождения, дуэли героев — все еще остаются ведущими мотивами в повестях Марлинского. У него все запутанное распутывается, самые трагические ситуации счастливо кончаются. Он еще увлекается своим узорчатым стилем, пристрастием к каламбурам, гусарским остротам. Как говорил Белинский, «у Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово с завитком». Его «быстрые» повести слабы в психологических мотивировках, причины и следствия сменяются с молниеносной быстротой, любовные объяснения упрощены. Все это оставалось «марлинщиной» и устаревало на глазах.

И все же можно говорить о некоторой эволюции Бестужева-Марлинского как писателя-романтика. Много значила душевная поддержка, полученная Бестужевым во время кавказской службы со стороны московских журналистов братьев Николая и Ксенофонта Полевых, издававших с 1825 по 1834 год один из самых передовых русских журналов — «Московский телеграф». В 30-х годах началась между ними, по инициативе Бестужева, деятельная переписка. В трудные для Бестужева годы братья Полевые поддержали его, предоставив страницы «Московского телеграфа» для его выступлений как автора повестей и как литературного критика. Их переписка показывает, в какой степени Бестужев втягивался в решение тех задач, которые вставали перед русской литературой в 30-х годах. Н. Полевой посылал Бестужеву произведения Гофмана, «от которого Европа с ума сходит и которого, вероятно, Вы не вполне еще знаете»¹⁷. Гофмана он действительно до этого недолюбливал. Возможно, «гофмановщина» в какой-то мере отразилась в фантастических мотивах последующего творчества Марлинского. «Посылаю Вам при сем, — писал в другом письме Н. Полевой, — „Notre Dame de Paris“ В. Гюго — произведение, изумившее Францию»¹⁸. Гюго пришлось весьма кстати: в ответных письмах Бестужев называл его «гением

¹⁶ См. там же, с. 323.

¹⁷ «Известия по русскому языку и словесности», т. 2, кн. I. Л. ... Изд-во АН СССР, 1929, с. 207.

¹⁸ Там же, с. 213

неподдельным» (противопоставляя даже Бальзаку), и можно определенно сказать, что «теория контрастов» Гюго оказала влияние на изображение страстей у Марлинского.

Именно в эти годы реалистическое творчество Пушкина несло в себе самые великие стремления к демократизации всей русской литературы. Постепенно происходила эволюция и у Бестужева-Марлинского. Более сложным он стал рисовать внутренний мир героев. После «премиленного рассказца» «Лейтенант Белозор», в общем тоне которого «много добродушия и непритворной шутливости» (Белинский), во «Фрегате „Надежда“» слышатся истинно драматические тона. Лишь первоначально его герой напоминает беззаветной храбростью героя предыдущего произведения, а со второй части, как это отмечал и сам Бестужев в письмах к родным, происходит трагический слом в его отношениях с княгиней Верой. Тут Марлинский выступает настоящим психологом. Здесь, так же как и в повести «Испытание», его начинают занимать те самые «одушевленные картины неодушевленного нашего света», которые он некогда порицал в первой главе «Онегина».

Повесть «Аммалат-Бек» строится на коллизии двоимирия героя, который не раз переходит границы между воюющими сторонами, и служит то своим, то русским, дружит с полковником Верховским, и сам верит в свою дружбу, и все-таки убивает его и по стечению обстоятельств и потому, что «кровь заговорила». Марлинский гордился тем, что ему удалось художественно свести своды в этой повести. «Характер Аммалата, — писал он братьям Полевым, — выдержан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга»¹⁹. Грешник или злодей — эта дилемма волновала Марлинского и в «Изменнике». Двоимирие героя начинало его интересовать все определеннее. Тут готовились темы «Измаил-Бая», «Каллы» Лермонтова, «Казачков» и «Хаджи-Мурата» Толстого.

«Я стараюсь изучать человека во всех положениях...»²⁰ — писал он братьям. И действительно, в «Страшном гаданье» перемешаны реальные и фантастические планы, причем сон кажется явью, а реальность неправдоподобной. Внешне банальная история: рассказ офицера конногвардейского полка о своем страстном увлечении Полиной — обрастает такими фантазмагорическими видениями, такими опросами совести, неожиданными действиями героя, которые он совершает произвольно, не подозревая сам в себе сил на это, такие трагедии ожидают его на избранном пути, что все это проливает свет на сложный, еще не изведанный характер людских отношений. Фантастический элемент усложнял характеры — это была своеобразная форма углубления психологизма Марлинского.

Многие повести и рассказы Марлинского еще рассыпались на отдельные эпизоды. Внешне они связаны в целое в «Вечере на Кавказских водах в 1824 году». Вставные куски мешают плавности и замкнутости, например, в повести «Страшное гаданье» и особенно в «Мулле Нуре». В ряде случаев Марлинскому уже удавалось создать и сюжетно целостные произведения, такие, как «Ревельский турнир», «Испытание», «Аммалат-Бек». Приобретает большую целостность вторая часть «Фрегата „Надежды“». «Сырые» материалы подчас несли в себе новые наблюдения над жизнью и подтачивали романтизм. Все же Бестужев еще не нашел способ создать из них целостную эстетическую систему. Но, не сумев сделать этого сам, он помогал писателям, идущим вслед за ним.

Бестужев, например, нередко предугадывал сюжетные ситуации, вытекавшие прямо из самой жизни, которые вслед за ним и более успешно разрабатывали другие писатели. Так, в «Вечере на бивуаке» он предварил некоторые мотивы «Горя от ума». Подполковник Мечин — это, конечно, в зародыше Чацкий. Он навсегда покидает дом князя, где избирают в женихи человека «без чести и правил»; княжна Софья — предшественница Софьи

¹⁹ «Русский вестник», 1861, № 3, с. 307.

²⁰ «Былое», 1925, № 5, с. 119.

Фамусовой: она предпочла Мечину другого. А в иных случаях Бестужев пытался полемизировать с чужими сюжетами; такова его повесть «Испытание», в которой он старается «исправить» пушкинского «Евгения Онегина». Стрелинский и Гремин — такие же друзья-враги, как и Онегин с Ленским. Но герои кончают свои запутанные отношения мирно: Стрелинский женится на графине Алине, Гремин на Ольге, сестре Стрелинского, сумевшей вовремя предотвратить их дуэль. Каждый герой прошел свое испытание. Стрелинский, в отличие от дилетанта Онегина, всерьез оседает в деревне и занимается «улучшением быта своих крестьян». Но Бестужев не замечает, что практицизм его Стрелинского ниже неугасающего недовольства Онегина жизнью и собой. И личное счастье Алины, пожертвовавшей светом ради деревни, не может идти ни в какое сравнение с судьбой пушкинской Татьяны, в которой отразился подлинный трагизм жизни русской женщины.

Подробное исследование всех переключек Марлинского с русскими писателями показало бы, что у него есть и свое описание Терека, предвещающее Лермонтова, и свой намек на будущую гоголевскую «тройку», сравнение Москвы и Петербурга, которое займет потом славянофилов и ярко пройдет в публицистике Белинского и Герцена. Все это показывает, каким живым умом обладал Марлинский, человек несобранный, но яркий, устремленный вперед,

Марлинский как художник начинал понимать, что чувство дистанции между героями и автором, между описываемыми событиями и современностью — обязательные условия творчества. Полушутливо он писал братьям Полевым: «Надобно, чтобы событие отдалилось на исторический выстрел»²¹.

В большой статье о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» (1833) он подвел итоги своим размышлениям о романтизме. Здесь все романтическое не является только лишь построением лучшего «мира иного», а драгоценно своими неповторимыми приметами времени. «Мы живем в веке романтизма...» — заявляет Марлинский и тут же, рядом, ставит другое положение: «Мы живем в веке историческом», — и добавляет: «в веке историческом по превосходству». Во всех литературах Европы и даже Индии Марлинский старается проследить нарастание реалистического начала в человеческом мышлении, пристрастие к самобытным национальным и историческим краскам. И в итоге он приходит к выводу, что прежние экскурсы в историю уже не годятся, надо все начинать сначала: «Мы стоим на брани с жизнью», «мы должны завоевать равно свое будущее и свое минувшее», должны воспроизвести «мать-отчизну точь-в-точь, как она была!». Конечно, все эти сдвиги в сознании Марлинского не выводили его еще за рамки романтизма, но переакцентировка внимания с «воображения» на «историю» — явно новая ступень в эволюции его романтизма. Как развернулось бы дальнейшее творчество Марлинского — гадать трудно, но, несомненно, оно поднялось бы на какой-то еще более высокий уровень.

Однако судьба готовила трагический конец этой яркой и замечательной жизни. Угрозу своему положению Бестужев-Марлинский начинал чувствовать каждодневно и с особенной тягостью. Чувство страшного одиночества привело его незадолго до смерти на могилу Грибоедова в Тифлисе, а к этому времени пришла и весть о гибели Пушкина. Он заказал священнику панихиду по двум убиенным «боляринам» Александрам. Не прошло четырех месяцев, как не стало и его.

Бестужев был убит в схватке с черкесами при высадке десанта у мыса Адлер 7 июня 1837 года. Горцы отступили в небольшой лес у берега, солдаты увлеклись преследованием, Бестужев был с ними. Он был ранен сначала пулей, солдаты подхватили его, истекавшего кровью, и повели к воде, но налетели черкесы. Труп Бестужева не удалось опознать даже при размене телами убитых на следующий день. «Какая тяжелая судьба всех современных поэтов», — писал Бестужев брату Павлу в феврале того же года, перед самой своей гибелью.

Что же может интересовать современного читателя в Марлинском?

²¹ «Русский вестник», 1861, № 3, с. 287.

Кроме возрастающего желания познать все самые отдаленные явления русской классики, в Марлинском подкупает прямой, непосредственный пафос рыцарского служения истине, красоте, женщине, беззаветная преданность долгу, чести, доблесть, храбрость. Приключенческая основа его экстравагантных сюжетов захватывает нас так же, как и в «Трех мушкетерах» Дюма, демонстрирует всесилие человеческой воли, бескорыстия, честности. Кроме того, Марлинский в высшей степени морален; он воспитывает ненависть ко лжи, деспотизму, бесстрашию в борьбе с ними — и все это у него броско, сильно, непосредственно, несмотря на некоторую устарелость, несовершенство художественного воплощения. Он подкупает читателя жаром страсти, сокрушения сил тьмы и насилия во имя торжества светлых начал. Далекое прошлое — но оно представляет собой живую духовную ценность для нас.

Роман и Ольга*

Старинная повесть²²

I

*Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец? «Вам розно быть! — вы им сказали. —
Всему конец!» Что пользы в платье золотое
Себя рядить? Богатство на земле прямое
Одно — любить!
Жуковский*

— Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский, брату своему. — Не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новгороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках военных²³ и на все смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе, — он беден, стало быть, не видать ему за собой Ольги.

— Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь!

— Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему — ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новагорода.

— Если б не торговые выгоды! — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.

— Да, да, если б не торговые выгоды! — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. — Выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским, а мою дочь — богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.

²² Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, Для проверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского» Карамзина, «Разговоры о древностях Новагорода» пресвященного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского. (прим. автора)

²³ Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том «Ист. гос. госс.» Карамзина, примеч. 251. (прим. автора)

— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не избрет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счета, но худо страсти людские. Ольга может в твою угодую скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!..

Слово совет пробудило гордость Симеонову.

— Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, наворачившиеся на глазах от речи Юрия. — Старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя — за помин о старшинстве. Один глядел в косячатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака; оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решил избавиться себя и брата от затруднения уходом.

— Прощай, братец! — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку.

— С богом, Юрий! Но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.

— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостинный, сотник конца Славенского. — Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной?

— Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери?

— Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новагорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!

— Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели²⁴, у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе.

— Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердислава²⁵.

— Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым!

— Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...

— Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.

— Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...

— Вольному воля! — повторил раза два Симеон, провожая брата.

Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами

²⁴ Брак сопровождаем был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под венцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подруги молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на тридцати девяти снопах разного жита, и один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенника. (прим. автора)

²⁵ Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 3, стр. 172. (прим. автора)

старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого; судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды.

«Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно, выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного; он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы; Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье; наконец природа взяла верх: в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась рососою отрады.

II

*Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.*

А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пядями, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку и, когда Волхов умчал гадальный веночек ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты, ей казалось как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский, и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев, на поморье и на подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду,

сидя с братьями Воеславами, по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богородицы²⁶. С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозного величия бича вселенной — Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекали внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоцепные пояса дев русских обратились в смычки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину, от берегов Черного моря.

Неустрасимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские; но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытии, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, пронизали сердце. «Неужель все то правда, что поется в песнях?» — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей.

«О, конечно! — отвечала няня. — В сказке — басня, а в песне — быль».

И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и — неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: «Люблю, люблю Романа!» Ты спознала, непреклонная красавица, грусть и сладкие вздохи, и неясные желанья, и, в награду бессонницы, сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!..

Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня²⁷. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него; еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.

— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку. — Выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.

Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: «Беги!», сердце шептало: «Останься!» «Что скажут добрые люди?» — повторял разум. «Что станет с милым, когда ты скроешься?» — замечало сердце. Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.

²⁶ Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную, «Ист. гос. Росс», том 5. (прим. автора)

²⁷ Рюэнь — сентябрь, (прим. автора)

— Ольга, — сказал тогда Роман, — я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи, бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих — счастье. Решайся!

Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты, любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.

— Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая. — И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! Совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет, отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого.

Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспылчивый Роман укорам девы.

— Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою, — и вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностию! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковерных! Любовь ваша — одна прихоть, болтлива и летуча как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным нет оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и все, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? Не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом все у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилостивого супружества, — немилостивого, говорю я?.. Но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежнее!.. И может статься, если переживу я свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе.

— Неблагодарный друг! — говорила красавица. — И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. А теперь!

— Прости, прости меня, бесценная!.. — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение.

— Жить и умереть с тобою! — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым.

Души пылкие! вам они понятны: вы изведали сии волшебные мгновения, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагодарит побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься, дождемся благословения отеческого.

Роковое «да!» излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

*Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой.
От вопля их дубравы воют,
Они стопами землю роют.*
Дмитриев

Наступил день праздника.

Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород, запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга, И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыко благословляет яствы, гремит труба, и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолудином, иноверец рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством; благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой.

Протекли с того дня три века; изменились князья Новагорода; зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую.

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу.

— Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн, и все господа рыцари немецкие и все ясные паны Литвы! — говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенок русских; певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших.

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь, — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери, этого довольно — меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, куда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал, потому что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новугороду и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путях, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения; он был счастлив!

— К играм, к играм! — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную.

Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике; они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого

нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, страусовыми перьями. Забрало опущено, черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружающих садов, вьет пыль и окровавленную шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжело вооружение, и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита;²⁸ кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот рассказали противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, удар! — и копыта в осколках, и кони, сгрянувшись, поверглись наземь; рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы.

— Прекрасны ваши брони, — говорили, поднимая их, новгородцы, — но для нас несручны: русский не согласится сидеть, будто в засаде, в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!

Литовские пятигорцы²⁹ на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое; легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы³⁰ надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копыта, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув повод на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотолле самопалы³¹ и, как перуном, разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством.

— Удалы наездники! — говорят про них меж собою новгородцы. — А не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удалцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правою: вот удар — и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов, удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечаевого колокола; изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда

²⁸ Военно-торговое общество братьев шварценгейптеров, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию, (прим. автора)

²⁹ Пятигорцы — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. *Opis starozytny Polski przez T. Swieckiego*. (прим. автора)

³⁰ Прильбица — шлем, а иногда наличник (*visiere*). (прим. автора)

³¹ Самопалы — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже. (прим. автора)

общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, — послы князей Василия Дмитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как позволите вы явиться им перед собою?

— Теперь, сейчас! — воскликнули тысячи. — Допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство.

Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженной головою, поклонился народу и читал:

— «Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Нижегородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы, — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое; желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев; требуем того же от Новгорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на средину и громко вещал:

— «Новгородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников³². Так ли поступают союзники? Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги? Новгородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами и болота не щит Новгороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пущу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!»

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников³³ проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Завережский, муж правдивый, но миролюбный, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту оною, и общность угроз, и высокомерие княжее; но вы знаете меру

³² Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе Смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и Литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление цриневские области. (прим. автора)

³³ Действительный посадник назывался степенным, прежние посадники — старшими. Каждый конец, или часть города, имел своего старосту, делился на военные и торговые сотни. Первейшие местичи, или граждане, назывались огнищанами и житыми людьми. В боярское достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, то есть обществом; но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинаковыми правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую расправу — в думе, (прим. автора)

сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение — избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не все: немцы — приятели нам только в гостином дворе и злодеи

в поле; набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою; за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села, и монастыри, и запольские³⁴ посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов; теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?

— Правда, правда! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?

Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова.

— Говори! — зашумели все. Роман говорил:

— Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно было, когда послы князей винули и стращали нас по-своему; дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями, — ужели будем играть душою, чтобы угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочь? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство паше? Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «пустой мех стоять не может!»

Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть нелегко; в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единоклассия; Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен, — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? Разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братии своих³⁵, или нет в Новгороде сердец новгородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстанут тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород; за нас наша мать, святая София!

³⁴ Запольские — загородные. (прим. автора)

³⁵ Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом семьдесят человек, терзали на площади московской. «Они исходидали кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 5, стр. 135. (прим. автора)

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

*Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!*

Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев; сон смежил очи заботы. Покойно все на берегах Волхова; только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя; ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные фереzi, прочитала молитву вечернюю, sprыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правою ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки? Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и статью. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами, забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи?

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волнение беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и, наконец, решается встать с постели; долго ищет ножкою по холодному полу туфель сафьянных, — каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бречанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдаль Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. Прости, в последний раз, все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители! Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отягощает над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истасешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлую мыслию. «Нет! не огорчу, не обесславлю побегом родителей! — сказала она с благородною твердостью. — Роман ослеплен любовью, но он меня послушает, — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим.

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

*Под звездным небом терем мой,
И первый друг мне — мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный —
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий — верный конь,
Со мною в воду и в огонь;
Мои гонцы неподкупные —
Летуньи стрелы каленые.*

Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремя. Протяжный звон службы всеобщей раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице дево, радуйся», и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными.

«Мучительно оставить милую, — мыслил Роман, — когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски; но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного; да будет воля его святая!»

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает, — то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков, на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову, по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прят ушами, храпел, робко ступал, но все было тихо; Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью! — загремел неведомый голос, и пять удалцов, выскочив из-за обрушенных пней, из-под моста, заступили ему дорогу.

— Прочь, бездельники! — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покотился от сабельного удара.

— Режьте его! — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих; пробиться и ускакать была его единственная надежда; но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова; он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту, и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало.

Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их бранных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой, с свистком в руке; атаман, с завязанною головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту; вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался.

«Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего; наконец со страхом схватился за грудь... На ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей.

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности; мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай: великий князь грозитя на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избегнуть; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят столничать добром народа; собирают татарской рукою двойные подати, продают правду; обманывают князей и простолудинов. Итак, спеши в Москву; никем не знаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалеи ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастья в битве, силу Новгорода и упорство новгородцев, Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных, — с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому, святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману, кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы, — все напрасно: смертный сои оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романи, мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженым опереньем стрелы.

— Здравствуй, земляк! — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос.

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем, — и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст.

— Понимаю! — возразил, усмехаясь, атаман. — Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой; не дивись этому: гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободрись, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.

С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.

— Благодарю! — отвечал Роман. — Я еще не пью питья хмельного; оно для меня как яд.

— Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши. — Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и

презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливное море, но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров; ложный стыд повлек меня с вольницей новгородскою на берега Волги, нечестным копьем добывать золота³⁶. Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам; добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост волховский, разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Мсть глубоко заронилась в оскорбленное сердце; как лютый зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея, — и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца, — он не может забыть ни былого, ни вечного будущего!

Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника.

— Счастливцев ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом.

Он закрыл лицо руками.

В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса.

Конь Романа кипел под седлом;

Беркут прощался с гостем.

— Вот твои письма, — говорил он, — и твоё золото; оно невредимо. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю своё отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропею из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

Ты без союзников.

— Мой меч союзник мне

— И сограждан любовь к отеческой стране.

Озеров

³⁶ Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в ладьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих. (прим. автора)

Три дни ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; все кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны, посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! по своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им.

Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

— «Великому князю Василию Димитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! у нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир». Только! — примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину. — Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новагорода.

Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу.

— Новгородцы! — сказал он. — Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?

— Хотим дружбы со всеми соседями, — воскликнули тысячи голосов, — но, имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов!

— Война, война! — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь, — и гибель области Новгородской!

— Пусть Витовт творит что хочет; мы сделаем что должны! — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим:

— Новгородцы! Еще есть время одуматься; еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, оп ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новугороду!

Упреки Путного раздражили народ; ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал:

— Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя: Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча, а что им сказано, то свято.

Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой; для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?

— Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом!

— Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все. — Но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца³⁷. Мы станем за свою правду, за свою старину, — а кто против бога и Великого Новагорода!

Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

*Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?*

³⁷ Румянец, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего. (прим. автора)

Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви; расчетливые моголы не смели касаться святынь, сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпенье, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным; в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное добро пожаловать встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего чем бог послал и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Роман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи».

На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золотоверхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. А теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своею мыслию, узнал мысли великого князя; они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны; но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя; товары их не были разграблены. Новгородцы радовались, Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча; Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного...

Вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, бречанье оружия, чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клепят рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан, позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман все еще глотал ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новгороде, и отступил от изумления.

— Тебя ли, Роман, вижу я? — воскликнул он. — Когда и как ты сюда попался?

Роман рассказал, что его схватили, как врага Москвы.

— Сожалею о твоей участи, — молвил Сыта, — но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, — однако ж не иначе, как с условием остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! Я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь не то; даю мое

слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которою не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, — продолжал он, протягивая руку, — не правда ли, старый знакомец?

— Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием. — Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новагорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом! Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а умерить меня поскорее.

— Ты получишь ее, упрямая голова! — с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью.

С гордою, утешительною мыслию — умереть за любовь и отечество, ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

*Как мне слушать пересудов всех людских!
Сердце любит, не спросясь людей чужих;
Сердце любит, не спросясь меня самой.*
Мерзляков

Быстро текут слова повести; не скоро делается дело. Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене: уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; все оживает, все радуется, — одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями; она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу.

С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить, — говорила с собою невинная, — потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот недостоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого — когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, умереть на его могиле».

Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.

— Ольга! полно горевать, полно упрячиться! — не раз говорил ей Симеон. — Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне без родном! Выбирай... женихов именитых много!.. — И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован, выходил Симеон из девичьего терема.

«Это пройдет!» — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями, сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы сзвонили вече.

— Князь идет на нас; что делать? — спросили сановники.

— Предложить мир и готовиться к битве! — воскликнули все единогласно.

— Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха; Василий принял их, но не хотел слушать.

— Да будет! — сказали тогда оскорбленные новгородцы. — На начинающего бог!

Обнялись как братья и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятины, вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.

— Прощай, Ольга! — сказал Воеслав решительно. — Я еду на службу Новгорода; чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться, мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Болотом; он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, очень богат! — примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься!

Отчаяние помрачило взор Ольги; она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка! какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад.

Русская пословица

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец, жаворонок! Как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти. Слетай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка.

Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины.

— Спишь или нет, товарищ? — шепотом спросили Романа.

Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» отвечали:

— В этот раз добрые люди.

— Зачем?

— Спасти тебя от плахи.

— А эта цепь, эта решетка?

— Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы.

И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки; по веревке перелезли они через монастырскую стену, — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу; загадка Романова разгадалась.

— Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дни (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы,

как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыба; куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород или биться к Орлецу?

— Туда, где мечи и враги! — воскликнул пылкий юноша. Они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников-двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копьям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто ие думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распушены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры. Пленный обратил речь к десятнику:

— Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете?

Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух и замолчал.

— Неужто вы, москвичи, только умеете такать? — продолжал пленник.

— Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы.

— Что же там со мной сделают?

— Что сделают? Отправят на покой! — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву П на воздухе.

Ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом.

— Беркут! — сказал Роман атаману, — спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все.

Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «Сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника: самые храбрейшие разбежались, другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал плененного и узнал в нем — Симеона.

— Добрый, великодушный юноша! — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи; поспешим!

Роман, с радости о битве и невесте, перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьём.

— У этого копья еще не выросло ратовье! — отвечали с насмешкою москвитяне. — Впрочем, милости просим: мы готовы мечом охристоваться с дорогими гостями.

— Вперед! — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы.

Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в

них тяжкие стрикусы³⁸. В это мгновение приспели наши путники.

— Други! — сказал Беркут разбойникам, — мы долго жили чужбиной без чести — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!

Он указал, на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна; русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою, но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступление, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

Х

*Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте «Многи леты»!*
Жуковский

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о гибели первейших воинов, о приближении войска княжого. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице; топот ближе и ближе, пронеслись мимо сада, ворота заскрыпели, и два всадника взвезли на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу³⁹.

— Это батюшка, батюшка!

Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеням, и Ольга бросилась в объятия отеческие.

— Тише, тише! — говорил Симеон ласково. — Ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы побережь для твоего жениха!

Это приветствие как громом поразило Ольгу.

— Милый батюшка, — говорила она, рыдая, — не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества, я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.

— Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса — и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.

— Нет, никогда, ни за что!

— Эй, дочь, не ручайся за свое сердце, — да вот, кстати, и жених; он поможет развеселить несговорчивую!

Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего.

Перед нею стоял Роман Ясенский.

³⁸ Стрикусы, пороки — стенобитные орудия, род таранов (belief). (прим. автора)

³⁹ На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое. (прим. автора)

— Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слышали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой, с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Оп мой!» «Как мила невеста!» — шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любуясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату копей и слонов, и добрый Юрий говаривал: «брат и друг! не прав ли я в выборе?» — и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «так, я был виноват!»

Замок Венден*

(Отрывок из дневника гвардейского офицера)

Мая 23, 1821 года

Говорят, маршрут переменен и полк наш станет в Вендене.

Итак, я увижу сей столичный город древнего ливонского рыцарства, искони знаменитый битвами, осадами, усеянный костями храбрых, запечатленный кровию основателя. Винно фон Рорбах, первый магистр Меченосного ордена, построил Венден, первый замок в Ливонии⁴⁰. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его гроб; не думал, что трофеи побед станут свидетелями его смерти, и смерти бесславной.

Рыцари, воюя Лифляндию, покоря дикарей, изобрели все, что повторили после того испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества. Смерть грозила упорным, унижительное рабство служило наградой покорности. Напрасно папы гремели проклятиями на хищников священных прав человечества⁴¹, вотще напоминали крестоносцам их обет братской любви к побежденным, приявшим крещение, и кротости с обращаемыми в христианство; кровь невинных лилась под мечом воинов и под бичами владельцев. Вооружаясь за священную правду, рыцари действовали по видам алчного своекорыстия или зверской прихоти. Старшины Ордена примером своим вливали соревнование в подчиненных; жестокость служила правом к возвышению, и Рорбах недаром был магистром.

Однажды, в красный день осени, со стаей собак выехал он полевать в лугах и лесах соседних.

Людная дворня толпилась вокруг его: доезжачие, вооруженные копьями, скакали на литовских конях, с гордостью грызущих непривычное им железо мундштука германского; стремянные, с ножами за поясом, вели на смычках любимых собак господина, и старый ловчий с звонким рогом за спиною, на крымском жеребце⁴², поодаль следовал за

⁴⁰ Кроме Вендена, построенного в 1204 году, он выстроил замки Сегевольд и Атераден. (прим. автора)

⁴¹ Папы Иннокентий III, Григорий IX и Александр III настаивали, чтобы новообращенные христиане не были угнетаемы под игом суровейшего рабства, ставившего их наряду с животными бессловесными; но сии благородные усилия остались бесплодны. (прим. автора)

⁴² Рыцари покупали коней наиболее у литовцев, а сии, имея стычки с крымцами, могли доставать лошадей крымской породы, особенно уважаемых за быструю скачку. (прим. автора)

охотниками и каждому назначал место, когда гончие из острова выгонят зайца или поднимут серого волка или хитрую лисицу. Окрестным поселянам приказано было оставлять работы свои и спешить в лес, — чтобы криком выгонять робких его обитателей.

— Вассалы рыцаря Вигберта фон Серрата не слушают твоих приказаний! — сказали магистру его посланцы, и магистр закипел гневом, поскакал к ослушникам, и бичи засвистели над их головами.

— Остановись, Рорбах! — вскричал Вигберт, приближаясь к магистру. — Остановись! Я не велел им тебя слушаться.

— Тем хуже для тебя, Серрат!

— Но тем страннее, что ты наказываешь их за повиновение их владельцу.

— Фон Вигберт, кажется, не в шутку вступает за этих бездельников.

— Для меня нет там шуток, где страждет человечество. Неужто для одного наружного украшения начертали мы кровавый крест на груди своей? Крест — символ благодати и терпения?

— Терпения — для вассалов? Эти получеловеки служат, покуда у них рогатки на шее и страх над головою!

Коротко и ясно, Вигберт, не у тебя первого, не у тебя последнего я это делаю: повинуйся...

— Другие мне не указ. Пусть они подражают тебе, пусть тебя превосходят; я ставлю в честь быть защитником моих вассалов и не попушу угнетать их никому, ни для чего. Одному удивляюсь, магистр, что ты, избранный нами в блюстители правосудия, нарушаешь все его законы!

— Рыцарь! я не прошу твоих советов, не хочу слушать выговоров; но ты обязан слушаться приказов магистра.

— Верю, магистр, что ты не охотник до правды; но терпенье мое вырвалось из границ. Я молчал, когда ты тенетил серн в рощах моих, на моих заповедных лугах травил зайцев; но теперь, когда бог дает селянам погоду, а ты отрываешь руки от бесценного труда, когда топчешь конями хлеб, орошенный кровавым потом, когда, наконец, казнишь подданных за послушание к власти, я должен был высказать, что сказал.

— А я сделаю, что делал. Рыцарь фон Серрат! властью магистра приказываю тебе послать вассалов своих, куда мне вздумается.

— Рорбах! Винно фон Рорбах! вспомни, что ты говоришь? Для того ль облечен ты властью, чтоб употреблять ее на смех? Магистр Меченосного ордена посылает — гонять зайцев!!

— Дерзкий! ты забываешься. Последний раз говорю тебе: повинуйся!

— Требуя излишнего, ты потерял должное; не повинуюсь.

— Возмутитель, бунтовщик! или не узнаешь во мне магистра?

— Не узнаю, привыкши видеть магистров на поле ратном или в суде правды — не с арапниками, не в разбое.

— Ведаешь ли, грубиян, чему подвергаешься ты неуважением к этой мантии?

— Я только жалею, что она кроет чолвека, который должен напоминать о своем сане, забывая свой долг. Вижу в ней достоинство Ордена и не вижу в тебе чести рыцарской...

— Презренная тварь! благодари судьбу, что со мною нет меча моего...

— Малодушный хвастун! хвались храбростью перед эстами, разгоняемыми звуком шпор; но мое стремя не дрожало в боях, копьё не опиралось на крюк⁴³ в турнирах, между тем как седло твое часто холодело без тебя, поверженного в пыли...

Магистр не мог снести последнего укора.

— Подлец! — вскричал он в запальчивости, — за твою дерзость, за твои мнения ты

⁴³ Под правым плечом рыцарской кирасы приделывался железный крючок, на который, для твердости в руке, упирали рыцари средину ланца, взявши его наперевес (en arret). (прим. автора)

стоишь рабского наказания. — С сим словом он ударил бичом безоружного Вигберта.

Вне себя, окаменев, скрежеща зубами от гнева, стоял Серрат; и магистр был уже далеко, когда чувства иступления излились в клятвах и угрозах.

Вот письмо, написанное им к магистру рукою капеллана:⁴⁴

Благородный рыцарь Вигберт фон Серрат к Рорбаху.

Обида моя требует крови, и я повергаю перчатку к ногам обидчика. Пусть огромен щит Рорбаха, зато не короток и меч мой. Берегись отвергнуть бой честный: кто обижает и не дает ответа копьем, тот стоит смерти разбойника. В случае отказа — клянусь честью рыцарскою — последняя капля крови Рорбахов застынет на моем кинжале.

Магистр отвечал следующим:

Магистр Ливонского меченосного ордена, наместник Рижского епископа и владелец многих замков, Видно Родольф фон Рорбах Вигберту.

Мне низко нагибаться за твоей перчаткой. Щит отцов моих широк не из робости, но для герба, который чистили твои предки; а мечами разве тогда мы померяемся, когда петля, тебя ожидающая, станет почетнее золотой магистерской цени. Поезжай лучше, Серрат, в Литву, искать по себе сопроотивников; там, говорят, за битого дают двух небитых. Что ж до угроз твоих, они мне забавны. Я слишком презираю тебя, чтобы страшиться.

Венден

— Ты произнес свой приговор, презрев суд божий благословенным оружием⁴⁵, — сказал Серрат, и последняя слеза до сих пор невинной совести канула на убийственное лезвие кинжала.

День навечере, солнце тихо садится, и лучи его, как бы нехотя, меркнут в цветном зеркале окон венденских. Зарево гаснет, — угасло, и холодный туман уже встретился с мраком востока.

Ужин в замке окончился: тяжкий стакан празден, и магистр, как домовод, на дубовых креслах, посреди кубиасов⁴⁶, вооруженных хвостатыми бичами, отбирает отчет дневной работы, назначает утреннюю, распределяет кары. Угрозы его вторятся готическими сводами и заставляют трепетать подобострастных вассалов. Наконец патер возвышает голос вечерней молитвы, и все домашние на коленях читают за ним «Gredo»⁴⁷ и «Ave Maria»⁴⁸. Земные поклоны заключают молитву; каждый целует распятие, и вот огни замелькали по коридорам, голоса едва перешептываются с отголосками; но скоро умолкает самый шелест шагов, и мертвый сон воцарился повсюду.

Золоторогий месяц едва светит сквозь облако; дремлющий лес не шелохнет, и черная тень башен недвижно лежит на поверхности вод. Изредка дуновенье вспорхнувшего ветерка струит складки знамени гермейстерского, и, ниспав, они снова объемлют древко. Одно

⁴⁴ Редкие из рыцарей умели грамоте, и домовые капелланы исправляли у них должность секретарей. (прим. автора)

⁴⁵ Так мыслили в те варварские, непросвещенные времена. Всякая распря, всякая обида решалась оружием, и победитель считался оправданным самим судиею небесным. (прим. автора)

⁴⁶ Кубиас — староста. (прим. автора)

⁴⁷ «Верую» (лат.)

⁴⁸ «Хвала тебе, Мария» (лат.)

мерное бречанье палаша часового раздается по степам замка. То, опершись на копьё, он погружает наблюдательные взоры свои в темную даль, — то, в мечтах об оставленной родине, о далекой невесте, напевает старинную песню. Он поет:

О звуки грустные, летите
К моей красавице Бригите!
Давно меня мой добрый конь
Умчал дорогою чужою;
Но не погас любви огонь
Под тяжелой броней стальнойю.
А ты, в родимой стороне,
Верна иль изменила мне?
В походах дальних, на пирах,
Опершись в боевое стремя,
Ты мне казалась в мечтах:
Я вспоминал былое время
Наяве с милой и во сне;
А ты грустишь ли обо мне?
За честь твоих, Бригита, глаз
Не первый ланец изломался,
И за тебя твой шарф не раз
Моею кровью орошался.
А ты, в далекой стороне,
Готовишь ли награду мне?
Богатый изумруд сверкал
На нежной шее девы пленной, —
Я для тебя его сорвал
Рукой любви неизменной.
Для золота, для красоты,
Ужель мне изменила ты?
Я видел смерть невдалеке:
На камнях Сирии печальной
Мой конь споткнулся — и в руке
Меч разлетелся, как хрустальной,
Булат убийственный блистал,
Но я Бригиту призывал!
А ты?..

Блудящий огонь по болоту приводит его в суеверный страх, и он, стыдясь боязни своей, закутывается в плащ, будто проникнутый холодом.

Но чья тень мелькает в парах, изменяющих току реки в глуши дикого леса? Не привидение ли то, страж клада князей Герсики⁴⁹, погибших в дебрях? Или то мстительный вайделот⁵⁰ исторгается в час полуночи для призвания чарами адских духов на сгубу пришельцев — разрушителей Перкуна? Но грудь его не обвешана волшебными кольцами, одежда не сходствует с одеждою эстов; его огромный стан покрыт синею германскою

⁴⁹ Альберт сжег Герсику в 1208 году. Всеволод, князь оной, спасся бегством; многие из приближенных к нему последовали ему и, вероятно, погибли в лесах придвинских, вместе с унесенными сокровищами. Народное ж мнение, будто над кладами блуждают привидения, живет и до сих пор. (прим. автора)

⁵⁰ Вайделоты — жрецы и вместе волхвы эстонские. (прим. автора)

епанчою.

Может быть, то запоздалый охотник спешит к очагу, где розовый пламень крутится вокруг кипящего котла; но где ж его стрелы? где его чуткие псы?

Нет, это не запоздалый стрелец.

Он не ищет, но крадется сам, тихо ступая по хрупкому листу. По яростным взорам, вырывающимся из-под бровей, скорее можно принять его за разбойника, замышляющего грабеж; но латами вытертый колет из замши, рыцарский воротник видны под епанчою, и бляхи железной перчатки сверкают, когда он разводит ветки, преграждающие путь.

Так, это рыцарь, хотя шпоры не гремят на полусапожках его и перья не волнуются над головою.

Уже неизвестный рыцарь на краю рва, — он измеряет взором преграды, — и я узнаю в нем фон Серрата.

«Высоки стены твои, Рорбах! — мыслит он, — но выше их решимость человеческая; широки рвы замка, но крылат вымысел мести; число твоей стражи велико — тем больше ее беспечность».

Серрат вяжет и повергает несколько снопов в воду. С отвагой в душе, под кровом туманов, плывет он по дремлющей глуби, уже готов схватиться за решетку отдушины; но скользкий плот изменяет, рыцарь погружается в воду... Дикая утка, испуганная шумом, с криком улетает прочь, и страж, внемля свисту крыл ее, не дивится, что ему почудился плеск волны.

Но рыцарь выплыл, и, вонзая кинжал в пазы, уже взбирается на стену, лепится по неровностям камней, и вот висит под верхним поясом. Силы ему изменяют, нога скользит, еще миг — и он оборвется; но он уже наверху.

Проснись, Рорбах, или час твой близок! Ужели не слышишь крика ласточки над окном твоим? не слышишь граяния ворон, тучей поднявшихся с башен замка?

Нет! пагубный сон теснит магистра в объятиях. Оконницы вырваны с петель, холодный воздух свеваает пыль с завесы, и пламя лампы трепещет, шаги убийцы звучат, — но он спит, и железная перчатка Вигберта упала на плечо его прежде, чем открыл он глаза свои; открыл — и веки, будто свинцовые, снова закрылись. В волнении ужаса и надежды ему кажется бледное лицо Серрата будто в сновидении или в мечте; но зловещий голос, как звук судной трубы, возбудил и омертвил его разом.

— Мщение и смерть магистру! — прогремел Серрат, стаскивая его с постели. — Смерть, достойная жизни! Напрасно блуждаешь ты взорами окрест — помощь далека от тебя, как от меня состраданье. Отчего ж трепещешь ты, подлый обидчик, воин среди поселян, бесстрашный с своим капелланом? Для чего пресмыкаешься, гордец, перед врагом презренным? Меня не смягчат твои просьбы, не поколеблют угрозы, — ты не вымолишь прощения! Да и стоит ли его тот, кто дважды лишил меня чести, а детей моих — доброго имени. Пусть я умру на плахе убийцею; зато щит мой не задернется бесчестным флером на турнирах и мой сын, не краснея за трусость отца, поднимет наличник для получения награды. Ты презрел вызов мой, не хотел честно преломить копья с обиженным, — узнай же, как платит за обиды Серрат!

С сим словом ринулся он на магистра; но отчаяние загло в нем мужество, и ужасный вопль огласил своды.

Смело схватил он грозящее лезвие и сдал Серрата мощными руками. Цепenea от ярости, грудь на груди смертельного врага, рыцари душат друг друга. Мечь воспламеняет Вигберта, страх смерти сугубит силы магистра, — они крутятся, скользят и падают оба! Идут, идут спасители — оружие гремит, крики их раздаются по коридорам; с треском упали двери, воины магистра с мечами и факелами ворвались в комнату... но уже поздно!

Кровь Рорбаха оросила помост — преступление свершилось!

Не стало магистра, но власть его осталась, и самосудный убийца, растерзанный

муками, погиб на колесе⁵¹.

Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..

Вечер на бивуаке*

*...Едва проглянет день,
Каждый по полю порхает,
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет — враг валится,
Бой умолк — и вечерком
Снова ковшик шевелится.*

Давыдов

Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрип колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана. ***го гусарского полка эскадрону имени подполковника Мечина досталось на аванпосты. Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вокруг огонька пить чай. После авангардного дела, за круговую чашею, радостно потолковать раненому о том о сем, похвалить отважных, посмеяться учтивости некоторых перед ядрами. Уже разговор наших аванпостных офицеров приметно редел, когда кирасирский поручик князь Ольский спрыгнул перед ними с коня.

— Здравствуйте, други.

— Добро пожаловать, князь! Насилу мы тебя к себе валучили; где пропадал?

— Спрашиваются ли такие вопросы? Обыкновенно, перед своим взводом, рубил, колол, побеждал, — однако и вы, гусары, сегодня доказали, что не на правом плече ментик носите; объявляю вам мою благодарность. Между прочим, вахмистр! прикажи выводить и покормить моего Донца: он сегодня ничего не кушал кроме порохового дыма.

— Послушайте-ка, ваше сиятельство...

— Мое сиятельство ничего не слышит и не слушает, покуда не выпьет глинтвейну, без которого ему ни светло, ни тепло; давайте скорее стакан!

— Изволь! — сказал ротмистр Струйский. — Но знай, что эта чара заветная: за нее ты должен приплатиться анекдотом.

— Хоть сотней! За ними дело не станет; я весь слеплен из анекдотов и расскажу вам один из самых свежих, со мной случившихся. За здоровье храбрых, товарищи!

Как-то недавно у нас не было дни в три ни крошки провианту. Кругом, по милости вашей и казацкой, стало чисто, как в моем кармане, а, на беду, тяжелую конницу фуражировать не пускают. Что делать? Голод тем более умножался, что во французской линии слышалось гармоническое мычанье быков, которое плачевным эхом раздавалось в пустом моем желудке. Рассуждая о суете мирской, лежал я, завернувшись буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, что над ним можно бы было учиться ботанике, так черствый, что его надо было проводить в горло шомполом. Вдруг блеснула во мне пресчастливая мысль. Сейчас же ногу в стремя — и марш.

«Куда, — спросили меня, — едешь ты на своей бешеной Бьютти?»

«Куда глаза глядят».

«Зачем?»

⁵¹ Описанное здесь происшествие случилось в 1208 году. Смотри первый том Истории Арпдта. (прим. автора)

«Умереть или пообедать!» — отвечал я трагическим голосом, дал шпоры и, показывая вид, будто меня занесла лошадь, пустился птицею и скрылся из глаз изумленных моих товарищей. Они считали меня погибшим. Проскакав русскую цепь, я навязал на палаш платок, который в молодости своей бывал белым, и поехал рысью.

«Qui vive?» — раздалось с неприятельского пикета.

«Parlementaire russe!» — отвечал я.

«Haltela!»⁵²

Ко мне подъехал унтер-офицер с взведенным пистолетом.

«Зачем вы приехали?»

«Поговорить с начальником отряда».

«Для чего же без трубача?»

«Его убили».

Мне завязали глаза, повели пешего, и через три минуты я уже по обонянию угадал, что нахожусь подле офицерского шалаша. «Добрый знак! — думал я. — Счастливым как тут к обеду». Снимают повязку — и я очутился в компании полковника и человек осьми конно-егерских французских офицеров; малый я не застенчивый.

«Messieurs!»⁵³ — сказал я им, поклонясь весьма развязно, — я не ел почти три дня и, зная, что у вас всего много, решил, по рыцарскому обычаю, положиться на великодушные неприятелей и ехать к вам на обед в гости. Твердо уверен, что французы не воспользуются этим и не захотят, чтобы я за шутку заплатил вольностью. Да и много ли выиграет Франция, если завладеет конным поручиком, которого все знания и действия очерчиваются концом палаша?»

Я не обманулся: французам моя выходка понравилась как нельзя больше. Они пропировали со мной до вечера, нагрузили съестным мой чемодан, и мы расстались друзьями, обещая при первой встрече раскроить друг другу голову от чистого сердца.

— Не из печатного ли это? — спросил, усмехаясь, штабс-ротмистр Ничтович, который слыл в полку за великого критика.

— Да хотя бы из печатного, — для тебя оно все-таки должно быть новостью! — отвечал Ольский.

— А после какого дела это случилось?

— После того самого, где ты ранен был в сапог. Штабс-ротмистр запил пилюлю и напрасно теребил усы, ища ответа на ответ: на этот раз остроумие его осеклось.

— Не расскажет ли нам чего-нибудь Лидин? — сказал подполковник, обращаясь к молодому офицеру, который в рассеянности курил давно погасшую трубку.

— Нет, подполковник! Мне нечего рассказывать. Мой роман занимателен для меня одного, потому что обилен только чувствами, а не приключениями. И признаюсь вам: теперь вы разрушили самый великолепный воздушный мой замок. Мне мечталось, что я за отличие уже произведен в штаб-офицеры, что я сорвал «Георгия» с неприятельской пушки, что я возвращаюсь в Москву, украшен ранами и славою; что троюродный мой дядя, который старше Дендерского Зодиака, умирает от радости, и я, богач, бросаюсь к ногам милой, несравненной Александрины!

— Мечтатель, мечтатель! — сказал Мечин. — Но кто не был им? кто больше меня веровал в верность и в любовь женскую? Я расскажу теперь случай моей жизни, который тебе, милый Лидин, может послужить уроком, если влюбленные могут учиться чужою опытностью, — для вас же примолвлю, друзья мои, что это будет история медальона, о котором я давно обещал вам рассказать. Послушайте!

Года за два до кампании княжна София S. привлекала к себе все сердца и лорнеты

⁵² «Кто идет?» — «Русский парламентар». — «Остановитесь!» (Фр.)

⁵³ Господа! (фр.)

Петербург: Невский бульвар кипел вздыхателями, когда она прогуливалась; бенефисы были удачны, если она приезжала в театр, и на балах надобно было тесниться, чтобы на нее взглянуть, не говорю уже танцевать с нею. Любопытство заставило меня узнать ее покороче; самолюбие подстрекнуло обратить на себя внимание Софии, а ее любезность, образованный ум и доброта сердца очаровали меня навсегда. Впрочем, говорят, и я верю, что любовь прилетает не иначе, как на крыльях надежды, — я недаром в княжну влюбился. Вы знаете, друзья, что природа влила в меня знойные страсти, которыми увлекаюсь в радости — до восторга, в досадах — до иступленья или отчаяния. Судите ж, каково было мое блаженство при замеченной взаимности! Я забредил идиллиями; мне вообразилось, что одинокая жизнь несносна, тем более что родители Софии смотрели на меня благосклонным взором. Со мною жил тогда первый мой друг, отставной майор Владов, человек с благородными правилами, с пылким характером, но с холодною головою. «Ты дурачишься, — не раз говорил он мне в ответ на мои восторги, — избирая невесту из блестящего круга. У отца княжны более долгов и прихотей, чем денег, а твоего имения ненадолго станет для женщины, привычной к роскоши. Ты скажешь: ее можно перевоспитать на свой образец, ей только семнадцать лет от роду; но зато сколько в ней предрассудков от воспитания! Все возможно с любовью! — твердишь ты, но кто ж уверит тебя, что княжна вздыхает от любви, а не от узкого корсета, что она глядит в глаза твои для тебя, а не для того, чтоб глядеться в них самой? Поверь мне, что в ту минуту, когда она так нежно рассуждает об умеренности, о счастии домашней жизни, мысли ее стремятся уже к дамскому току или к карете с белыми колесами, в которой блеснет она в Екатерингофе, или к новой шали, для показа которой тебя затаскают по скучным визитам. Друг! я знаю твое раздражительное от самых безделок сердце и в княжне вижу прелестную, прелюбезную женщину, но женщину, которая любит жить в свете и для света и едва ли пожертвует тебе котильоном, не только столичного жизнию, когда расчеты или долг службы позовут тебя в армию. За упреками настанет убийственное равнодушие, и тогда — прости, счастье!» Я смеялся его словам, однако ж изведывал наклонности Софии и каждый день находил в ней новые достоинства, и с каждым часом, страсть моя возрастала. Между тем я не спешил объяснением: мне хотелось, чтобы княжна любила во мне не мундир, не мазурку, не острые слова, но меня самого без всяких видов. Наконец я в том уверился и решился. Накануне предполагаемого сватовства я танцевал с княжною у графа Т. и был радостен как дитя, упоен надеждою и любовью. Один капитан, слывший тогда за образец моды, досадуя, что София не пошла с ним танцевать, позволил себе весьма нескромные на ее счет выражения, стоя за мною, и довольно громко. Кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить за нее, хотя бы она вовсе не была ему знакома. Я вспыхнул и едва мог удержать себя до конца кадрили, услышав его остроты на счет княжны. Объяснение не замедлило. Г. капитан думал отыграться шутками, говорил, что он не помнит слов своих. «Но я, м. г... по несчастию, имею очень счастливую память. Вы должны просить на коленях прощения у моей дамы, или завтра в десять часов волею и неволею увидите со мною на Охте». Вам известно, что я не охотник до пробочных дуэлей: мы стрелялись на пяти шагах, и первый его выстрел, по жеребью, положил меня замертво. Какой-то испанский поэт, имени и отчества не упомяну, сказал, что первый удар аптекарской иготи есть уже звон погребального колокола: пуля вылетела насквозь в соседстве легких; антонов огонь грозил сжечь сердце, но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел, с помощью лекарей и пластырей, в полтора месяца.

Бледность лица очень мила, но чтобы не показаться княжне мертвецом, я умерил на несколько дней свое нетерпенье и, уже оправясь, полетел верхом к князю на дачу. Сердце мое билось новою жизнью: я мечтал о радостной встрече моей с Софиею, о ее смущенье, об объяснении, о супружестве, о первом дне его... Полный восторгов надежды, взбегаю на лестницу, в переднюю залу, — громкий смех княжны в гостиной поражает слух мой. Признаюсь, это меня огорчило. Как! та София, которая грустила, если не видала меня два дни, веселится теперь, когда я за нее слег в смертную постелью! Я приостановился у зеркала: слышалось, будто упоминают мое имя, говорят о Дон-Кихоте; вхожу — молодой офицер,

склоняясь на спинку стула Софии, рассказывал ей что-то вполголоса и, как кажется, весьма дружески. Княжна нисколько не смутилась: спросила меня с холодной заботливостью о здоровье, обошлась со мной как с старым знакомцем, но, видимо, отдавала преимущество своему соседу: не хотела понимать ни взглядов, ни намеков моих о прежнем. Я не мог придумать, что это значит, не мог вообразить вины такой обыкновенной холодности — и напрасно искал в ее взорах столь милой досады, делающей сладостным примирение: в них не было уже ни искры, ни тени любви. Иногда она украдкой бросала на меня взгляды, но в них прочитал я одно любопытство. Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства мои не вырвались речью, решился уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам, под проливным дождем; в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти. «Жалею тебя! — сказал Владов, меня встречая. — И, прости укор дружбы, не предсказал ли я, что дом князя будет для тебя ящиком Пандоры? Однако ж на сильные болезни надобны сильные лекарства: читай». Он отдал мне свадебный билет — о помолвке княжны за моего соперника!.. Бешенство и месть, как молния, запалили: кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел), чтобы коварная пе могла торжествовать с ним. Я решился высказать ей все, укорить ее... одним словом, я неистовствовал. Знаете ли вы, друзья мои, что такое жажда крови и мести? Я испытал ее в эту ужаснейшую ночь! В тиши слышно было кипение крови в моих жилах, — она то душила сердце приливом, то остывала как лед. Мне беспрестанно мечтались: гром пистолета, огонь, кровь и трупы. Едва перед утром забылся я тяжким сном. Ординарец военного министра разбудил меня: «Ваше благородие, пожалуйста к генералу!» Я вскочил с мыслию, что, верно, зовут меня насчет дуэли. Являюсь. «Государь император, — сказал министр, — приказал выбрать надежного офицера, чтобы отвезти к генералу Кутузову, главнокомандующему южною армиею, важные депеши; я назначил вас, — спешите! Вот пакеты и прогоны. Секретарь запишет на подорожной час отъезда. Счастливого пути, г. курьер!» Тележка стояла у крыльца, и я очнулся уже на третьей станции; великодушный Владов ехал со мною. Тут-то изведаль я, что дружество утешает, но не наполняет сердца, и дорога дальная, вопреки общему мнению, только разбила, но не рассеяла меня. Главнокомандующий принял меня отменно ласково и, наконец, уговорил остаться в действующей армии. Презрение к жизни довело меня до мысли о самоубийстве, но Владов своими советами и нежным участием тронул меня. Кто жить советует, всегда красноречив, и он спас мою совесть от двух убийств, мое имя — от насмешек. «Я знал все, — говорил он мне, — но не смел объявить тебе во время болезни. Видя, что открылась тайна, и зная твой бешеный нрав, я бросился к секретарю военного министра, моему приятелю, просил, умолял: тебя послали курьером. Время — лучший советник, и теперь признайся сам: стоит ли пороку твой противник? стоит ли шуму твоя любезная, избравшая в женихи человека без чести и правил, потому только, что он в тоне, что матушка ее заметила лишний против твоего нуль в звончатых титулах человека, который решился проиграть мне брильянтовый портрет своей невесты, ее подарок?» Он отдал тогда мне этот медальон.

Подполковник снял его с груди и показал офицерам.

— Пусть мне тупым кремнем отпилят голову, если я вижу тут что-нибудь! — вскричал Ольский. — Вся эмаль разбита вдребезги.

— Провидение, — продолжал подполковник, — сохранило меня от смерти на берегах Дуная, чтоб долее послужить отечеству: пуля сплоснулась на портрете Софии, но не пощадила его. Прошел год, и армия, по заключении мира с турками, двинулась наперерез Наполеону. Тоска и климат расстроили мое здоровье: я на месяц отпросился на Кавказ — искать целительных вод для здоровья, живой воды — для моего духа.

На другой день по приезде я пошел с тамошним доктором отправить визиты. «Вы увидите, — сказал доктор, когда мы приближались к одному домику, — молодую прекрасную особу, которая чахнет, быв жертвою брака по расчету. Родители напели ей о счастья пышности, а обиженное самолюбие завлекло ее в сети блестящего негодяя, и, обманутая минутною прихотью сердца, она кинулась в его объятия. Что ж вышло? Тетушки

и матушка, искавшие в женихе богатства, нашли одно хвастовство, необъятные долги и разврат; он искал приданого и, обманутый обещаниями, в свою очередь оказался во всей черноте: измучил жену язвительными упреками, поведением вогнал ее в чахотку и наконец, проигравши и промотавши все, бросил ее, ославив в свете. Теперь она приехала сюда с отцом, умереть под теплым кавказским небом». Я боялся беспокоить ее посещением. «О нет! — говорил доктор, — ведь чахоточные умирают на ногах, и я имею правилом: коротать рассеянностью время больных, когда лекарствами нельзя продлить их жизнь». Говоря таким образом, вошли мы в комнату. Это была София!..

Есть невыразимые чувства и сцены. Я думал, что ненавижу Софию; уверял себя, что, если судьба приведет мне с нею встретиться, я заплачу за измену холодным презрением; но я узнал, как много любил ее, когда, вместо гордой красавицы, увидел несчастную жертву света, с потухшими очами, с смертною бледностью лица. На краю гроба исчезают все приличия, и когда София пришла в чувство, рука ее была омочена моими слезами и поцелуями. «Вы не клянете меня? Виктор, ты меня прощаешь?.. — сказала она раздирающим сердце голосом. — Благородная душа... ты сожалеешь, видя меня, так жестоко наказанную за легкомыслие. Теперь я умру покойно». Жизнь, как тлеющая лампада, от дуновения вспыхнула в ней на несколько дней чем-то бывалым. Но каково было мне видеть разрушение Софии, слышать, как постепенно сокращалось ее дыхание, чувствовать ее муки, переносимые с ангельским терпением!.. Она гасла — без ропота, обвиняя во всем себя одну. Друзья! друзья! я перенес много страданий, но ни одно мученье в мире не сравнится с мукою — видеть умирающую любезную; ужасно и вспомнить... София умерла на руках моих!

Подполковник не мог продолжать. Тронутые офицеры молчали, и даже с ресницы ротмистра скатилась слеза на ус и с него канула в серебряный стакан с глинтвейном. Вдруг послышался выстрел, другой, третий. Казаки с ведетов неслись мимо эскадрона.

— Что, много ли неприятелей? — спросил торопливо ротмистр, вспрыгнув на своего Черкеса.

— Видимо-невидимо, ваше высокоблагородие! — отвечал урядник.

— Мундштучь, садись! — скомандовал подполковник. — Фланкеры! осмотреть пистолеты. Сабли вон! По три налево заезжай! Рысью! Марш!

Второй вечер на бивуаке*

*Орудий заряженных строй
Стоял с готовыми громами;
Стрелки, припав к ним головами,
Дремали, и под их рукой
Фитиль курился роковой.*

Жуковский

Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах ***. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер пронизал насквозь. Офицеры лежали вокруг дымного огня. Конно-артиллерийский поручик сидел на колесе орудия; подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.

— Какое вещественное создание человек! — начал штабс-ротмистр Ничтович. — Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились; подул холодный ветер — и вместе с небом нахмурились наши брови, и говоруны сидят будто в Пифагоровой школе молчания.

— Не ручаюсь за других, — возразил Лидин, — но куда старость и подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то, по мне, хоть трава не расти: снег, град, дождь, вьюга — все праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все веселы назло мне, и я

становлюсь прихотлив, как невеста.

— Следовательно, — сказал штабс-ротмистр, — погода действует на тебя в обратном порядке, но тем не менее влияние оной существует.

— Не думаю, — отвечал Лидин, — это чувство есть следствие внутренних, а не внешних ощущений, и до тех пор будет иметь место, покуда перевес останется на его стороне. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя... но почему люблю я это?

— Потому что ты чудак, — перебил штабс-ротмистр. — Впрочем, как сам изъясняешься, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю, как Вернетову картину или Моцартову ораторию.

— Прошу извинить, господин штабс-ротмистр, я люблю наслаждаться ею на чистом воздухе, в лесу, на горах. Но возвращаюсь к причине. Я люблю это по приятным воспоминаниям, которые рождаются во мне от бури. Однажды, например... ах! для чего это было только однажды!..

— Для того, — перебил Ничтович, — что в Кургановой арифметике весьма замысловато сказано: единожды един — един, а не два.

Все засмеялись; но Лидин с улыбкою продолжал:

— Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание: оно вырвалось из сердца, а сердце плохой арифметик.

— Не знаю, каково твое, — отвечал, смеючись, Ничтович, — но мое даже под ядрами так верно отсчитывает шестьдесят секунд в минуту, как патентовые часы.

— Во время сражения мне некогда бывало заниматься поверкою своего пульса, — хладнокровно заметил Лидин.

Это замечание задело за живое штабс-ротмистра; он уже с приметною досадою спросил:

— Конечно, ты за эскадроном в замке строил воздушные замки?

— Дурная игра слов, Ничтович! — сказал подполковник дружески, желая замять ссору, которая бы наверное кончилась саблями. — Пустая игра слов, да и предмет ее не слишком хороший. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги; но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.

— Пусть мне французский флейтщик пред разводом выбреет усы, если это неправда! — вскричал ротмистр

Струйский, который, лежа на попоне, казалось, слушал только, как растет трава. — Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шуточки в дело... Ну, други! мировую!.. А если ж вы не поцелуетесь, то ты, Лидин, не зови меня никогда в секунданты, а ты, Ничтович, вперед не узнаешь, длинны или коротки стремяна на моем Черкесе, когда нужно будет понаездничать.

— Помилуй, Струйский, с чего ты взял, будто мы ссоримся! — сказал Ничтович, подавая Лидину руку.

— Ну полно, полно! — продолжал ротмистр. — Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Я это всегда говорю своим заимодавцам, — сказал Лидин, но, уважая ротмистра, он сжал руку Ничтовича.

— Надеюсь, однако ж, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился и Лидин доскажет его друзьям своим? — сказал Мечин.

— О, без сомнения, подполковник! Я так люблю говорить о милой Александрине, что очень рад случаю.

— Воля твоя, Лидин, — возразил подполковник, — ты сбиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не об ней, а об ненастной погоде.

— Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет пас к тому же... Надобно вам знать, друзья мои, что, живучи в златоверхой Москве, влюбился я...

— Знаем, знаем в кого и у кого, как по формулярному списку, — подхватил Ничтович, — благодаря твоей нежности я могу описать ее рост, лета и приметы, до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам об ней наговорил столько...

— Об ней можно говорить, может быть, слишком много, но довольно наговориться об ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, Ничтович, и потому скучаешь рассказом; но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность...

— Бьюсь об заклад, — вскричал Ничтович, — что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом!

— Как умна, как чувствительна!..

— К теплу и холоду, — прибавил ротмистр, одувая фитиль, которым сбирался закурить свою трубку.

— Вы вечно шутите, Струйский; но что она любезна в самом деле, это больше всего доказывается верностью такого ветреника, каков я.

— Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены, — промолвил ротмистр, — тем более что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме этой пушки.

— Это единорог, — заметил артиллерийский офицер.

— Тем еще безопаснее! — отвечал ротмистр.

— Но тем хуже, что вы не дадите мне досказать моей повести.

Подполковник, шутя, возгласил: «Смирно!», и, по долгом смехе, Лидин продолжал:

— Я уже познакомился со всею роднёю Александрины: ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и пристяжных братца, слушал роговую музыку дядей и, что всего несноснее, пересуды тетушек. Гостеприимство есть всегдашняя добродетель моих земляков, и, наконец, меня пригласили приехать к ним в подмосковную. Нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю, что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон в то время, будто юнкер, который не в форме попался своему генералу, что у меня, наконец, вырвались кой-какие намеки и что меня слушали благосклонно. Вечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами сбিরались в город. Я раскланялся, со вздохом взлез на дрожки, и чрез минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды.

На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье: встречаю дормез, везомый шестью заслуженными конями, и в этом степенно колыхающемся дормезе — Александрину со всем причтом. Между тем небо облоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. «В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках», — было первою моего мыслью; но быть вместе с нею, так близко подле нее, — вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дормезе. Но как залететь в него? Мы еще не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить, а приговориться к этому совестно. Однако ж попытаемся. Проезжая мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих; но это не помогло; отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути. Препятствия поджигают желанья, и я решился на отважную выходку.

«Пошел по всем!»

«Я и то насилу держу коней, — отвечал мой кучер, — если их пустить, они растреплют нас».

«Пошел, — говорю я, — не рассуждать, а делать!» И с этим словом вся тройка подхватила бить, понеслась, — дрожки, звеня, запрыгали по кочкам и выбоям, вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень — крак! — ось пополам, колесо вдребезги, а я вместе с кучером отлетел сажени на три в ров.

К счастью, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтоб сделать занимательнее сцену. Через две минуты открываю глаза — и вижу Александрину в обмороке от испугу; мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок, и вот, после многих расспросов, приглашений и отговорок, я влезаю,

охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И вот, наконец, я подле милой Александрины!.. У меня занялся дух. Темнело, дождь лил ливнем; карета, вследствие моего трактата об электричестве и опасности в грозу скоро ездить, двигалась шагом; отец и мать дремали и только при сильных ударах грома пробуждались — один, чтобы зевнуть, другая, чтоб испугаться. Александрина молчала, а я не смел говорить, потому что голос мой дрожал, как ненатянутая квинта; зато я не сводил глаз с прелестного лица своей соседки, ловил каждую черту, каждое выражение, каждый абрис его, исчезающий в темноте, каждый взор, когда молния облескивала внутренность кареты. Я вдыхал какую-то томную свежесть с щек ее, я слышал биение ее сердца, я чувствовал, как мое неровное дыхание колебало ее локоны. Друзья мои! я молод, но я жил, я чувствовал, я наслаждался; но никогда не испытывал высшего наслаждения, как в этот раз! Одним словом, когда есть счастье в жизни, — я был счастлив, потому что не имел никакого желания! Неужели, Ничтович, ты будешь спорить, что буря не может доставить удовольствия по воспоминаниям?

— Сушиться от дождика воспоминаниями или, что еще хуже, для них мокнуть — для меня столько же смешно, как уверение, будто скучать весело! Что касается до меня, не согретого пылким воображением, я бы променял теперь две дюжины золотых своих поминок на рюмку бургонского.

— Я вас беру на слове, штабс-ротмистр! — сказал артиллерийский офицер. — За вином дело не станет. Эй, фейерверкер! принеси сюда из зарядного ящика две бутылки, те, которые лежат в крышке на левой стороне.

— Да здравствует артиллерия! — воскликнул Струйский, отбивая саблею бутылочное горлышко. — Ну кто бы иной умудрился соединить в одно место и смертные снаряды и жизненные припасы? Теперь предлагаю тост за твою Александрину!

Лидин положил руку на сердце, высоко поднял стакан, по-рыцарски выпил его и разбил вдребезги о шпору.

— Прошу извинить, господа, что я разбил последний хрустальный стакан; теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты!

Бургонское оживило зябнувших офицеров, донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь, и похвала вину не переставала.

— Какая тонкость! — говорил ротмистр, высасывая последнюю каплю.

— Какой букет! — сказал Ничтович, нюхая опорожненную бутылку.

— Вот, Лидин, такое благовонное воспоминание — приятно!

— Это вино, — сказал артиллерист, — доставляет мне еще приятнейшее воспоминание, которое делает честь великодушию женского пола, — воспоминание, за которое едва не заплатил я жизнью. Если господам угодно будет послушать хоть краем уха, я расскажу, как это случилось.

Три дни тому назад я был послан фуражировать в окрестности Сен-Дизье. Неприятеля близко не чаяли, и потому мне дали только пять человек ездовых. Я отправился прямо в деревню Во-сюр-Блез, где уже два раза проходила и стояла наша рота и где жители принимали нас очень ласково. Братская привязанность привлекала меня к Генриете, дочери мэра; она премиленькое, преневинное создание. Меня утешали ее детская откровенность, ее неизменно веселый нрав. Бывало, когда я задумаюсь, она резвилась вокруг меня и шутя разглаживала морщины на лбу моем.

«Развеселись, добрый русский!» — говорила она, и я невольно улыбался ее приветливости и в ее светлых глазах искал — и находил — забвенье всего неприятного. Генриета выбежала и тогда меня встретить, играла с моею лошадью, пела, прыгала, как ребенок, и, наконец, унесла у меня саблю. Мэра, отца ее, не было дома. Послав за ним канонера, я велел остальным кормить коней и присматривать фуража, а сам пошел наверх, в обыкновенную свою комнату. Мне принесли вина, но я едва выпил стакан его, едва успел сесть на канапе, как глаза мои сомкнулись, голова упала, — я погрузился в глубокий сон. Не

помню, долго ли спал я, утомленный переходами и двухдневною бессонницею; знаю только, что я пробудился от голоса, который называл меня по имени. Открываю глаза: Генриета, бледная, трепещущая, стояла надо мною.

«Беги, русский! — сказала она замирающим голосом. — Спасайся, или тебя убьют! Уже все готово... они собрались... твои солдаты заперты... Но я погибла, если узнают. Беги, умоляю тебя, беги!..»

И Генриета исчезла, как привидение. Русскому офицеру бежать! Нет, этого не будет! Я вскочил, кипя гневом, заткнул за портупею пистолеты и потихоньку сошел вниз. В зале слышались многие голоса... Прикладываю ухо: одни хотели убить нас, другие советовали отдать в плен своему отряду, который, по их словам, должен быть недалеко.

«Чего вы боитесь, — говорил мэр, — отомстить смертью за гибель отцов ваших и братьев, погубленных русскими? И почему эти будут счастливее других, впадавших к нам в руки? Если вы не отделаетесь от этих, — эти проложат дорогу тысячам грабителей и ваши запасы, ваши драгоценности ненадолго скроются под кровлею церкви от их поисков. Впрочем, умертвить их необходимо для собственной безопасности, потому что одна смерть может ручаться за тайну; иначе они из самого плена накличат на нас мщение своих!»

Судите, каково мне было слушать этого оратора, но я, обрадованный открытием запасного их магазина, решил на все, только бы доставить роте фуража, тем скорее, что у нас такой был в нем недостаток, что солдаты кормили лошадей хлебом, которого и сами они не ели досыта. Вхожу... и если бы Копгревова ракета упала тогда между заговорщиками, то, верно бы, она перепугала их менее моего появления.

«Господин мэр, — сказал я, — какой-то шалун, вероятно ошибкою, запер в конюшне солдат моих, — прикажите их отомкнуть, да теперь же, сейчас, сию минуту!»

Грозный взгляд, брошенный на безоружных храбрецов, и движение руки моей к пистолету уверили их, что я не шучу.

«Прошу вперед, без церемонии...» И вот между толпою зевак, в конвое ездовых моих я двинулся к церкви.

«Звонарь! отпирай; а вы, господа, возьмите свечи, проводите меня на чердак и подивитесь чутью русских».

Между тем я поставил двух рейтаров у входа, еще двух на разные дороги, с приказанием по первому выстрелу скакать одному в дивизионный штаб, другому в роту и объявить об опасности. С остальными взобрался я наверх. Представьте себе, что закромы насыпаны были овсом и житом до кровли; все лучшее имение поселян было снесено туда же. Куча сундуков, ящиков, парчей, золотых и серебряных вещей; но что всего более поразило меня — это были русские ружья, кивера, уланские пики, сабли, каски, — вероятно, несчастных земляков наших, заплативших жизнью за неосторожность. Я содрогнулся, — по исследованию было не у места. В это время поселяне, воображая, что мы станем грабить их драгоценности, взволновались, ударили в набатный колокол и с воплями окружили церковь. Крик «*A bas les Russes! Mort aux brigands!*»⁵⁴ — вызвал меня на колокольню, и я насилу мог добиться, чтоб меня выслушали.

«Французы! — сказал я, — мы в вашей власти; но ваш пастор, ваш мэр — в моей, и они жизнь заплатят за малейшее насилие, да и мы четверо не даром продадим свою. Этого мало! Часовые мои дадут знать о том в армию, и мщение русских разразится над вашими головами. Я пришел не грабить ваше имущество, но взять немного овса и хлеба, за что государь наш заплатит по моей расписке. Отвечаю жизнью, что все до последнего волоса будет цело».

Это успокоило поселян. Я велел мэру приказать в полчаса доставить восемь подвод и, нагрузив на две оружия, чтобы не оставить им средства к вооружению, а на прочив шесть овса, хлеба и немного вина, отправил их под конвоем в роту. Проводив глазами обоз мой, я

⁵⁴ Долой русских! Смерть разбойникам! (Фр.)

спустился с опасной кафедры своей, простился с ропщущими жителями и, поблагодарив поклоном великодушную Генриету, поскакал назад. Французы вошли в Во-сюр-Блез на наших хвостах...

— Кто идет?! — закричал часовой гусар на ближнем ведете. — Стой, или убью!

Ему тихо отвечали пароль и лозунг. Это был их поручик Волгин, ездивший осматривать цепь.

— Господин подполковник! пикеты и ведеты стоят исправно. У неприятеля движений никаких не видать.

— Нет ли чего нового? Не слышно ли об деле? — спросили Волгина вдруг все офицеры.

— Радуйтесь, господа, — отвечал поручик, не слезая с коня, — я привез к вам хорошие вести. Наполеон уже в Сен-Дизье, и нашему маленькому корпусу достанется честь задержать всю армию, которая на нас опрокинется, куда союзники идут на Париж. Говорят, у государя навернулись слезы, когда он простился с нами. Друзья! вряд ли нам выстоять живыми, зато об нас вспомнят в России и от нас поплачут во Франции.

— Слава богу, — сказал радостно подполковник.

— Будет где позвенеть саблями! — воскликнул Струйский. — Смотрите, господин артиллерист, не выдайте нас!

— Не бойтесь, ротмистр! — пылко отвечал артиллерийский офицер, — Мои канониры не раз дрались банниками и даром не сожгут зерна пороху. Только вы, когда у меня не станет картечь, поделитесь со мною подковами и пуговицами, — их много на ваших доломанах, а там будет довольно тепло, чтобы драться нараспашку. Впрочем, когда до того дойдет дело, я буду стрелять последними своими франками!

Офицеры шумели и радовались, будто накануне гулянья; забытый ими огонь спадал и только, вздуваемый ветром, сыпал искры и порою освещал дремлющих гусар, половину верхами, половину у ног коней.

— Отчего вы так грустны? — с участием спросил Лидин у подполковника, который неподвижно стоял, опершись на длинную саблю свою, ничего не видя и не слыша.

— Я неизлечимо болен воспоминаниями тяжких потерь моих, — отвечал он. — И теперь, добрый мой Лидин, мне казалось, будто я беседую с другом моим Владовым, и последнее наше свидание оживилось перед глазами моими. Это было перед Кацбахским сражением. Как теперь, дул холодный ветер от севера, как теперь, туман стлался в лощинах, и мы с Владовым, покрытые одною буркою, безмолвно лежали у огонька.

«Веришь ли ты предчувствию?» — спросил он меня.

Я улыбнулся.

«Друг мой, — продолжал Владов, — ты знаешь, суверен ли я; ты видал, боюсь ли я смерти; но теперь какой-то неотступный голос твердит мне: „Ты будешь убит!“»

Голос, которым говорил Владов, навел на меня ужас...

«Впрочем, если это предчувствие не обманчиво, — я рад: жизнь истомила меня. Не удивляйся, Мечин, что друг твой, сбросив с себя покров шуточной философии, окажется теперь в мрачном своем виде. Я не хотел двоить тоски твоей своею; но теперь, на пороге смерти, открою тебе всю душу свою... Слушай: я любил — это еще не редкость; мне изменили, Мечин, — и это весьма обыкновенная вещь; но надобно было любить, как я, чтобы почувствовать, подобно мне, всю жестокость измены. Друг! я бы простил это неопытной девушке, которая при первом трепетании сердца, при первом румянце щек уверяет себя, будто она любит, — и глаза ее говорят то, что она когда-нибудь почувствует. Я бы мог простить это ветреной кокетке, которая из тщеславия, или для забавы, твердит каждому недурному собой: „люблю тебя!“ Но могу ли извинить девушку, исполненную светлого ума, далекую от всех предрассудков, одаренную всеми качествами, всеми прелестями и душой, открытою для чувств возвышенных!.. Сходность мнений нас сблизила, пламень сердец и мечтательность породили любовь. Я уже позабыл наречие любви и потому скажу просто: мы любились, мы разумели друг друга, нас одно радовало, одно огорчало... и

не раз слышал я уверения, что она может быть счастливою только со мною. И этот идеал моей фантазии — пленился генеральскими эполетами, и, этот-то ангел на земле, она — имела столько коварства, чтобы скрывать это; имела решимость меня обманывать, и в то время, когда готовилась отдать мне руку, — сердце ее принадлежало уже другому. Друг! это опрокинуло мою нравственность; я безумствовал и с этих пор возненавидел женщин. И можно ли доверять им счастье жизни, когда их мнения, их желания, их страсти — основаны на прихоти? Для них сотворены моды, а не чувства; они умеют нравиться, но не любить; им незнакомо высокое ощущение — быть любимой человеком с благородным характером... С тех пор прошло много времени; бывало, иногда, я забывался сном надежды подле милой красавицы; бывало, какое-то сладостное чувство просыпалось вновь в груди моей, — но разум шептал: „Вспомни ее“, и я отрывал от сердца льстивую мечту и, испуганный, бежал далеко-далеко, куда глаза глядят, покуда безнадежность вновь не охватывала сердце.

Я желал отдохнуть душою между людьми, к которым принес братскую доверенность и весь жар быть полезен им. И что же? Люди отравили остаток моего покоя. Одним словом, Мечин, кто испытал измену прелестной, может быть наилучшей из женщин, тот, верно, презирает и любовь и ненависть женщин; кому случалось часто видеть и разглядеть вблизи низость и ничтожество мужчин, тот, верно, потерял уважение к человечеству, — а без этого жить тяжело, несносно».

Наутро мы были в деле. Полк три раза ходил в атаку, но Владов остался невредим. Мой эскадрон между тем послали преследовать сбитого неприятеля. Возвращаясь к полку, я отстал от фронта, чтобы напрямик проехать в штаб с рапортом. Смотрю — подле дороги лежит раненый гусарский офицер; я спешу к нему, — и что ж?.. Это Владов. Рядом с ним повержен был убитый копь его. Он сам, опершись на обломок сабли, глядел на кровь, которою исходил. Глаза его стали, лицо подернулось смертною синевою. Мой вопль возбудил друга: он приподнял голову, улыбнулся, хотел подать мне окровавленную руку, но она упала как свинцовая.

«Друг! — сказал он тихо, — мое предчувствие сбылось — мое желание исполняется, я умираю...»

Он замолк; кровь проступала сквозь ментик, — я от ужаса и сожаления не мог промолвить слова.

«Смотри, — сказал он опять, — смотри, Мечин, как капля по капле источается во мне жизнь, как постепенно густеет и холодеет кровь моя; еще капля, еще минута — и меня не станет! Люди говорят, будто умирать тяжело; но прошедшее и будущее принадлежит не нам, а терять настоящее ужели мы не привыкли?...»

Он стихал, я плакал навзрыд; и мог ли не плакать я, когда мой ангел-утешитель, тот, который был для меня все на свете, покидал меня?

«Не плачь! — продолжал он, тяжело переводя дух. — Не жалею меня, потому что на земле я жалею только о дружбе. Я не умел жить, зато умею умереть...»

В это время я подложил ему под голову ташку свою, чтобы ему было покойнее... и глаза Владова засверкали, упав на вышитого орла.

«Россия!.. родина!.. — вскричал он. — Мечин, прости...»

Замок Нейгаузен*

Рыцарская повесть⁵⁵

⁵⁵ Эпохою своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sonebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами. (прим. автора)

I

Летний день западал, и прощальные лучи солнца бросали уже волнистые тени на круглые стены замка Нейгаузена. Туман подернул поверхность речки, обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни, и она, гремя, бежала вдаль сереброчешуйною змейкою. Ворота замка были отворены, и сквозь них, среди широкого двора, виделись терема рыцарские. Остроконечные их кровли пестрели разноцветною черепицею; все углы обозначались стрелками, и на многих висели башенки. Неровной величины окна, с чудными изображениями, были разбросаны в стенах без всякого порядка, и контрафорсы, упираясь широкою пятою в землю, поддерживали громаду здания. Казалось, оно не было древним; но молодой мох лепился уже по стенам, из неровного плитняка сложенным, и местами зеленил мрачную их наружность. Двухъярусные переходы вокруг бойниц амфитеатром замыкали окружность, и на них грудами лежали камни, бревна, станки для огромных самострелов, тяжелые топоры, даже стенные пищали, тогда весьма редкие и столь же опасные своим, как врагам; словом, все доказывало близость опасного соседа и возможность внезапной осады. Часовые в шишаках, однако ж без лат, бродили по гребню, и в замке было так тихо, что слышалось пенье кузнечика. Направо от ворот щипал мураву статный конь; влеве тянулись полосатые гряды огорода. Между ими, опершись на заступ, стоял садовник Конрад и с высоты любовался на закат солнца. Он не заметил, когда подошел к нему рыцарь в бархатной, сереброшвейной мантии и в весьма коротком полукафтаны малинового цвета. Лицо его было нахмурено, и руки, сложенные на груди, закрывали до половины осьмиконечный мальтийский крест. Тщательно завитые волосы и вообще щеголеватость в одежде показывали, что он чужеземец, ибо тогда ливонские рыцари не пышно рядились.

— Пусть крапива забьет твои гряды! — сказал он мимоходом Конраду, и Конрад, почтительно бросив свою шапку на землю, отвечал:

— Благодарю за желание, благородный рыцарь; но у меня и без того плохо идет работа. Здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород...

— Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о приволье мышам?

— Преумно и премилостиво, благородный рыцарь. Но вы, кажется, рассержены; смею ли я, старый слуга ваш, спросить о причине?

— Бесстрастное творенье! разве не понимаешь ты, что неожиданный возврат барона разрушает все мои надежды: теперь Эмма станет еще неприступнее. Впрочем, я на все решился, Конрад! Меняй свой заступ опять на кинжал, поедем лучше галерою бороздить море. Право, доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие огурцы.

— Я всегда в вашей воле, рыцарь!

— Если б ты к моей воле прилагал и свою, — эта честолюбивая женщина не ускользнула бы из рук моих!

— Пусть каждый шиллинг, от вас полученный, прожжет мой карман, если я даром брал награды. Всякий раз, когда госпожа приходила сюда учиться заморскому садоводству, я издали заводил речь о вашей славе, о вашем богатстве, потом о вашей красоте... Потом намекал о вашей любви, о вашей страсти, рыцарь! Вы сами знаете, что есть вещи, о которых молчать невыгодно, а самому их высказать нельзя... и эти-то вещи были все рассказаны мною, — похвалы сыпались у меня, как чечевица.

— И просыпались мимо. Нет, ты не умел, Конрад, посеять в ее сердце ко мне соучастия и взаимности.

— Благородный рыцарь! любовь растет скоро, как кресс-салат, но она все-таки не огородный овощ. Ее зародить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впрочем — терпение!

— Терпение — добродетель верблюдов, а не людей.

— Может быть, не таких, как вы, благородный рыцарь; но вы сами видите, как наш русский пленник Всеслав своею терпеливостью отбивает у поспешных прекрасную Эмму. Ну, право, на него глядя, можно подумать, что он вырос в школе странствующих миннезингеров: только и дела, что вздыхает, — а между тем баронесса поглядывает на него очень умильно.

— Проклятый утешитель! Ты раздираешь мне сердце намеками, которые давно мне кажутся истиною. Любовь палит меня, но еще более ревность грызет душу. Так, я уже решился на все. Я хочу, я жажду удалить и мужа и этого воздыхателя-новгородца, чтобы самому сблизиться с нею. Ты знаешь, Конрад, что я говорю не с ветра и не на ветер; теперь требую твоего совета.

— Мое мнение, рыцарь, начать с гостя; то есть намекнуть барону о склонности его супруги к Всеславу — и русский соперник ваш уберется восвояси.

— Ты прав, Конрад; ты стоишь золотой петли за эту богатую выдумку. Так, я не приметно волю в его чувства отраву, которая льется в моих жилах; передам ему все затейливые подозрения ревности и с ним разделю ненависть к общему сопернику, а потом найдем средство удалить и ненавистного супруга. О! Я уже предвкушаю торжество мое: мои арабские бегуны умчат пас за тридевять земель. Для Эммы сброшу я эту командорскую мантию, забуду почести Ордена и славу света, чтобы в забытом углу его найти с нею счастье!..

— Скорее ваш меч разрастется в ножнах, нежели Эмма согласится бежать...

— Но скорее рука моя будет вращать веретено вместо копья, чем я откажусь от своего намерения. Для моей воли нет завета, ни препон — кроме гибели. Пусть Эмма добродетельна, верна, — но ведь она женщина; она прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, Конрад, я истощу весь арсенал оболещений: буду нежен как дамская перчатка, гибок как страусовое перо; стану звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, и волею или неволею, но Эмма будет в моих объятиях — или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же до самого барона...

Конрад прервал его запальчивость, показав на часового, который приближался к ним по зубчатой, стене. Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его сверкающим взорам видно было, что дело шло о чем-то важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два злодея расстались.

II

Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя большими свечами из желтого воска, воткнутыми в двурогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, проникающего в неровный свинцовый переплет готических окон, но блеск не достигал под вершину остроконечных сводов, зачерненных дыханием времени, и только изредка отсвечивались по стенам щиты и кирасы и двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравлеными украшениями, стояли друг против друга. Дебелый дубовый стол занимал средину комнаты. За ним сидел рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою по доске... Игра была не кончена, стаканы опрокинуты, и владелец замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми шагами по зале. По неровному звуку его шпор, по волнению в груди заметно было, что он вне себя; его лицо пылало гневом, и кровавые глаза разбежались.

— Да, да, — вскричал он, остановившись против Мея, — теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был игрушкою жены своей. И я был так прост, что доверился этому русскому варвару, оставил волка в овчарне. Теперь не дивлюсь, что жена моя... что Эмма, хотел я сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жаловала его песни и разговоры. Теперь понятно мне, отчего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, отчего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лицемерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для нее

все обычаи предков и все толки дворян — извел ее из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал владельницей Нейгаузена; но что более всего: не я ли любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пятно положила ты на славное имя Нордеков! Что сказал бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют живых!

— Думаю, — сказал Мей двусмысленным голосом и пожимая плечами, — он сказал бы то же самое, что и я повторяю: что люди завистливы и, статья может, слухи об этой связи — пустые.

— Нет, друг Ромуальд, не утешай меня, как ребенка; я знаю, что подобные вести позже всех доходят до ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты, чужеземец, их знаешь...

Ромуальд встал, чтобы скрыть волнение души, и как будто нечаянно подошел к окну.

— Они еще не едут с охоты, — сказал он притворно равнодушным голосом.

— Не едут — и, поверь мне, еще долго не будут, — отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бесстрастия. — Они не ждут меня из похода, а часы летят для них так скоро, что они и не думают о возврате... Или, — что я говорю, — может, они нарочно ждут вечера... Лес широк, тропинки излучисты... Мудрено ли заблудиться!

— Какие черные мысли, Эвальд; разве не могло, в самом деле, случиться, что их соколы разлетелись.

— Я скличу их завтра на тело Всеслава! — Едут, едут! — раздалось по замку.

Топот коней и восклицания охотников огласили округность; оконницы, дребезжа, отозвались на звук вестового рога с башни, и сердце барона оледенело... Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. Кто-то бежал по лестнице, дверь скрипнула, Эвальд вскочил; яростным взором встретил он входящего, — и напрасно: это был паж баронессы.

— Скажи госпоже твоей, — крикнул он, — чтобы она дожидалась меня в своих покоях, но чтобы она не входила сюда... Это моя воля, мое приказание; слышишь ли: мое приказание!

Измученный паж удалился с трепетом, — и опять мертвая тишина в зале. Ромуальд молчал; Нордек не мог говорить. Наконец с шумом вбежал Всеслав в комнату. На нем был красный кафтан, на полах вышитый золотом. За кушаком татарский кинжал, на руке шелковая плетка, и красные каблуки его сапогов пестрели разноцветною строчкою; яхонтовая запонка и жемчужная пронизь на косом воротнике доказывали, что Всеслав не простого происхождения; но смелая, развязная поступи, открытое лицо и быстрые взоры еще более заверяли в его благородстве. С радостным челом, с дружеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд яростно оттолкнул его.

— Прочь, изменник! — воскликнул он. — Прочь! Не пятнай меня своим иудиным лобзаньем...

— Что это значит, Эвальд? — произнес Всеслав, пораженный видом и выраженьем барона.

— Ты слишком хорошо знаешь, об чем говорю я; но притворство ни к чему не послужит... Признайся!

— Ты потерял рассудок, Эвальд!

— О, как бы желал я потерять его, но к несчастью, он теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, чем ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал на мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил как с братом, а ты обольститель, ты с другом поступил будто со злейшим неприятелем.

Лицо Всеслава загорелось негодованием.

— Эвальд! — вскричал он, — не для того ли ты возвратил мне жизнь, чтоб отнять честь? не для того ль почтил пленника гостеприимством, чтобы сильнее оскорбить гостя клеветою?

— Это правда, это ужасная правда! И... не заставь меня употребить силу... Если ты в ней не сознаешься, то, богом клянусь, Всеслав, тем богом, которого ты забыл, — волки и вороны будут праздновать мой гнев твоим трупом.

Всеслав, внимая этим угрозам, гордо сел в кресла и спокойным голосом отвечал:

— Рыцарь фон Нордек, я пленник твой; делай что хочешь. Но ты видел под Вейзенштейном, когда рубился я с твоими латниками, пугала ли меня смерть! Ужели думаешь теперь застрашать ею? Поверь, Эвальд, мне легче будет умирать безвинному, чем тебе жить после злодеяния. Впервые вижу я такое утончение злобы: зачем было не умертвить меня на поле битвы, чтобы здесь выхолить на убой!

— Затем, что ты был тогда лишь неприятелем Ордена, а теперь стал моим личным врагом, моим кровным злодеем, похитив любовь легковерной Эммы!

— Рыцарь! Именем чести и доброй славы невинной супруги твоей требую доказательств!

— Невинной?.. Давно ли волки проповедуют невинность лисиц? Давно ли русские говорят о чести?

— Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее пишете на гербах, а мы храним в сердце.

— В твоём черном сердце — не бывало искры других чувств, кроме неблагодарности, обмана и обольщения!

— Слушай, рыцарь, — вскричал Всеслав, вскакнув, — низко и в поле ругаться над безоружным, но еще ниже обижать в своём доме. Я бы умел тебе заплатить за обиду, если бы моя свобода и сабля были со мною!

— Ты будешь иметь их на свою пагубу, — отвечал в бешенстве Эвальд, — и суд божий поразит вероломца!

— Когда ж и где мы увидимся? — спросил Всеслав.

— Как можно скорее и как можно ближе. Я удостоиваю тебя поединка, чтобы иметь забаву самому излить твою кровь и ею смыть пятно со щита моих предков. Оружие зависит от твоего выбора. Я готов драться пеший и конный, с мечом и с копьем, в латах или без оных. Бросаю тебе перчатку не на жизнь, а на смерть.

Всеслав хладнокровно поднял перчатку.

— Итак, на рассвете, — сказал он, — с мечами, пешие и без лат. У меня нет товарища, а потому и Нордека прошу не брать свидетелей. Место назначаю отсюда в полумиле, но дороге к Веро, под большим дубом. Там я жду обидчика для свиданья, чтобы сказать ему вечное прости.

— Но куда ж спешите вы, благородный русский? — спросил Мей с тайною радостью, подозревая, что Всеслав собирается скрыться.

— Куда глаза глядят, — отвечал Всеслав, снимая со стены свою саблю и шлем, висевшие в числе трофеев. — Чистая совесть постелет мне ложе в лесу дремучем, и мне не будет там душно, как в этом замке, где меня берегли, чтобы чувствительнее обидеть.

Он вышел из замка, со вздохом взглянул на окно Эммы и побрел в темноте по сыпучему песку.

III

Светло и радостно встало утро над замком, но в замке все было угрюмо и печально. Старик Отто, отец Эвальда, в беличьем полукафтанье, сидел в своей комнате у окна; подле него лежала Библия, но он уже не мог читать ее, он с беспокойством глядел в поле сквозь цветные стекла. Эмма, заливаясь слезами, молилась перед распятием, и бледное лицо ее и белокурые волосы, разметанные по плечам, ярко отделялись от черного камлотового, опушенного горностаями платья, которое длинными складками упало на пол.

— Не плачь, не крушись, моя милая, добрая Эмма, — с нежностью сказал старый барон; но голос его доказывал, как трудно было исполнять ему совет свой. — Прости моему Эвальду и надейся на всевышнего, может, все кончится счастливо. Злые наветы заставили моего вспльчивого сына обидеть безвинного человека... Но ведь не каждая рана смертельна, — а, по-моему, лучше носить язву на теле, чем убийство на совести. Солнце уже

высоко, и он, верно, скоро воротится. Рыцарь Мей с капелланом давно поехали на место поединка узнать, чем он кончился... Но вот пылят по дороге...

Сердце в Эмме забилося часто и сильно, голова кружилась, дыхание занялось в груди... Она не смела ни взглянуть в окно, ни услышать может быть радостной, может быть смертельной вести.

— Это они, это точно они, — воскликнул Отто. — Уже я распознаю жеребца Ромуальдова, вот и капеллан... вот и пегий бегун Эвальда... но... боже мой!.. он убит!

— Кто убит, батюшка? кто?

— Он, Эвальд! Эмма! у тебя нет более супруга. Бедный Отто! у тебя нет уже сына. Он, единственный мой Эвальд, убит, убит.

С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. Взоры ее померкли, голос замер, и голова скатилась на грудь. Это зрелище представилось Ромуальду и Всеславу, когда они, запыленные, вошли в комнату.

— Где, где он? — вскричала Эмма, которой приход их возвратил жизнь. — Отдайте мне моего Эвальда!

— Его нет, — сурово отвечал Мей.

— Рыцарь, не обманывайте меня... Впервые прошу вас, Ромуальд, скажите мне всю правду. Где муж мой?

— Я не лгу, баронесса, он пропал без вести.

— Скажите лучше — без возврата.

Рыдания Эммы раздули искру жизни в старом Отто, и тот же вопрос был повторен Мею.

— Мы искали его везде, — отвечал Мей, — обскакали кругом на милню, перешарили все кустарники, — и следу нет. Вероятно, разбойники или наездники русские, — примолвил он, взглянув подозрительно на Всеслава, — схватили и увезли его за свой рубеж.

Казалось, внезапный луч осветил мысли Эммы. Все и всё обвиняло Всеслава. В самом деле, для чего избрал он такой уединенный час поединка и место на границе русской? Для чего желал видеть противника без лат, без свидетелей? О, это верно, это несомненно. Удар наемного кинжала есть скорейшее средство избавиться сильного неприятеля. Эмма как помешанная бросилась к Всеславу, который, опершись на окно, с глубокой тоской смотрел на нее.

— Кровопийца, — вскричала она, — разве недоволен ты, лишив меня доверия и любви моего супруга, когда теперь потаенно убил его? Признайся в своем злодействе. Отвечай, где совершил ты преступление? Куда бросил его тело? Скажи, чья кровь дымится на руках твоих?..

Эмма не могла продолжать.

— Эмма, Эмма! — с укором возразил до глубины души огорченный Всеслав, — и ты могла подумать, что я способен на такое низкое дело! Неужели все, кого так искренно любил я, кого так беспредельно уважал, сговорились подозревать, обвинять меня в гнуснейшем вероломстве и преступлении, едва вероятном для самых закоснелых злодеев!

Слезы навернулись на глазах Всеслава. Все умолкли, наблюдая друг друга. Какое-то злобно-радостное чувство просвечивало сквозь угрюмую физиономию Мея, по его взор выражал то сожаление к Эмме, то ненависть к обвиненному. Отто отирал серебряными волосами глаза свои, но ни одна слеза не выкатилась, чтобы облегчить растерзанное сердце отеческое. С живым участием, но с мучительной тоскою обвиненного человека, который жаждет и не может утешить своих обвинителей, боясь упрека в ласкательстве, стоял Всеслав между ими, но его взгляд был горд и покоен. Эмма в забытьи, с бродящими окрест взорами, опиралась на плечо Отто. Все беды, все горести слились для нее в одно тяжкое ощущение, в чувство хладного и немного отчаяния. Картина была ужасна.

Молчание прервано было криком Сигфрида, щитоносца Эвальдова.

— Беда, беда... — вопиял он, вбегая в залу. — Горе и смерть нашему бедному господину; он схвачен тайным судом; вассалы видели, как утром провезли его связанного, и

три зарубки на воротах это доказывают!

— Все погибло! — диким голосом воскликнула Эмма и как труп упала к ногам Оттовым.

IV

В глухую полночь тайное Аренбургское судилище⁵⁶ собралось под открытым небом в дремучем сосновом лесу, осенявшем некогда берега Эзеля, — собралось, чтобы судить привезенного рыцаря.

Нордеку развязали глаза, и он с изумлением увидел себя на поляне, перед камнем судным. На середине его иссечен был крест; на нем лежали кинжал и книга. Четыре факела, вонзенные в землю, проливали какой-то зеленоватый свет на грозные лица присутствующих, и при каждом колебании пламени тени деревьев, как привидения, перебегали через поляну. Члены, опершись на длинные мечи свои, закутавшись в мантии, сидели недвижны, вперив на обвиненного тусклые очи. Черно было небо, гробовые ели шептались с ветром, и когда стихал их говор, порой слышался плеск волн между камнями прибрежных.

— Твое имя, рыцарь? — спросил председатель.

Нордек величаво стоял между стражей, закинув за плечо цепь и накрест сложив руки.

— Мое имя? — повторил он, озирая с любопытством заседание. — Станный вопрос, ежели ты судья, и бесполезный, когда разбойник. Зачем же лишили меня свободы, как преступника, еще не зная, кто я таков?

— Такова форма суда. Кто ты, рыцарь?

— Меня должен знать каждый, кто не бегал, а дрался лицом к лицу. Впрочем, я, не краснея, могу высказать свое имя и достоинство; я рыцарь Эвальд фон Нордек, владетель Нейгаузена и ротмистр Монгеймовых латников.

— Рыцарь Эвальд фон Нордек! Ты предстоишь священному тайному суду Аренбургскому, судящему на земле и водах преступников совести и чести. Итак, именем сего суда объявляем тебе: я, Оттокар фон Оснабрюк, фрейграф Аренбурга, брат Эзельского епископа Германа III, и мы все, духовные и рыцари Тевтонского ордена, что ты обвинен в зажигательстве и в измене Ордену по сношениям с врагами его, русскими. Оправдывайся, если можешь!

— Скажи лучше — если захочу; а я не могу и не должен хотеть этого. Я не признаю другой расправы, кроме орденской.

— Здесь ты видишь многих собратий своих.

— Собратий по епанче, не по мечу — потому что вы воюете веревкой и кинжалом, не по кресту — вы изменили ему, преступив клятву повиноваться одному гермейстеру. И, значит, вы враги Ордена, когда обвиняете за то же самое, за что славил меня гермейстер: за верное исполненье воинской должности.

— Но ты забыл тогда долг человека.

— Фрейграф!.. Пролитая кровь, пожары и расхищенья святыни и все злодейства, необходимые спутники войны, лежат на ответе епископа Иоанна и гермейстера Монгейма, а я был только орудием высшей воли. Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги, как крепость, и я взял его приступом, как солдат, а следствия упрямого отпора известны. Но там духовные сражались и гибли, как рыцари, — а вы, рыцари, судите за военное дело, будто за

⁵⁶ Тайное судилище (Freigerichte, Femegerichte, Heimliche Gerichte), это пугалище средних веков, из Германии с рыцарством перешло и в Ливонию. Заседания их (Freistuhl) были в замках Аппаше и Аренбурге, где доселе находится множество костей, в стену закладенных. Позывы свои оно делало и посредством зарубок на воротах или на деревьях. Впоследствии гроссмейстер Эрпинггаузен запретил особым декретом повиноваться сему суду, основанному вначале для удержания насилий самоеудных баронов и впоследствии превратившемся в скопище разбойников, влекомых корыстью или мщением. Слово Femegerichte происходит от старинного саксонского слова *verfemmen* — проклясть, осудить, лишить убежища законов (*vogelfrei*). (прим. автора)

святоотатство.

— Вольные члены! В первом обвинении фон Нордек признается.

— Я горжусь тем, как воин, но сожалею о том, как человек. Об остальном же нелепом и низком обвинении скажу, что настоящие сыны Ордена не подражают примеру вашего Фехтена⁵⁷ и не братаются с язычниками-литовцами для грабежа братних имений. Впрочем, как можете вы вступаться за Орден, когда сами его первым случаем вините? Разве можно быть вдруг и за епископа и за гермейстера?

— Истина не принадлежит ни к какой стороне, и правосудие казнит без лицепрятия!

— Истина не имеет нужды пресмыкаться во мраке и тайне; правосудие обвиняет гласно и казнит всенародно, а не уязвляет, как змея в пятку, не поражает, подобно бандиту, из-за угла. Еще раз спрашиваю: какое право имеете вы судить меня?

— Рыцарь! Ты должен здесь только отвечать; можешь только просить, а не спрашивать.

— Мне просить! Вас просить! Ты сместишь меня, фрейграф! Послушайте вы, господа самозванные судьи мои, я знаю, что здесь обвинение есть уже смертный приговор и что вы привлекли меня в этот вертеп не для того, чтоб судить, но осудить; со всем тем не надейтесь, чтобы страх смерти заставил меня в жизни унизиться. Знайте, что я всегда ненавидел вас и даже теперь презираю, что я умру в сладостной уверенности на отмщение вам моего друга Монгейма, и верьте, что каждый волосок, каждый сустав мой выкупится сотнями черепов безземельных ваших рыцарей, белое знамя гермейстерское очервленится вашею кровью и огонь очистит землю от трупов злодейских. Таково будет наказание от человека, господа судьи... Я уже не говорю о воздаянии всевышнего судии! Ваша совесть вам скажет о нем перед смертным часом, — и не будет вам отрады, ни прощения.

— Нордек! Ты напрасно расточаешь брань и угрозы. Тайный суд бесстрастен, как провидение, и неумолим, как судьба.

— Но кто дал вам, безумные люди, взор провидения, кто вручил вам меч судьбы? Разум, дар неба, и земная власть гроссмейстера отвергают суд ваш. Я не признаю его определений!

— Так испытываешь его силу, — с злобною усмешкою отвечал Оттокар. — Господа вольные члены тайного Аренебургского суда, по статутам и законам нашим, клянитесь за мною судить обвиненного по совести и чести!

Все склонили колена и подняли правые руки... Эвальд услышал следующую клятву:

— Клянусь стоять за тайный суд против отца и матери, против жены и детей, против друзей и кровных, против ветра и огня, противу всего, что солнце греет и дождь кропит, противу всего, что между землею и небом находится; и пусть на душу мою обратится проклятие, а на мою голову казнь, присужденная преступнику, если не выполню я судного приговора.

Как злые духи, встали и уселись опять члены суда, брэнча оружием. Фрейграф продолжал:

— Итак, вольные сочлены мои, перед вами стоит рыцарь фон Нордек, уличенный в святоотатстве; измена же его против Ордена, тайная связь с русскими, которым хотел он предать пограничный свой замок Нейгаузен, доказана еще в прошедшем заседании клятвенными показаниями известного вам сочлена. Братья и члены! что присудите вы за такие ужасные злодейства?

Молчание.

— Гельмольд фон Лоде, твой приговор?

— Рыцарь Эвальд фон Нордек осужден!

— *Verfemt!*⁵⁸ — раздалось со всех сторон.

⁵⁷ Рижский епископ Фехтен, воюя против герм. Думпесгагена в 1286 г... соединился с литовским князем Витовтом. (прим. автора)

⁵⁸ Осужден! (нем.)

— Verfert! — радостно повторил фрейграф. — Лишен покрова всех законов и обречен на смерть. Секретарь, занеси в книгу его имя и преступление. Стражи!

Фрейграф махнул рукою, и несчастного увлекли.

— Рыцарь Ромуальд фон Мей, член тайного суда Вестфальского, ты был обвинителем Нордека, — вручаю тебе кинжал для его казни. Еще сутки будет он жить, чтобы выведать из него тайны гермейстерские, потому что он был во всем правую рукою Монгейма; но потом соверши что начал и объяви главному суду Красной земли⁵⁹, как подвизается здешний, для общей пользы и славы.

Ромуальд безмолвно встал, склонил голову в знак согласия и, взяв кинжал, хладнокровно пробовал его остроту... но взоры предателя сверкали злобно, как глаза волка на добычу. Члены попарно медленным шагом скрывались в мраке и чаще леса.

V

Видали ль вы восход солнца из-за синего моря? Уже холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Легкие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы. Дальний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою исчезает в небосклоне. Все тихо; только изредка клик плещущихся вдали лебедей по заре раздается, и нетерпеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камышами. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, как бы в раздумье, стоит на краю небосклона и, вдруг воспрянув от вод, величественно устремляется по небу.

Такое утро сияло над диким берегом Ливонии, когда человек двадцать русских гостей любовались им. Две большие высокогрудые их ладии стояли близ утеса. Невдалеке светлели высокие башни замка Пернау, недавно отстроенного гермейстером Йокке. Двое, в кольчугах, с секирами, стояли на страже. Другие лежали беспечно, раскинувшись вокруг огонька, лишь по дыму заметного против солнца. Ото были товарищи молодого и богатого гостя Андрея Гремича. В то время все новгородцы вырастали в море и в воде и звание купца было неразлучно с достоинством воина. Случалось нередко, что торговцы, отправляясь в чужбину за мирными прибылями, возвращались с добычею битвы. Каждый своевольно, когда пробуждался в нем боевой дух или корысть к себе манила, вооружался и разгуливал по Варяжскому морю и озеру Ладожскому, на страх немцам и шведам. К такому же разряду, казалось, принадлежала дружина Андреева. Тяжелое их оружие не могло принадлежать людям, непривычным к битве, и жилистые их руки были способнее наносить раны, чем нарезать бирки⁶⁰ или выкладывать на счетах.

— Эй, земляки! — раздалось над их головою, и русские увидели на утесе рыцаря в вороненых латах, на гнедом мекленбургском коне.

— Мы все земляки, все из земли сделаны, — грубо отвечал ему один из гостей, зажигая фитиль самопала.

— Что тебе надобно, рыцарь?

— Узнать, где можно безопаснее к вам спуститься, — отвечал тот.

— Пусть молния опалит мне бороду, если я не спущу тебя вниз одним прыжком! — возразил Илья, прикладываясь; но рыцарь мелькнул и исчез.

— К ружью! — закричал Андрей, хватаясь за меч.

⁵⁹ Rotes Land — так называли в старину Вестфалию, где находился главный тайный суд, который уже заведовал всеми. (прим. автора)

⁶⁰ Бирки и донныне употребляются русскими подрядчиками в виде векселей. Это не что иное, как лучинки, из которых нарезаются кресты и палочки, означающие количество. Потом эта лучинка раскалывается надвое, и половинки хранятся у отдатчика и приемщика до расчета, (прим. автора)

Русские повскакали и приготовились принять незваного гостя. Между тем незнакомец показался опять, тихо съезжая к ним по узкой тропинке.

— Бьюсь об заклад, — сказал Илья, — что это передовщик какой-нибудь ватаги бродящих немецких рыцарей. Ну уж народец! С ними не плошай ни в торгу, ни в мире. Как ворон крови, так они жаждут золота, и хоть деньги ничем не пахнут, но они чутьем своим как раз спроведают, где есть пожива. Сказывали, они еще недавно разграбили наших купцов в самом Юрьеве. Проклятые язычники!

— Они, кажется, христиане, — важно заметил один из гостей.

— Да, да, христиане!..

Рыцарь приблизился, слез с коня, вонзил копьё в землю и смело пошел в середину русских. Бесстрашный Андрей вышел к нему навстречу; они сошлись.

— Андрей! — воскликнул рыцарь... и с поднятым наличником кинулся обнимать его.

— Брат Всеслав, ты жив еще!

Сладостно было свидание братьев. Они плакали и усмехались, прерывистые восклицания и безответные вопросы летели. Умиленные новгородцы столпились вокруг своих начальников, кланялись, жали руку Всеславу, целовали и обнимали его, как воскресшего: на родине его давно считали убитым.

— Полно, полно, — сказал Андрей, вырываясь из объятий братних, — ты сломал мне грудь своими латами; но скажи, пожалуй, зачем ты променял свою серебряную кольчугу на этот кирас, в котором гуляешь словно черепаха?

— Затем, чтобы безопаснее проехать по Ливонии, — но, брат и друг, мне надо освежить свою душу рассказом...

Братья удалились к стороне: сели под иву, которая шатром развесилась над берегом, и, рука в руке, взоры в глазах друг друга, разговаривали они об родных и родине, и все чувства души и все страсти сердца мгновенно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава, и он жадно ловил рассказы о подвигах соотечественников, о их славе. Он забыл о себе, внимая о Новгороде... Ах! кто не заслушается вестью об родине, как пением райской птички!

— А я, — сказал, наконец, Всеслав на повторенный вопрос брата, — как ты знаешь, пал окровавленный, избитый и израненный на полях Вейзепштейна, куда удальство завлекло меня с горстью бесстрашных. Я не знал, где я почувствовался. Прошлое для меня исчезло; память истощилась с кровью, и все, что тогда увидел я наяву, мне чудилось будто во сне. Надо мною вздымались плитные своды, как в могильном погребке; на мне, как саван, белое покрывало, и тусклая лампада едва освещала окружность. Я ужаснулся; мне представилось, будто я погребен заживо! Холодный пот проступил на лице... Приподнимаю голову, озираюсь... У моего изголовья сидела прелестная, как ангел, женщина... Признаюсь тебе, я обомлел; суеверное воображение представило мне, что в ней вижу я свою душу, которая, перед отлетом на небо, прощается с бrenным своим жилищем. Брат! это была супруга рыцаря фон Нордека, великодушного моего победителя.

— Нордека! — воскликнул пылкий Андрей. — Этого рыцаря словом и делом, который первый под градом камней и проклятий влез на стены дюнамюндские, которого рижане страшатся, как божьего гнева! Я недавно видел его, когда он обок гермейстера въезжал в пролом покорившейся им Риги, в пролом, который был для них победными воротами. Этот Нордек ехал так горд, глядел так смело всем в глаза... что... признаюсь, меня взяла охота померять с ним силы, — он должен быть славный человек.

— Он в самом деле таков, — продолжал Всеслав. — Вспыльчив до бешенства и неустрашим до безрассудства, зато как добр и радушен! Теперь буду говорить о себе. Между тем как медленно возвращались мои силы, раздоры Ордена с Новым-городом продолжались, и мне невозможно было в целые полгода дать весточки, нельзя было спроведать о родимых. О, как часто, друг, у меня было тяжело на сердце! И некому было открыть тоски своей, не с кем погоревать вместе. Часто, каждый день глядел я с башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, которая вилась и скрывалась в лесу; иногда скакал по ней русский всадник — и надежда моя воскресала, сердце билось крепко; но мнимый вестник скрывался — и вновь

оно ныло и замирало. Только с Эммою находил я отраду; и благодарность за ее нежные попечения об раненом превратилась во мне в какую-то неизъяснимо тихую к ней привязанность.

— Неизъяснимую? — перебил, грозя пальцем, Андрей. — Для меня это очень понятно: ты влюбился в нее...

— Нет, Андрей, нет; это не была та бурная любовь, которую судьба судила мне испытывать. В этом непрехотливом чувстве нет волнений, нет бешеной веселости без причины, нет отчаяния от безделиц; огонь не сжег моего сердца, и ревность не раскалила его. Только, не знаю отчего, при ней я дышал свободнее, с нею был веселее, но совесть моя была светла, как клинок твоей сабли. Мы почти не разлучались — все трое езжали на охоту, на прогулку, утром учили друг друга родным языкам своим, а вечером рассказывали повести. Добрый Эвальд радовался, что пленнику не скучно; гостеприимство и доверенность царствовали в доме, время мчалось, и пагубная минута пробила. К Эвальду приехал погостить старинный друг его, вестфалец фон Мей, мальтийский рыцарь, который в числе воинов прусского графа Аренсбурга помогал гермейстеру на русских. В его душе сходились все знойные страсти Востока с необузданною волею, которая всего желала и все могла. Он вспыхнул страстию к прекрасной Эмме и употребил все средства опытного волокитства, все тонкости тщеславия, все обольщения богатства, чтобы склонить ее на любовь. Гордая невинностию Эмма не хотела даже приметить этого, и ее презрение возбудило в развратном его сердце злобу. Он оклеветал ее в глазах мужа, заставил меня взяться за оружие, чтобы отвечать на обидный вызов Эвальда, и, должно подозревать, обвинил его перед тайным судом, потому что Эвальда схватили и увезли на Эзель. И что сказать тебе еще о злодействах этого разбойника? Он, пользуясь смятением, похитил Эмму, туда же увез сестру мою, нашу Эмму, — и, может быть... — как еще кровь не брызжет из жил моих! — она поругана, обещана! Что же ты смотришь на меня с таким изумлением? Да, там я нашел сестру, ту самую Марфу, которая еще двухлетняя похищена была у родителей наших при набегах рыцарей на предместье Пскова. Отто, отец Эвальда, сжалился над погибающей малюткой — привез домой и воспитал как дочь, под именем дальней родственницы, не открывая никому тайны ее рода, ибо он знал, как ненавидят германцы все русское племя. Я узнал о том нечаянно, перед ее похищением, когда Отто хотел благословить меня крестом русским для поиска об Эвальде. Брат! вот он, вот семейный наш крест, вот и половина кольца с перста чудотворной великомученицы Варвары, которым нас, близнецов, с Марфою благословил архиепископ, разломив на полы. Подобный крест и полкольца уверили Эмму, — и я прижал к груди моей погибшую сестру, я нашел ее, — и мы потеряли ее, может быть навсегда. О брат, брат, мы ее потеряли!

— Чего же медлим, — воскликнул Андрей, — для чего ж волочим время в рассказах, когда наш зять теряет, может быть, жизнь, а сестра честь свою! О, как бы обрадовались наши старики такую находкою; а чего не сделаю я, чтобы их обрадовать? В поход, товарищи!.. Мечите в море лишний груз — надобно жертвовать драгоценным благороднейшему. На Эзель, в Аренсбург! в этот притоп тайного суда, об котором довольно наслышался я, в это гнездо плутов, которые во зло употребляют слово правосудие и льют кровь невинных.

— На Эзель, в Аренсбург! — восклицал Всеслав, вскакивая в ладью. — И дай мне руку, брат, на смерть беззаконникам, если казнь уже постигла благородного Эвальда. Я подкрадусь туда, как тать, и зарежу их, как разбойник; в крови отцов утоплю детей, дымом пожара задушю все племя злодейское, и пламень — знамя истребления разовьется над главами башен.; —

Якорь был уже поднят, когда Андрей послал одного из своих на берег.

— Возьми братнину лошадь, — говорил он ему, — и скачи по берегу, ищи русских, расскажи им дело и собери удалых в Ревеле. Там господами датчане, и они будут с нами заодно. Если чрез два дни нет вести, то спешите на Эзель и совершайте по нас поминки как знаете. Прощай!

Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая волны, полетела по морю.

«Счастливого пути вам, други! — думал оставшийся новгородец на берегу. — Спешите: ветер изменчив, и злодейство не теряет минут. Кто знает, на избавление или на бесплодную месть вы спешите».

VI

Скован, как злодей, осужден, как преступник, лежал Эвальд на полу в одной из башен аренсбургских. Неумолкающая тоска грызла его сердце, и все насмешливые воспоминания счастья и все жестокие ощущения души будто нарочно роились в воображении, чтобы отравить последние минуты жизни. Пять дней тому назад он был счастливейшим человеком в свете. Увенчан молвою, отличен гермейстером, почтен равными себе, спешил Эвальд в объятия прелестной супруги и друзей, ему обязанных. А теперь... о боже мой, боже мой! Кто испытал вдруг столько душевных и вещественных несчастий! Обманут другом, изменен женою, безвозвратно оклеветан, очернен пред рыцарством, перед потомками, осужден беззаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь!..

«Умереть легко, — думал он, — но умереть на поле чести или на ложе предков, не на плахе потаенного палача, на которой не застыла еще кровь какого-нибудь бездельника. Погибнуть столь внезапно, оставить без награды лучших друзей, без отмщения злейших врагов!.. Умереть так темно, что ни один наследник, даже для виду, не придет поплакать на прах мой... Его развеет ветер, размоют волны и хищные птицы разнесут по лесам и болотам... О, это ужасно, это нестерпимо!»

В отчаянии грыз Эвальд оковы, и слезы ужаса бесчестной смерти замерли в очах его. К счастью человечества, сильные удары страстей непродолжительны. Выстрел потрясает твердь, но исчезает мгновенно; так и отчаянье Эвальда утихло, как стихает ниспавшая волна водопада. Казалось, разум сжалился над несчастным и отлетел прочь. Настоящее, прошлое и будущее смешались для него в хаос. Мечты, будто сонные видения, проходили, кружились, сталкивались в воображении; но тусклое понятие не могло схватить ни одной черты, ни одной мысли, — все было мрачно, как могила, и безначально, как вечность. Наконец звук цепей извлек Эвальда из его ничтожественного забытья.

«Может быть, — подумал он с горьким вздохом, — эти цепи заржавлены слезами других обвиненных, до меня здесь погибших... Может быть, и они были так же невинны, так же несчастны, как я!.. Их уже нет... Скоро и меня не станет, и поздний потомок найдет наши имена, записанные в кровавой книге преступлений!.. Худая слава живет долее доброй, и, статься может, имя Нордека, которым гордились доселе рыцари ливонские, предастся на поругание в веках грядущих. Так! Благодетели людей тлеют в гробах, наравне с теми, кому благодворили они, а ненависть переживает поколения. Знаменитые подвиги умышленно забываются завистью, неодолимые замки исчезают под бороною, славные удары могучих снедают время и ржавчина, с сокрушенными от них бронями, а между тем низкая клевета таится в архивах, и предатель-пергамин, чрез сотни лет, выдаст сказки за истину, обесславит добрых и возвеличит ничтожных злодеев!.. Но разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд независимо от прихотей случая и обманчивых понятий человека? Разве нет другой жизни, где все истина и все благодать?..»

Сердце Эвальда смягчилось, общая судьба людей примирила его со своею судьбою, и какой-то внутренний голос вопиял ему: «молись!» И Эвальд молился. Правда, он часто забывал молитву в боях и на пирах, но теперь, на пороге смерти, он молится, и молится не от страха, но от умиления сердца. Часто забывают смерть в припадках чести на поединках, ее не замечают в блестящей мантии славы на сражениях; но не тогда, как она является во всей своей наготы, со всеми ужасами неизбежной казни. Эвальд молился чистосердечно, искренно... и час его пробил. Визгнули тяжкие засовы; скрипя, отворилась дверь на пятах, и убийца с фонарем и кинжалом предстал осужденному.

VII

— Куда вы везете меня? — говорила умоляющим голосом Эмма, в эстонской ладье, своим бесчувственным похитителям; говорила, и буйный ночной ветер развеивал ее волосы, уносил ее слова.

— Конрад! Конрад! Сжался хоть ты надо мною, вспомни мои всегдашние к тебе милости... Злой человек, чем заслужила я от тебя такую измену!.. Любезный Конрад, скажи, куда и зачем везут меня?

— На Эзель, сударыня, на славный остров Эзель, в — гости к прекрасному господину моему, рыцарю фон Мею.

— Но увижу ль я там моего Эвальда?

— О, конечно; он, верно, дожидается вас на первом дереве, а не на виселице, — в этом я уверен, и это же самое докажет вам, что г. Эвальд осужден не гражданским, а тайным судом. Да, впрочем, вам, высокородная баронесса, печалиться не о чем. Такая красавица, как вы, в женихах нужды иметь не будет. Ромуальд вас повезет с собою в Вестфалию, а там не то, что ваша Ливония, где не найдешь, прости господи, кочна цветной капусты; там, сударыня, шпанских вишен куры не клюют, а винограду больше, чем здесь рябины; а рейнвейн-то, рейнвейн! О, да вы будете жить припеваючи. Правда, ему нельзя явно жениться на вас; так что ж? Вы обвенчаетесь с левой руки, а ведь с левой руки и сердце!

— Святая Мария! подкрепи меня, — воскликнула Эмма, рыдая, — до чего я дожила: последний вассал смеет надо мною насмехаться. О злодей Ромуальд, я проклиная тебя!

— Ведь я говорил, что напрасно снимать повязку со рта баронессы: она может простудиться, говоря так много. Ух! как качает, как плещет! Не правда ли, сударыня баронесса, что ветер здесь немножко посильнее, чем ветер от вашего опахала? Не поблагодарите ли вы меня за эту прогулку по морю! Могу похвастаться, что я избавил всех от погони; это была мастерская штука; я каждой лошади вколотил в ногу по гвоздику. Ба, да вот и огни в Арнсбурге; посвищи, друг Рамеко, чтобы еще крепче задул ветер. Скоро, скоро мы выйдем на берег, скоро вино польется в горло и деньги в карманы.

Вдруг взглянул Конрад в сторону: огромная ладья на всех парусах с наветра катилась к ним наперерез.

— Кто едет?! — оробев, закричал Конрад. — Кто, друзья или неприятели?

— Это он, это изменник Конрад! — заревел в ответ громовой голос, и вмиг русская ладья врезалась к ним в бок.

Ужас охватил сердце Эммы... Она слышит треск досок, хлопанье парусов, крики битвы и клятвы умирающих. Мечи скрестились, искры сверкают по шлемам, и вот несколько выстрелов, и опять сеча, и, наконец, вопли о пощаде...

— Нет пощады, топите разбойников! — раздалось, и вмиг ярящиеся волны заплескались над тонущими и залили их пронзительные голоса.

Конрад схватился было за край, но мольбы злодея были бесплодны, и он, проклиная себя, с обрубленными руками опустился на дно морское.

Какой переход от отчаяния к надежде, от чувства страха к нежным ощущениям. Спасенная Эмма опаматовалась в объятиях братьев!

— Слушай, Рамеко, — говорил Всеслав избегшему от смерти кормщику эстонской ладьи, — дарю тебе жизнь и свободу, но веди нас мимо камней, прямо к Арнсбургу, прямо к той башне, где заключен пленный рыцарь. Ты сегодня оттуда, следовательно должен все знать. Веди — или я познакомлю тебя с рыбами!

Эстонец повинился охотно, ибо он ненавидел владельцев своих столько же, сколько их страшился.

Между тем буря свирепела от часу более; дождь лил ливнем, и только блеск молний показывал близость замка.

— Смотри, — говорил Всеслав брату, — как дождь гасит ложный маяк, сложенный из бревен разбитого корабля, чтобы приманить другие к гибели. Смотри, как вьется молния вокруг шпильцев замка, воздвигнутого на костях несчастных пловцов, и не для защиты, а для

угнетенья людей; но минута карающего гнева приспееет, и гроза небес испепелит грозу земли.

— Сюда, сюда, — тихо говорил кормчий, устремляя бег ладьи на высокую стену. — Опустите паруса, снимите мачты, склонитесь сами: мы проедем сквозь низкий свод, оставленный для протока воды по рвам, к самому подножию башни.

Не без трепета и сомнения пустились русские под свод, где измена и гибель могли встретить их.

Страшно плескали волны залива в стену и, отраженные, стекали из-под свода, журча между расселинами камней; но там все было тихо и каждый шорох вторился многократно. Через минуту они уже были во рву между башнею и стеною.

— Вот окно заключенника, — сказал проводник, и русские остановились в недоумении: окно было по крайней мере четыре сажени от земли.

— Wer da?⁶¹ — закричал часовой, беспечно прохаживаясь по стене, и завернулся в плащ, в полной уверенности, что над ним потешаются злые духи.

— Я укорочу тебе язык, зловещая птица, — тихо сказал Гедеон; стрела взвилась, и часовой полетел в воду.

— Счастливей путь, товарищ! Спасибо, что ты открыл нам дорогу наверх... Посмотри, брат Всеслав, его плащ зацепился за зубец и раскинулся по стене... Помогите мне, друзья, достать кончик; так, теперь крепко, не сорвется. Тише, тише... Я уже наверху, а отсюда не более полуторы сажени до окошка. И ты уже здесь, брат Всеслав, это славно! Теперь, товарищи, вырвите из частокола бревно и подайте его сюда, оно послужит нам вместо лестницы и тарана.

Через четверть часа десять удальцов были на гребне стены и по приставленному бревну, скользя и обрываясь, лезли к башне. К счастью, подле рокового окна выдавалась над рвом висячая стрельница, и с нее-то Всеслав достиг до него. Приложив ухо к решетке, ему послышался голос, но это не был голос Эвальда! Неужели же все труды напрасны, неужели его обманули?

VIII

Всеслав приник внимательнее к решетке, не смея, однако ж, заглянуть в нее... Гневные слова раздавались в башне: то говорил Ромуальд.

— Вероломец, изменник, предатель, говоришь ты; такие названия мне сладостны из уст моей жертвы. Так, я изменил дружбе, я скрывал свои чувства, я предал тебя сторонникам Иоанна, чтобы удовлетворить свои страсти, а мщенье есть первейшая моя страсть. Помнишь ли, Эвальд, турнир в Кенигсберге, помнишь ли тот удар копья, которым ты выбил меня из седла; это еще я мог простить тебе: тут была обижена только гордость; но помнишь ли, что вместе с призом ты похитил у меня и сердце ветреной Аделаиды, — этого я не мог простить и никогда не прощу тебе, и с той же минуты погибель твоя была решена. Ревность заставила меня облечься в эту мантию и загнала на скалы Африки, но месть привела сюда. Ты видел, умел ли я притворяться. Теперь узнай еще, что я оклеветал твою Эмму и очернил Всеслава, чтобы заставить тебя их обидеть. Этого еще мало, Эвальд: недовольный, что я поругал твое имя, что вонзил в твое сердце муки совести, я похитил твою Эмму, — теперь она уже в руках моих, и, вышед отсюда, зарезав тебя, я осушу ее слезы поцелуями. Эмма — женщина: я ручаюсь, что через два дни она будет уже играть этим кинжалом, который напьется кровью ее супруга.

— Изверг природы! — воскликнул Эвальд, всплеснув руками, — человек ли ты?

— О, конечно, не ангел, — злобно отвечал Мей, — по какие существа мне не позавидуют: я наслаждаюсь мучениями моего врага... Ну... полно тебе жить, Эвальд, теперь я хочу жить за тебя.

⁶¹ Кто там? (нем.)

Ромуальд взмахнул кинжал, но вдруг сбитая решетка, гремя, ринулась к ногам его. Убийца оцепенел — и Все-слав, как ангел мщенья, ворвался в темницу и одним ударом меча обезоружил Ромуальда.

— Полно тебе злодействовать, Мей! — загремел он. — Твой час пробил. Выкиньте этого тигра в окно, — сказал он своим, — чтобы он не заражал воздуха своим дыханием!

Новгородцам не нужно было повторять приказа; Ромуальда схватили, раскачали и вышвырнули в окно с башни.

— Бездельник не утонет, — сказал Гедеон с насмешкою, прислушиваясь к падению Мея, — у него препустая голова; слышишь ли, как звенит она, стучаясь о камни?

— Его и дребезгов не останется, — отвечал Илья, — прежде нежели долетит он до низу: все стены утыканы частоколом.

— По делам вору и мука, — примолвил Гедеон, — он был великий злодей.

В одно мгновение разбил Всеслав рукоятью меча цепи Эвальдовы, и Нордек склонил перед ним колени.

— Склоняюсь перед невинно обиженным мною, — воскликнул он, — и объеблю моего великодушного избавителя!

Они взирали друг на друга с чувством безмолвного восторга, и горячие слезы удивления и раскаяния смешались,

— Спешите к Эмме, — сказал Всеслав, — она невинна и добра, как прежде, — она здесь внизу...

С криком безумной радости спрыгнул Эвальд на стену, с нее в ладью, и счастливый, прощенный супруг упал в объятия восхищенной супруги. Для таких сцен есть чувства и нет слов.

Гроза стихала, и наши пловцы выбирались из-под свода, когда чей-то стон привлек их внимание. Всеслав выпрыгнул на камень, чтобы посмотреть, кто это, и ужаснейшее зрелище поразило его взоры: Ромуальд, изможденный, проткнутый насквозь заостренным бревном, висел головою вниз и затекал кровью; руки замирали с судорожным движением, уста произносили невнятные проклятия.

— Чудовище, — сказал Эвальд, содрогаясь от ужаса, — ты жаждал чужой крови и теперь задыхаешься своею.

Зажав уши, отвратив глаза, бежал он прочь. Но долго после того ему слышалось, впросонках, смертное хрипение Мея, и картина его казни представлялась как живая.

Ладья летела будто окрыленная, и новые родные уже беззаботно предались излишнему чувству и рассказам.

— Посмотри, брат, — сказал Андрей Всеславу, — как расцветает над замком зарево, — это мое дело; я вместо тебя распустил на башне огненное знамя истребления и позаботился, чтобы нам было светло в дороге. Огонь горячо принялся за наше дело, да и ветер раздувает его так усердно, будто приверженец гермейстера. Послушайте, как кричат они, как стелется дым и кидает уголья во все стороны. О, это утешно, это будет памятная отплата господам тайным судьям за явные их проказы. Однако ж посоветуй зятю Эвальду не выезжать вперед без свиты. У него не две головы, и мщенье не обманывается дважды.

Спешите к берегу, молодые счастливицы! Там встретит вас дружба и под щитом своим проведет на родину. Спешите! В Нейгаузене ждет вас радость и ликование; гостеприимство и приветы найденных родителей ждут вас в Новгороде.

Я видел живописный Нейгаузен, и в нем не раздавался уже звук стаканов, ни гром оружия. Верхом въехал я в круглую залу пиршества, — там одно запустение и молчанье. Этот замок, построенный Вальтером фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на границу России, доказывал некогда могущество Ордена; теперь доказывает он силу времени. Лишь одна круглая башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное распалось. По карнизам стелется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда летали некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, омывает главы обрушенных башен, которые когда-то гляделись с высоты в

его поверхность.

Ревельский турнир*

I

«Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде».

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле все шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем, за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем широкой. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, то есть с сединою, Буртнек был человек лет пятидесяти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество.

Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам, со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу, на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешенная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор? — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лопциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости москвитцев, отчасти задержанный городской думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.

— Нагулялся ли ты? — повторил барон, отирая с усов своих пену.

— Не пользою нагулялся, барон, — отвечал весельчак доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения. — Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышгородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия, и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы же тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены, а грозны они только издали; половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофеля, нежели картечей.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! Хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни.

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее как вчерась я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения, мальвазию, господин барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораятся еще сильнее? А ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.

— Тебе завтра будет вдоволь работы, — продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон? Разве я кузнец? — отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива. — Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальной! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьи мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любы ли они им? Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставить вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешево из нее перчатки!..

Оно и не мудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку, я бы нагнал удалцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. Другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встречи со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели бы тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седла противников! Некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал? Это не много. Оп два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его, хотя я вовсе не прошу господина гермейстера заботиться о здоровье

моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, являсь сюда с первыми жаворонками, воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это стать! Мое дело так ясно, как мой палаш, так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости, — а, смотришь, деньги улетают как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь, мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось; у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет, тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть умеренность.

За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопую об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю, — сказал с улыбкою рыцарь, — понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду? Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе потопа, господин доктор; по ты увидишь, что оно совсем не водяно.

Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга-эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами, вбежал и смиренно остановился у притолки с раболепно-вопросительным лицом.

— Друмме! — сказал ему Бернгард, — скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок, — продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту), — и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме, — слышишь ли, глупец?

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан! — грозно закричал рыцарь. — Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, нечесаное животное, куда?.. Чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ! — продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения. — Скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать, глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам

петли боится⁶². Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных, — безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково вино, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев. Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И, по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать, у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель: ⁶³ это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: *utile dulci*⁶⁴.

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово *vale*⁶⁵.

Так говоря, они вышли из залы.

II

*На радуге воображенья
Воздушный замок строит он;
Его любви лелет сон...
Но бьет минута пробужденья!*

Угадываю любопытство многих моих читателей, но о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном, — и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум — такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю — что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц, скользили взоры... но какие взоры! От

⁶² Прошу читателя вспомнить о феодальных правах. (прим. автора)

⁶³ Род бильярда. (прим. автора)

⁶⁴ Полезное с приятным (лат.)

⁶⁵ Прощай (лат.)

них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотой и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в восемнадцать лет — порох, одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтраму. В углу за занавесом, вокруг длинного стола, сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетюшка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам, золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. — И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное любезный и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любованье красотой Минны.

— Пробудитесь, Эдвин, — сказала она вполголоса тронутым, вполголоса ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлейн Минна; простите меня или, лучше, самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлейн Минна, — я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо?

Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял перед прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником перед светскими красавицами? кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце, остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори, я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет, — сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блещит Ревель!

— И недаром блестит, фрейлейн Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом. — И для всех или только для вас она кажется такою? Не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фрейлейн Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства, а мне бы хотелось знать ее имя, — сказала Минна холоднее. — Могут ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.

Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен, Минна — чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, Эдвин говорил ей о ней самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей, он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги, он любовался ее очами. Следствие угадать нетрудно, ибо состояния выдуманы не для любовников и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу, и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (то есть местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал перед тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох разведал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную, не сводил их с ее окна и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастье, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! Пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой, — наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение с умиленным, голос замер, сердце как будто пронзилось, но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд.

Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фрейлейн Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет,

составленный из небесно-голубого и украшения земли — розового; я бы избрал, — продолжал он пламенно, схватив ее руку, — прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь! — прошептала она. Воздушный замок Эдвига разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя. — Зачем я злосчастен своим благополучием!

И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты.

— Минна! — повторила вприсонках ее тетушка.

III

*В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.*

Кто не читывал рыцарских романов, кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титул царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ли — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома: вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания, пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения козьею ногой⁶⁶ у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.

Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.

За нею последовал Эдвин.

— Благодарю господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею... — сказал барон, потирая от удовольствия руки. — Благодарю; я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из тремов коронку, и смущенная нечаянностью Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас, — тихо сказал Эдвин, положив руку на сердце, — вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала.

Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.

— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей, — сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь... — Соколом моим, фрейлейн Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф, — у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугой.

⁶⁶ Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей — в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall — падение серны, (примеч. автора.)

— И быть полосатым шутом, — тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль! — воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши. — Вот, что называется, соглашаться, не сказав «да». Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа, — говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту. — Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества — моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.

Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столу.

— Добро пожаловать, старая кукушка, — сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера, — добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! Что вздумали, — отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога. — Я ведь как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вещую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? — продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку. — У меня даже для завтрашнего праздника и повой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье? — сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги. — Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь.

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г. барон, — стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру, я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда, — ворчал про себя Буртнек, — ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.

(Читает.)

— «Ба... ба... барону... Бур... Бур...» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца; это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами!⁶⁷

— О! конечно, — сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

— Без сомнения, — прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее, — примолвил с усмешкою доктор, — письмо написано ломаным языком.

— У тебя оп очень гибок на споры, — возразил Буртнек, — посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... У меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них, — сказал доктор, пробегая бумагу глазами. — От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре... при...

— Возьми очки, — сказал барон.

⁶⁷ Fraktur-Buchstaben. (прим. автора)

— Возьмите терпенье... — возразил доктор. — Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней, благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...»

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: для урожденной такой-то...

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он и весь в четырех словах: «исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином, а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите, так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде, они не журавли: не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога — вещь мирская; а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью, — сказал Лонциус, наливая стопу.

— Я говорю про бумагу, — с досадой произнес Буртнек.

— А я думал, про стопу, — отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи.

(Читает.)

— «Гермейстер...» и тому подобное... «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и незаконно, наездом и вооруженною рукою и насилием и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, нашли...» Ошибка против грамматики! — вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды, — возразил Буртнек. — Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «...рассмотрев, нашел, по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озера Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к повой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту! — вскричал барон, вскакнув со стула... и гнев

его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны... — Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон так кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копьё вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет, — а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожие писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья, — и какой воды!

— Без воды обойтись можно, — возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение. — «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... Я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их спины памятной книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью, его флюгерною дружбой? Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя, даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвосяси.

Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, и громче и громче раздавался голос его, до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.

Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.

Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да, — продолжал Буртнек, — я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь, — вскричал Эдвин от души. — Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте, — сказал, пошатываясь, Доннербац, — мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... сердечно благодарю... — отвечал умиленный барон, подавая им руки. — Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. Завтра турнир, и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгерна как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... Но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... Вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг, кто бы ни выбил Унгерна из седла, — я отдаю ему

мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон, — вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку, — и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!

С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка! — воскликнула испуганная Минна.

— Минна... Я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим желаньем: что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин? — кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было. — Чудак!.. а славный малый, — примолвил он, — скажи слово, и Эдвин отдаст все без росту и закладу.

— Молодец, — повторил Доннербац, — даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница, — прибавил доктор, — хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.

IV

*...I write in haste, and if a stain
Be on this sheet 'its not what it appears,
My eyeballs burn and throb, but have no tears.*

Byron⁶⁸

Как бешеный вбежал Эдвин домой.

Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелись вдребезги, и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

— Кончено... Решено... — говорил он, скрежеща зубами. — Турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьём у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду, — вскричал он слуге своему.

— Куда? — спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать куда? Я еду, и этого довольно; ветер хорош; кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!

Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:

«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно, — тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец я, безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал... Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья!

⁶⁸ Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. Байрон (англ.).

Я дорого плачу за тебя наяву... Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня, и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге, склублились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость, еще один взор, как сегодня... и я причарован, — и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливец, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забиться, не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.

Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Удвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампы, и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!»⁶⁹

*Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.*

Летит как вихорь, как огонь

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали серебристо-облачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостью, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг- и Брейтштрассе — две дороги, ведущие к Дом-плацу в Вышгороде, — заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили

⁶⁹ Любовь — дамам, почет — храбрецам! (фр.)

занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вокруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Под балдахинном сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтаны с разрезами, унированными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизированной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну, — сказал доктор, которому все казалось в забавном виде. — Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы. Какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи, — отвечал Эдвин. — Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских, — следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статушку, — жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью — к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу, — дворянка Зеgefельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... Тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой, — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф; знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с свиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою, — баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт; он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние. Но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... Фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга:⁷⁰ шейная цепочка его весит ровно в тридцать фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованы его пальцы! Он имеет вес между рыцарями.

— Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабешнтраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность⁷¹ можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...

Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копыя перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, брэнчание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно.

И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба, и уже копыя ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копыя поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, — народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с копом своим. Забавнее всего был удар копыя Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на йоги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.

Бросив поводя и опершись на копые, величаво стоял он среди площади.

Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, — никто не являлся.

Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»

— Отворите! — закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, — и в то же мгновение,

⁷⁰ Гер. Плеттенберг в 1503 году издал, для удержания роскоши, указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий; по это осталось без действия. (прим. автора)

⁷¹ Seine Durchlaucht. Его светлость, его прозрачность — немецкий титул. (прим. автора)

не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.

Хвост разом осаженного коня лег на землю, по рыцарь не шевельнулся в седле, только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводьями, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотой насечкою. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвешиваемой его ногами.

— Какой статный мужчина! — сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец! — воскликнул ее брат, — во всех статях, — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец — хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы, — с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь, — смеючись отвечал фон Клокен. — Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац! — отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копьё, низко-низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что мундштук звукнул о мундштук...

— Что это значит? — с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, — насмешливо отвечал неизвестный, — то брошенная перчатка значит вызов на бой.

— Рыцарь, я уже давно эту указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремяна!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьём своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвостун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов! Поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец! — вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копьё в перчатку противника. — И также воткну на копьё твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... Поклонись в последний раз петуху на олаевской колокольне, — вы уж больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвета кровь,двигающая этот дерзкий язык!

— Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца, — говорили рыцари, разъезжаясь.

И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копьё, и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьём. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос

гривы его коня не шевелится...

Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два, и копьев как не было, но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завяли платками в одобрение Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины: они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы. — Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадьёю.

— Едва ли это неправда, — примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копья Унгернова, — прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь, — сказал третий.

— Распечатай его наличник! — кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты, — так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями, устремились рыцари навстречу: один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились, и Унгерн пал.

Разгорячен, прыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн, кто победитель?

— Судьба, — отвечал тот едва внятно.

— И смерть, если ты не сознаешься; кто победил тебя?

— Ты, ты! — отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней, или через минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных, то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.

— Слава великодушному, награда и честь победителю! — раздалось в громе рукоплесканий. — Ему, ему награду! — восклицали все.

— Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок! — решили судьи турнира, и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты; поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь, — сказал гермейстер Бруггеней, стоя, — ты, оказал свою силу, свое искусство и великодушие; покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которую не могу воспользоваться.

Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин! — сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским. — Неужели откажетесь вы ответить на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет! — говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем, — он колебался. — Минна! — воскликнул он наконец, хватая кубок, — да будет!.. Я

выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здоровье и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял налечник...

VI

*Не встанешь ты из векового праха,
Ты не блеснешь под знаменем креста.
Тяжелый меч наследников Рорбаха,
Ливонии прекрасной красота.*

Н. Языков⁷²

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет пятнадцать спустя после введения лютеранской веры.

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттепберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новгородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами, от чистой души, уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унижить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии, льстимые легкостию стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностью, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы бы уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество Черноголовых (Schwarzen-Haupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, — но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие. На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет, то будет, а будет то, что бог даст.

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин! — воскликнула Минна.

— Купец! — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.

⁷² Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Schwert-Briider). (прим. автора)

— Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает мести! — раздавалось отовсюду, и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.

— Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца! — кричали рыцари. — Он не наш.

— Он будет наш! — возражали шварценгейптеры, стесняясь в кружок около бесчувственного Эдвина. — Мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст? Кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? — шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки!.. Храбрость ваша качается на весовой стрелке, а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

— Аршинники, разбойники! — летело навстречу друг другу, и обе стороны дышали боем, когда венденский фогт фон Дельви́г вскочил на перила и громовым голосом говорил:

— Дворяне и рыцари! вот следствие пашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата и преимуществ Ордена, не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет, — загремели дворяне и рыцари, и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копыя в турнире.

— Так мы сломим их в битве! — зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А! коли так, бейте черноголовых! — закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых! — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам и бой завязался.

Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех, ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира, — никто не слушал, никто не замечал его. Наконец усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнейшему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнью за эту игрушку.

Эдвин все еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая на Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержат слова, чтобы поддержать имя. Коротко сказать, Эдвин очень высоко задумал; я вовек не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.
— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.
— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.
— Хоть весь он рассыпся червонцами, — я не соглашусь раздвоить⁷³ свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном, неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров! — гордо возразили старшины сего сословия. — Он заслужил это достоинство храбростию.

— Слышите ли?... — сказал доктор. — Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка, — вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, — он оживает, мой Эдвин оживает. Простите, — продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами, — я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.

Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустила на плечо отца.

Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы, хотел поцелуем призвать в нее жизнь, и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице.

Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее:

— Он богат, прекрасен, командор и храбр; это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишитесь счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку.

Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьём в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац? — спросил Буртнек.

— На турнир, — отвечал тот, протирая глаза.

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу, — с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу, — неужели с фрейлейн Минною?... Не сон ли это?

— Дай бог не просыпаться от такого счастливого сна!

Шумно промчался поезд мимо, — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.

Изменник*

*...Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.*

⁷³ Ecarteler — геральдическое выражение. (прим. автора)

I

«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоём? Какая ледяная душа не растает от вейня твоего воздуха?»

Так думал Владимир Ситцкий, с грустной радостью озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обитателей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотой природы, чувствами давно забытыми и новыми.

Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамках своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обитателей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремленьем тысячи ручьев, сбегających в озеро.

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которую часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее, — и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:

— Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег⁷⁵. Пусть же берега твои сохраняют меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар!⁷⁶

Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы и сердечное добро пожаловать ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами под крылом родимого, неба, и сон рососою упал на утомленные члены путника — сон, какого давно не знала кипучая душа его,

II

Лениво подымались, утренние туманы с тихого Трубежа⁷⁷, и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.

⁷⁴ ...Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромозди еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятью, чем это. Шекспир (англ.).

⁷⁵ Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно. (прим. автора)

⁷⁶ Жители Переславля, большею частью рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера. (прим. автора)

⁷⁷ На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский. (прим. автора)

— Это бревно никуда не годится, — сказал он плотнику, — в нем сгнила сердцевина.

— Так-то и с нашею Русью, Петрович, — отвечал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец, — Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господу неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было.

— Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дожждаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.

— Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.

— Зато много грабленного золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.

— Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.

— Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице⁷⁸.

— Кто же здесь останется воеводой?

— Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого... Ему, кажись, на роду написано повелевать, — что твой орел, когда взглянет!

— Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью — всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.

— Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота.

— Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у гибели от самозванных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?

— Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?

— Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михаилом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михаила оставили у нас засадным воеводою!

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом

⁷⁸ Воевода переславский Иван Васильевич Волынский был с своею дружиною для помощи Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр.-Серг. лавры, стр. 221. (прим. автора)

душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.

Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенного загадкой.

III

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блесках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо все и мертвенно, будто природа в тоске перед грозой.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушение на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниєю колдун, когда он с помощью ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков наворачивались холодные слезы от ужаса, на посиделках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыне околицы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.

И вот уже проник он до поляны, венчающей холм; уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всенощной. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи... Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... Но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя — а мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильнее прежнего.

— Нет, не мне ворочаться! — вскричал Владимир, ступая на поляну. — Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?

При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

— Пора, — сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды

обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призывание злого духа. — Явись мне, искушитель рода человеческого, — восклицал он, — стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой;⁷⁹ я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!

Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; по ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей... Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; по вот двоится огонь — и щелканье зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.

— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!

В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

IV

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и, при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском долмане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.

— Безумец ты, Владимир, — говорил он ему сквозь смех, — неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь, — ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?

— Так, Хворостинин, — я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.

— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели.

— Кто противостанет мне? Что меня остановит?

⁷⁹ Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа. (прим. автора)

— Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороху — и ты прах.

— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня...

— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись, — и когда я выходил из Переславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?

— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурей! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниєю; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша⁸⁰ перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом...

— Нет, я хочу умереть здесь...

— Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю?

Владимир не слышал его.

— Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться в некоторое времечко, и это время теперь: отчины твои промотаны, твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нашёл. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? Каких еще обид доискиваться? Ситцкий, я тянул с тобой одну лямку и чарку; я знаю, я ценю тебя; я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хваленое беспристрастие! Да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла, презрела тебя, — чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в пятидесяти верстах, под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первоучинка дружить с *panami dobrodziejami*⁸¹, и Лисовский примет тебя — чуб до земли... и через два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь — и песни красных девушек. Князь, решайся!

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи.

— Злодей! — наконец вскричал он, — ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!

— Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы, не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? А ведь на людях и смерть красна.

⁸⁰ Так называют в просторечии одержимых бесом. (прим. автора)

⁸¹ Пань-добродетели (польск.)

— Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!

— Потомки если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами; а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? Одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: «За матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

— Нет, нет!

— Нет?.. Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя, — я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится измены; который все хочет и ничего не смеет!.. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать поддержать твою стремя; грызи украдкою, как мышь, каблук презирающих тебя врагов; ступай на вести к своему меньшому брату, жди подачи с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай молодых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями; считай чужие поцелуи, нянчи будущих детей братниных...

— Этого я не стерплю никогда!..

— Ты не стерпишь? И, брат Владимир, — терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий, спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячья сердца в грудях орлиных...

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. Взошло солнце, и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облегал уже Переяславль, уже отбил вылазку Михаила Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли; но облако дыма и пыли несло еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих; но как они не слишком боялись недалюнострельных орудий города, то очень близко притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседывают коней, иные вываживают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие отирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Трещат, разгораются огоньки и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели; вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселится после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам, для добычи и славы, привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панами на разбой и на убой, бесстрашно сидят или спят вокруг огней. Наконец изменники русские; иные из привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно выделялись в стане. Инде ходил часовой с заржавленным бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом скакуне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копые, завешивает из бурки, сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который

нежится на медвежьей полости, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинуто на грязной соломе. Все это было странно и дико, но все кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним двое изменников, Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое, загорелое лицо показывали в Лисовском обстрелянного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова Хворостинин уже спал беспробудно, утомленный сечью и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

— Пей, товарищ, пей, — говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы. — Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благовоною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ! пей, оно и твою утолит!

— Нет, Лисовский, нет. Злодейка тоска всплывает наверх, и вино подливает пламень в кровь, и без того кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Димитрия. Я видел вблизи их обоих, — и верь: оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом и... есть неизлечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!

Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души.

Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; соучастие отозвалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле; они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенны; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами, — и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят, и с ревом, неодоленные оба, сливают волны свои, и несутся одною дорогой.

Молча подал Лисовский руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

— Лисовский, — сказал тогда Владимир, — вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих, — я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбью! Наружность винит меня более, чем обвинит признание, и ты можешь понять меня! Слушай!

Здесь повела меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, и гром, и кровь, и пламя кругом меня. Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев⁸² и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненый, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неутолимые страсти. Отца я не помню, — он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшого брата. Как буря по степи пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки; моею забавою было то, что и самых юношей пугало: бешеные кони,

⁸² Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. См. «Ист. гос. Росс», том IX, стр. 315. (прим. автора)

звериная ловля, и мрак ночей, и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями, и мое первое презрение было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды к двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела передо мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня, — но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозренье, зеркальные лица и ничем не подвижные сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба⁸³, которые не могут жить без низостей, ни к чему не нужных! С каждым днем опостывал мне двор... Я вырывался из душных палат кремлевских, чтоб подышать отзывным мне ветром и бурею, чтобы выместить на зверях, свою ненависть к людям. Однако ж, по какой-то пагубной привычке, я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному, — и, наконец, труба мятежа пробудила ее. Как ворон, встрепенулся я, услышав кровь, и радостно полетел к Новгороду-Северскому⁸⁴. С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мне целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал тою жизнью, что отнимал у других, — но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы.

Ты знаешь, это длилось недолго; наши московские сидни признали Дмитрия, и я со вздохом опустил меч и, увлеченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нанять царских соколов, чтобы заполевать, при случае, воеводство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него возвыситься. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесков на платье, венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее; я уже был накануне исполнения моих желаний, — но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой, — но как? Подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновение и наводит на него громовую стрелу!

Въезжая сюда, я как будто вновь народился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятежное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь все было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой и... признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой; неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало как переполненная сладким напитком чаша, любовь к ней проливалась на все меня окружающее. Я узнал тогда радость доброты и потребность дружества; весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои! Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг за ласки! Три года протекли как одно майское утро; она росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву и славу и

⁸³ Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны. (прим. автора)

⁸⁴ Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, покуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604, в ноябре). (прим. автора)

поляков и русских. Димитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... И это было настоящее изображение его царствования: гром и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь... Но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарованный ею, и как прелестна тогда была она! Как искренна была со мною!.. С какою нежною заботливостию спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостию веселилась, когда я был весел. Лисовский! трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... Да... я не знаю середины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие, но она снедает ржавчиною булат моей сабли, — и, как эта персидская сабля, долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновенье настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он таился, по уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце, — да и какое женское сердце не выбирает друга по себе?.. Оно бессильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и не понятной душе! Только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть счастье жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волынский удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волынский воспротивился. Все было готово... Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая, и ей в приданое — воеводство... И в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютей зверь, тогда вспрыгалось мое сердце; не знаю, как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Люди, ад, все изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду я... У меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любви. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого: Елена, живая или мертвая, будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия; смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... Слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое! «Источу из тебя кровь, — отвечал я ему, — чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут; пеплом пожара посыплю главу Переславля, который меня отвергнул, — и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!..»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспаленная гневом... Волнение уходилось, и предрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест шагов; кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!..» — и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремится изумленные взоры на пришельца; перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимает он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» Это — Елена!

— Не дивись, Владимир, — говорила она, — что, откинув девичью робость и

стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей неожиданною переменою; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на все, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души. Так, Владимир!.. Я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя, — но будь же достоин моей любви и уважения всех — покинь это гнездо отступников; твой пример повлечет за собою тысячи русских изменников, твоя храбрость спасет Переславль, твое раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающегося грешнику, и благословение на земле и спасение в небе — ждут тебя. Брат отдает тебе все, что ты хочешь; я — все, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжался над моими слезами... умилились моими молениями!

— Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир, — я не продаю ни добрых, ни злых дел моих; ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня, — идем!..

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загремел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его.

— Пора, Ситцкий, пора! — говорил он. — Заря занимается, и все готово: ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... Огонь в стены — и город наш!

— Неужели это был сон?! — вскричал, озираясь, обманутый мечтою Владимир. — Сон, злобный сон! Так-то все доброе, все прекрасное в свете — один рассказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! Горе осажденным!

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя; но роковое пали! с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою, небо вспыхнуло, и град смерти, свистя, запрыгал между рядами. «Скорей, скорей, — раздалось отовсюду, — сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по набросанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали, ядра пронизывали ряды наступающих, и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась.

— Вперед, за мной! — воскликнул Владимир и, надвинув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех, с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице... Отряхая с себя камни и стрелы, уже схватясь за зубец, ступил он на стену,

— Стой! — загремело ему в слух. Пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся он грудь к груди, — и что ж? Над ним сверкала сабля Михайлова. Ужасное мгновение! Бледным от ярости, мелькнули им взоры друг друга, и смеркло все... Невольный трепет проник обоих. «Он изменник» — была первая мысль; но «он твой брат» — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. «Это враг мой», — мелькнуло в голове Владимира, — и пистолетный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

«Измена! Победа!» — раздалось от Трубежа, и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорогую испанскую кольчугу. Между тем целый день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Исхлыпавшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей, — говорила она, — ты пожертвовал всем своей прихоти, — и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? Это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не

сгибнет память предателя, заклеянная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче, — и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и прекратились... Тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

— Это он, — сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего, — это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? Он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его.

— Уважал! Можно ли уважать изменника! Если почитать людей за одну отвагу, так поэтому все равно умирать на виселице с разбойником! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!

— Стащим с него долой контуш, — он позорит польское платье!

— Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью.

— О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... А тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она или ее утопили — это неизвестно; но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... Да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело. Завидна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!

Как голос трубы Страшного суда, пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью, — и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... С этим взором выкатился свет из очей изменника.

Кровь за кровь

В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице увидел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и наконец над оврагом ручья развалины замка. Все это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам все, что узнал, как следует ниже.

А. Бестужев

* * *

Этому уж очень давно, стоял здесь замок по имени Эйзен, то есть железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дometнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны этот провал служил ему вместо рва, а с другой — тысячи бедных эстонцев целые воспожинки рыли копань кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили замок, что к нему ни с какой стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах, дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода; тридцать задвижек с замками запирали их, а уж сколько усачей сторожило там — и толковать нечего. На всяком зубце по железной тычинке, и даже в желобках решетки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттуда. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире?.. Правду сказать, тогдашний мир хуже нынешней войны бывал. Одной рукой в руку, а другой в щеку-да и пошла потеха. А там и прав тот, кому удалось. Однако и рыцари были не промахи. Как строили чужими руками замки, так говорили: это для обороны от чужих, а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то добытом, владел этим замком барон Бруно фон Эйзен. Был он не из смиренных между своей братьи, даром что и те удалством слыли даже за морем.

Бывало, как гаркнет: «На коней, на коней», то все его молодцы взмечутся, как угорелые, и беда тому, кто выедет последним! Коли подпоясал он свой палаш а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора весил, то уж не спрашивай: куда? знай скачи за ним следом, очертя голову. Латы он носил всегда вороненые, как осенняя ночь, и в них заклепан был от каблуков до самого гребня; глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, — и, сказывают, взгляд его был так свиреп и пронзителен, что убивал на лету ласточек, а коли слышит проезжий его свист на дороге — так за версту сворачивай в сторону, будь хоть епископ, хоть брат магистру. Врагов тогда, бывало, не искать стать, выезжай только за ворота: соседей много, а причин задрать их в ссору еще более. Притом же Нарва в тридцати верстах, а за ней и русское поле... как не взманит оно сердце молодецкое добычей? ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою... так и кинется он к границам русским — ему не нужно ни мосту, ни броду. Прискакал к утесу — а река рвет и ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? «За мной, ребята!» — и бух в воду первый. Кто выплыл — хорошо. Потонул — туда и дорога! Скажет только, бывало, отряхавшись: «Скотина!» — и помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться. Конь служил под ним заморский, мастью вороной — что твоя смоль. В скачке с него зайцев захлопывали. В погоне река — не река, забор — не забор, а в деле — словно сам черт под седлом: и ржет и пашет, зубами ест и подковами бьет. Зато барон любил и холил этого коня: счетным зерном из полы кормил, из своего кубка медом потчевал, и коли надо, случалось, коню сослужить службу трудную, так отскачет полдороги — да фляжку вина ему в глотку. Прочхнется тот, встрепетнется и опять летит, инда искры с подков сыплют. Ну вот и заедет он далеко в Русь... врасплох... завидел деревню — подавай огня. Вспыхнуло — кидай туда все, что увезти нельзя. Кто противится — резать, кто кричит — того в пламя. Позабывшись, и даром, правду сказать, порубливали встречного и поперечного, ну да это чтоб не разучиться или поучиться, говорил он. Натешась, разгромив, навьючив коней добычей, насажав на седла красавиц и сосворив к стремени пленников, выходили они околицами восвояси... и тут-то уж по дележе начиналась гульба и пиროванье. Хоть в пятницу — праздник, и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море, и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку, да он огрызался себе, как волк, и цел и невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблизи к его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были — оно и статочное дело — барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господень гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны, между тем как удары палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона — разгульная жизнь и охота к добыче, как магнитом, тянула бродяг к нему в службу. Обокрал ли, прогневил какой слуга или оруженосец соседа рыцаря — сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее, зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды! Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся: каждый сорвиголова. В огонь и в воду готовы на голос Бруно... так и смотрят в глаза ему — лишь мигнул и все вверх дном полетело. В буянстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкою, и двенадцать киевских ведьм вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз набекрень, разгуливали они по хижинам эстонцев, поколачивали их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем Бог послал.

Теперь стали экономничать лифляндские помещики, запирают счетный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину, сами знаете, то ли было? Круглый год масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду, и без Helige Nacht (Рождество Христово) телята и бараны на четырех ногах ходили по столу и умильно подставляли охотникам свои котлеты.

Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе, а травкой-муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что основательных напитков тогда не жалели, а как пили они — так вы, право, подумали бы, что у них муравленая утроба! Ведро пива на ухо — и ни в глазе. Вот подохнет, бывало, барон с соседями да и расходится индюком... я ли не я ль? По плечу себе никого не приберет, он-то всех храбрее, он-то всех благороднее! А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору да в брань, а там долго ли до железа! Кончится, бывало, тем, что гость приедет верхом, а вынесут его на носилках; еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало: разгневался на соседа — на коня со своей дворней и псарней, и пошел топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси Боже повстречать его в такой черный час. Завидел эстонца и скачет к нему с поднятым тесачищем. Читай «Верую во Единого», бездельник! а тот и обомлеет на коленях, ведь по-немецки ни слова. «Эймошта!» («Не понимаю!») Читай, говорю!.. «Эймошта...» А, так ты упрям в своем язычестве, животное!.. Я же тебя окрещу! бац! — и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, а барон с хохотом скакал далее, проговоря «Absolvo le!», т. е. разрешаю тебя. Затем, что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасти душу. Таково было чужим, — каково же своим-то было? Понравился конь у крестьянина: «Пергала! меняй свою лошадь на мою кривую собачку!» — «Батюшка барин, мое ли дело охотиться — а без коня куда я гожусь!» — «На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью». Зальется бедняга горячими, да и пойдет в холодную избу — за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать не велят. Коротко сказать, Бруно в угнетенье не отставал от своих сотоварищей, за исключением только члена: «Не пожелай... осла ближнего твоего», затем, что полезных этих животных тогда в Эстляндии не водилось. Однако ж и на него находили часы, не скажу Божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди — весьма не утешно; как ни любил он шум и разбой — а все-таки скука садилась с ним в седло и на стул незваная; и как бес в рукомоинике — выглядывала с доньшка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям. Вот уже стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду — черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с стопой своей и допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женись, барон, авось это порассеет тебя; притом же наследники... ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет... да кстати, чем далеко искать — лучше взять готовую невесту моего племянника; она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может, она меня не zalюбит, да кто об этом беспокоится. Какое мне дело, любят ли меня рыбы или нет — да я люблю их есть. А племянник не велика птица в перьях... пускай порастет до свадьбы! Надобно вам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом... кажись, не умом, потому что поручил сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно расправлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регинальда помыкал вовсе не по-родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали, как на ладони, все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был статный и красивый, ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай Бог памяти, — кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу, даром что не мылась биркезом и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины... Сердце сердцу весть подает... они слюбились. Партия была хоть куда... и Бруно не прочь — и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела... Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить.

Через три дни пути Регинальд с двумя трубачами стоял уже у подъемного моста у замка рыцаря Бока и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей В замке

все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету. Матушка насурмила вместо бровей губы, и я за верное слышал, что сама Луиза, как ни хотела казаться равнодушною однако встретила гостя в разных чеботах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик — она испугала бы их менее... Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маюкону и что сравнение мое некстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха, матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде, Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори — а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жалуют больно другое... Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом-разумом. Шутить с Бруно плохо... Хотя-нехотя, ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось, да зачем, вправду, их баловать? какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю, отчего — только вино это показалось свату настояно перцем, матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. — Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть. Через две недели была и свадьба. Гостей съехалась тьма-тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни — так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить, хлеб, соль не купленные. Особенно у барона лавливались в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесиках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавль, и побрякивал очень гордо — зато бедная Луиза, бледная, как фламское полотно была ни жива ни мертва и сказала (За так невнятно, так невольно, что оно девяносто шести нет стоило. Между тем кой-кто из гостей, особенно дамы, в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах, из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. «Муж не бобер, — сказала одна баронесса своей соседке, — проседей только меху цены придает». — «Морщины такие борозды, на которых всходят плохие растения», — прибавил какой-то забавник. «Поглядим, — рассуждали иные, — голубка ли выключет глаза этому старому ворону, или он оциплет ей перушки!» Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости попиروвали до бела утра. Морожевки, рябиновки, настойки из полыни, зари, и прочих невинных трав лились, а заморских вин — пей не хочу. Утро застало пиروвавших или за столом, или под столом, и, к крайнему сожалению любителей прежних обычаев, пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбиво. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они — в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса в первый раз без отца, без матери сидела, прижавшись в уголке, как сироточка, и сердце щемило у ней, — а ведь это не к добру!.. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа — и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком, посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари, бывало, плачет бедняжка тихомолком, так что изголовье хоть выжми — и не один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине... — Куды! упаси Боже! как затопает, да закричит: «Твоя родина — спальня. Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значат слезы, которыми ты, как блестками, унизываешь шитье свое? Почему, лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось на племянника моего ты очень умильно глазеешь! Черт меня возьми, тут что-то недаром... я уверен, что вы

вспомнили прошлое. Но помни и то Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку с венгерским, чтобы не испортилась!»

Не нами выдуманно, что неправое подозрение вечно вводит в искушение. Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром — сем-ка я заслужу это — ведь терять-то уж нечего. Притом не утешно и отомстить за обиду» Вот так или почти так случилось с Луизой, так и с племянником барона. Им стало досадно сперва за напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. Притом же она не любила мужа, он не уважал-дядю — стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, оттого только, то вместе. Чуть только можно — он сидит при ней, говорит сладкие речи и смотрит в глаза так нежно, что будь каменное сердце — расступится. То рассыпается мелким бесом в услугах, то веселит ее рассказами... а сам изныл, истаял от грусти, как свеча. Мудрено ли ж, что с каждым днем Регинальд становится Луизе милее; с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она виноватее. Надоело и барону нянчиться с женою. Бывало, ни свет, ни заря — отправляется он на грабеж, или в набег, или в отъездное поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами... Какое ж сравнение с Регинальдом! с добрым, с благородным Регинальдом! Впрочем, сохрани меня Боже заступаться за них: во всяком случае их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде — грех великий. Конечно, страсти дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей Регинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному, чтобы не отослал его дядя прочь — принужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани перекопать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел. — Минул год. Случились у барона гости. После обеда все навеселе вышли пострелять из лука в зверинец. Правду истинну сказать, это важное имя дано было загородке из одного баронского хвастовства. Им бы лишь было имя, а как? — того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая потому только разве могла назваться дикою, что пастушьих собак дичилась; да лошадь, состоящую за старостию на подножном пансионе, в свободное время от водовозни, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы, — а что ни самый огромный подали барону. Он его любимый был... Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними подсмеивается. Дошла очередь и до Регинальда. Он уперся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву вверх — так только слышно динь, динь... все ахнули, и тетива на крючке: словно взводил он детскую игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которою он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более. — Это одна сноровка, — сказал он презрительно. — А вот, господин дамский угодник, если ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками — так будь молодец: попади в мельника, который работает на плотине ручья. — Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю, — отвечал с негодованием племянник. — Но я не палач, чтобы убивать своих! — Гм! своих! По низким твоим чувствам я, право, скоро поверю, что ты свой этим животным!.. Убить мельника. Ха, ха, ха, экая важность: не прикажешь ли потереть виски?.. тебе, кажется, дурно от этой мысли становится? Тебе бы не кровь — а все розовое масло! У тебя любимое знамя — женская косынка! — Барон Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости, — то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле — и к стыду моему не пролил ли невинную кровь русскую в набегах? — Не отставал... велика заслуга! Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут. Подай сюда самострел мой — да сиди за печкой с веретенком... погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердце подлых людей. Он с остервенением вырвал лук из рук Регинальда, приложился — несчастный мельник рухнул в воду. — Славно, славно попал! — закричали рыцари, хлопая в ладоши, но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости. — Я бы застрелил тебя, наглый хвастун, проклятый душегубец, — сказал он барону, — если б это предвидел, — но ты не избежишь казни! — Молчи, мальчишка...

или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот... прочь, или я как последнего конюха высеку тебя путлищами. Регинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую держал он... если б его не схватили и не связали. — Киньте его в подвал! — зарычал Бруно, беснуясь... — Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам — до посадить его на пищу святого Антония!

Несчастливого потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него претерпела, но что случилось с ним? не ведал никто, и скоро все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковину.

«Вот, судари мои, не через долгое после того время, будучи Бруно на охоте, получает весточку от своих головорезов, которые, словно таксы трюфелей», — так они искали добычу: что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золото для купли. Взманило это старого грешника. «Готовьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров, — закричал он. — Я сейчас буду». Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз ссорился с патером в Везенштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, отчего и спать ночью без свету не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит по подполью, а ему все кажется, что кто-то гремит латами... вскочит спросонья и вопит на тень свою: кто там, кто тут? У кого совесть накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо искать утешенья не в молитве, а в гаданье. С этим намереньем пришпорил Бруно вороного и по заглохшей траве помчался в лес дремучий Густел лес... вечер темнел... ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец очутился он перед избушкой, как говорится, на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. — Стук, стук! «Отопри-ка, бабушка!» Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадалыщица. Кошачий взгляд, волосы всклокоченные и по пояс. На полосатом платье навешанные побрякушки, бляхи и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно было разобрать ее голос от скрыла двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, собирала змей на переключку, знала всю подноготную, что с кем сбудется, а прошлое было у ней, как — в кармане. Рассерди-ка ее кто!.. так запоешь курицей, по-петушьему или набегаешься полосатой чушкой. — Кого занес ко мне буйный ветер? — сказала она, продирая глаза, задымленные лучиною. — Не ветер, а конь завез меня, — отвечал барон, влезая сгорбившись в хижину, каких и теперь для образчика осталось не менее прежнего. Солнечные лучи встречались в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копченые. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу складена была без смазки каменка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец вместо всех мебели в углу лежала рогожка, а у печки лопата: может быть, воздушный ее экипаж-в звании труболетной ведьмы. — Погадай мне старая карга, — закричал барон старухе. — Брысь! брысь! К нему в это время прыг на шею черная кошка, да и царап лапою за усы. Барон вздрогнул нехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затрещали искры, так что по руке у него мурашки забегали. — Знаю, о чем хочешь ты ворожить, — сказала с злобной усмешкою колдунья... — Ты получил весть о добыче, когда гнал по лисе, — теперь хочешь сам сыграть лисицу на море!.. ведаю, что было, угадаю, что будет... но в последний раз, в последний раз, Бруно!

Барона кинуло в пот и в холод, когда он услышал эти подробности... «В ней сам черт сидит», — подумал он. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго нашептывала, уставив на воду страшные свои очи, — вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла, и вещунья слово за слово, вся дрожа, будто не своим голосом, говорила: — Рыцарь Бруно, твой поход будет успешен — спеш, не медли... ты приложишь новые добычи, новые грехи к прежним... светел твой нагрудник... гладок он... — Я думаю, что гладок, — ворчал про себя Бруно, — на нем кованая муха не удержится. — Я вижу на нем кровь... — продолжала старуха. — Не бойся, он не промокнет. — Нет он проржавеет... — А на что ж у меня оруженосец? Пусть-ка он не вычистит моих лат, так я ему вылощу спину. Скажи-ка мне

лучше, бабушка, ворочусь ли я домой? — Домой? да, ты возвратишься туда, откуда отправишься... и потом ляжешь спать под крестом, в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол?... это похороны, это свадьба... Слышишь ли поют «Со святыми упокой» и «Ликуй!» Мороз подрал по коже рыцаря... он робко оглянулся, прислушался — но ничего не слышал, кроме мяуканья черной кошки. — Вот тебе шиллинг, — сказал он, бросаясь вон, — но колдунья оттолкнула его рукою... — Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься. Ступай: конь и судьба ждут тебя за порогом. Бруно поскакал, не оглядываясь. «Она рехнулась, — думал он... — Впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духову дню — так и по давню в головах, будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Тфу пропасть! Мало ли у меня знакомых!»

Наутро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье.

Долго ли, коротко ли, далеко или близко воевал барон — не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к замку, в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот я и воротился удачно, — говорил Бруно своему оруженосцу. — Роберт, снеси же эти 10 шиллингов старой колдунье и скажи, что в ее вздорном предвещанье было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру-поздорову весел, как именинник». Очень видно, однако ж, было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщин, у того поневоле забьется ретивое, подходя к порогу... каких вестей, каких гостей там не найдешь!! Так и у барона защемило сердце недаром — не успел он пройти по берегу десяти шагов — глядь...

Признаюсь, господа, что тут он увидел — так вскипятило бы кровь и у самого хладнокровного мужа... барон видит: жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Обуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим. «Как? тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть, — теперь перед ним в полном вооружении? Этот смиренный целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы при мужчинах... кровь и ад!.. нет это не сон, не дьявольское наважденье!» Затапал он ногами, заревел — и если б не бряканье лат его, то, верно бы, любовники кончили жизнь на этом поцелуе. Да нет. Регинальд успел вскочить и принял меч на свой меч: схватились рубиться-искры запрыгали... удар в голову — и оглушенный Бруно, как сноп, свалился на траву. — Теперь ты в моих руках, злодей, — говорил Регинальд, привязывая его к дереву... — пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я хочу напиться твоею, из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня имения и воли, помыкал родного, как служку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довел до того, что я сгубил свой покой и чистоту совести... Ты уничтожил злодейски все, что для души дорого на земле и лестно на небе... Ты бросил меня на голодную смерть... Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд Божий поединком мне воспрещен был с дядею. Но Бог велик — ты пал — ты погибнешь!

Надо было видеть тогда барона: ниже травы, тише воды сделался: откуда взялись слезы; откуда молитвам выучился!.. зачал небось причитать Лазаря. Оно, правду сказать, смерть не свой брат, особенно коли застанет врасплох черную душонку. — Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние! отдам все, что ты хочешь, сделаю все, что велишь, стану держать твоё стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволение жениться на Луизе. Пресвятая Бригитта! Я отдам в Ревельский храм твой пол первой добычи, выстрою в твоё имя монастырь с зимней и летней церковью! Пойду сам в монахи, надену власяницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленное. Луиза, у тебя доброе сердце, я испытал это, я виновен перед тобой... уговори, упроси, умоли Регинальда, пусть он даст мне пожить, хоть еще годок, хоть месяц, хоть час! — Ни пяти минут, — отвечал племянник, взводя лук... — Имя Бога, злодей, которого ты призывал всегда всуе, чтобы угнетать бедных или

увертываться от сильных, теперь не спасет тебя... Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит! Но в это время жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку... — Не убивай, — закричала она пронзительно, — он злодей, но он мой муж, но он твой кровный. — Ты не знаешь, чего просишь, Луиза, — отвечал на эти речи Регинальд ласково. — Коли он жив — то нам не жить: это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми? Он разорвал родство... какой же присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь быть меня на колесе, умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть живая на малом огне... то скажи слово, и он жив!

Такая картина ужаснула Луизу... Женский ум слаб — он видит только то, что перед глазами... она отвернулась, махнула рукой... лук взвыл... стрела угодила в сердце, тут и дух вон... только кровь его брызнула на жену и племянника.

Бруно погиб — и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? Регинальд был малый благородный, добрый — зачем же он ходил с дядей на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно, да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно. И в самосуде — одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни! Какая же в том заслуга? есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... да и кровь родного — право, не шутка!

Скоро спроведали в замке, что Бруно убили, а кто? за что?.. Бог весть. Долго не верилось этому... наконец увидели — и радость пошла ходить по окрестности... Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о Святой. Вот стали поговаривать об убийце... хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, кто сплавил его на тот свет. Все подозренья, впрочем, упали на Роберта, оруженосца баронова, который вышел с ним из лады глаз на глаз — и потом исчез — ни слуху ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Регинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, потчевал всех очень усердно — то скоро все и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он — поставили каменный крест, и в замке до назначенья магистра остался хозяином Регинальд.

Коротка память у женского сердца, их слезы — роса: так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва Луиза то и знай что рыдала; потом стала она молиться. потом рассеивать себя, да разгуливать, под конец ласки и уверенья Регинальда, кстати и свои рассуждения усыпили совсем ее совесть. Глядишь, не прошло полугода, она уже нарядилась в цветное платье, да и сама расцвела розаном. Погодя немного захопотали о свадьбе — разрешение от папы, благодаря золотые поминки, прислано: чего ж медлить? Назвали гостей. Гости съехались, пожимая плечами, но расправляя рты, — вот повезли жениха и невесту в церковь, что стояла недалеко от Эйзена. «Славная парочка», — говорили гости; только славная парочка стояла под венцом, как обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили только, что Луиза все что-то с руки стирала, а жених озирался кругом при каждом скрипе оконниц, которые ходили ходенем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружающих. У всех вытянулись лица... все смолкли, только голос одного патера раздавался и перевторивался под острыми сводами. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилося по полу — две свечи погасли, задутые ветром, — все вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память. Опять тихо, опять гудя смолкли органы... и вдруг почудилось, будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу, уж по крыльцу. «Отвори, отвори!» — загремело за дверью — и отдалось в куполе... все обмерли; никто ни с места!.. взглянули вверх — там несло только облачко с камильницы. «Отвори!» — повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами, — и вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петель и рухнули на пол... воин в вороненых латах, на вороном коне, в белой с крестом мантии, блистая огромным мечом,

ринулся к налою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто... глаза неподвижны... и что ж? В нем все узнали покойника Бруно. Завопил народ от ужаса — и расхлынул; кто упал ниц, кто ударился в бега он в три скачка очутился подле новобрачных. «Кровь за кровь, убийцы!» — прогремел он — и вмиг растоптанный Регинальд захрипел под ногами коня — и, вмиг наклонившись, подхватил мертвец полумертвую Луизу, перекинул ее через луку, поворотил коня, взглянул на всех, как уголь, яркими глазами и стрелой выскакал вон из церкви-лишь огонь струями брызгал из-под копыт по следу Только и видели. Страх всем запечатал уста... крестись, разбежались гости.

Я сказал, что это было октябрьскою ночью. Ветер выл волком в бору, море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя, и мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она, что лежит в лесу на мокрой траве... Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашием рыл яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство... Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника — ахнула и снова без памяти...

Опять очнулась несчастная... открыла очи — но уже ничего не могла видеть — она лежала ничком со связанными руками, она чувствовала, что ее засыпают холодной землею... у ней замерло дыхание... нет голосу крикнуть... В отчаянии едва-едва могла прошептать она: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его»; и вот остановилась ужасная работа. Громкий адский смех раздался над нею. «Смерть за смерть, изменница!» — сказал кто-то, и кровь застыла. Еще стон, еще усилие, еще глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, схоронена живая.

Ужасно! И теперь, когда я вздумую о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако Бог знает, что делает, кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине, почитай всегда, хуже Каиновой печати. Луиза казнена жестоко; зато этот пример долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает — из зла.

Наутро явился в замке черный латник-мстителю. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине в свите какого-то немецкого князька и ворочался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица... и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемником всех угодьев и служб покойного; однако его зверство не осталось без наказания. Через десять лет русские орвались в Эстонию, осадили замок и наконец спекли черного рыцаря Бруно. Сожженный дотла замок Эйзен срыли до основания, и борона прошла там, где были стены. Долго, долго после того и давно перед этим набожные люди собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу Бога. Это ее глава мелькает между деревьями.

* * *

Господа, начал я за здоровье, а свел за упокой, но в том не моя вина. И в свете часто из шуточки выходят дела важные.

Испытание*

Посвящается Ардалиону Михайловичу Андрееву

I

...В благовонном дыме трубок.

*Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертная заря!*

Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры *ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искрения их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом, — все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу; восклицания и вздохи и табачные пuffs становились реже и реже, по мере того как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, истрелянных пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще сидя: что красивее, троерядный или пятирядный ментик? Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невских; я заехал сюда на минуту; поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю, с бокалом шампанского, и дружески сжимая его руку. — Сто лет!

— Милости просим на погребенье, — отвечал, усмехаясь, Гремин, — и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет! это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов! Ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтоб быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и

тебе, храбрый ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да покоится же твое туловище, куда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верного конца в преисподнюю подстоля!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из «Фрейпшца»; а теперь одна аппликатура V.C.P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки Стрепетов, круживший головы дам неумоимостью ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости; ты вечно был в разладе с музыкою, — зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолюбец Пятачков! хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов! Что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать? И, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра, — да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись. — Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господу могли все слышать.

— Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцового монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы между Друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург, немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга. Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин. — Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума молодежь на бале у французского посланника, три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь, — вспыхнув, отвечал Стрелинский, — она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностию, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем?

— По несчастию, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. По между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял, — и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота.

— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas;⁸⁵ разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное неуменье жить в свете!

⁸⁵ Дорогой Николай (фр.)

— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле — все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои брендсугельные послания? Ветер — плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти; мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетиллов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, они привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Валериан! я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок, — одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силком другу и подруге, с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтоб влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!

— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком!

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай...

— Все обдуманно и передумано; я неотменно хочу этого, а ты, несомненно, это можешь. В подобных делах друг твой — настоящий новгородец: прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да! Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как

очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство; уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елясейские?

— Ничего не знаю. Репетиллов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Bravo, bravo, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня, — за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Пстой, пстой, ветреник! Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же!

— А если забуду, то, наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила как ангел, пишут мне родственники.

Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развели. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить когда вздумается; но ощипанный петух мог ли бы стать человеком или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от мыса Доброй Надежды до залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста в Париже и от моего до Чукотского носа? Пусться в определения, я не остановлюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мыслью — следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю — следственно, думаю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства наскучивают, кочевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно оно бьется, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur a perte de vue!*⁸⁶ Мечты — это животное-растение, взбегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу, — думал он, нахмурясь, — есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла, спросонков. — Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтоб повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос для кого? перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое! Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука! Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника,

⁸⁶ Это счастье необозримое! (фр.)

хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами,

«Стрелинский проведет недели две в Москве, — думал он, — и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливецом, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге. к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуск.

II

If I have any fault, it is digression.

Byron⁸⁷

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в Финской Пальмире нашей, в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь Московскую заставу в самый рождественский сочельник, и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «Пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа! Сенная площадь, думал Стрелинский, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра, и на камчатных скатертях вельможи и на обнаженном столе простолюдина и покупателей их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ощипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем. Целые племена свиной всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них, на запятках, совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любуясь своею белизною, говорят нам: «Я разительный пример усовершенствования природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окороки, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, сильнее манит взоры объедал, но это на счет ушей всех

⁸⁷ Если я в чем-нибудь виноват, то только в отступлениях. Байрон (англ.)

прохожих. Здесь простосердечный баран — эта четвероногая идиллия — выражает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внемлют голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая: достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горче, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций, и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица — домоводству, лисица — политике или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынного Галерной гавани, или Коломны, или Прядыльной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупателей и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедняка, в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукою утку, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку, расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих; и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простяка крестьянина «знать совесть», сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу и кофейку и волошских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках.

Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «Барин! барин! ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для почину, для вас!» и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед, — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных «Ваньками», на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счета, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостинном дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстухи, модные кольца, часовые цепочки и духи, любуются своими ножками в чулках а jour⁸⁸ и повторяют прыжки французских кадрилией. У дам свои заботы, и заботы важнейшие,

⁸⁸ Ажурные (фр.)

которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины — все заняты, ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун рождества есть детский праздник. На столе, в углу залы, возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum⁸⁹ в полном величии, увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь о надписью кому, и каждому по заслугам. Этот Pour le merite⁹⁰ радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день рождества Христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездой из картона, с разноцветною фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход для христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но увь! — подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только факты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное; но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан только для башмаков. Оно отказалось даже от jeux d'esprit⁹¹, — быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно, слишком простонародно!

«Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицания многих моих читателей. — Вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению».

«В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи!»

«Но скажите по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?»

«Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи».

«Признаюсь, странный способ заставить читать себя».

«У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих».

III

⁸⁹ Рождественская елка (нем.)

⁹⁰ За заслуги (фр.) (пруссский орден)

⁹¹ Остроумие (фр.)

*Вы клятву дали? Эта клятва —
Лишь перелетным ветрам жатва.*

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дня после рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями как метеоры, влекомые четверками, неслись к освещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлином своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы, выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блесками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнетты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах; теснота в зале танцев — и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате Шахматов, ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее — свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, «не уголимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (marriage-hunters) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магической буквою на эполетах, как приветливо протягивала она: ему руку свою, будто говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***; она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна, — думает один, — но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется, — тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалека, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, — старая, но всегда удачная дипломатика, — потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «Маски, маски!» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание, равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам.

Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех Дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского кадрили, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они всё сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его, — я называюсь дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риэго е Колибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадрили восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau cab»⁹² Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними, — они пересияли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попури — и снова получил согласие. Попури и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовую женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими out, Monsieur, certainement, Monsieur⁹³. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попури, а

⁹² Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)

⁹³ Да, сударь, конечно, сударь (фр.)

толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин, — думала она сама с собою, — тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражениями ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графиней, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия, спросил:

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее *memento mori*⁹⁴ — князь Пронский? Он так часто меняет свои покрой, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, доп Алонзо; разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, *pendant*⁹⁵ князя Пронского, летающая воланом со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминам лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон-Жуана на ужин!

Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, дон Алонзо е Фуэнтес е Калибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня, — отвечал с чувством испанец, устремля на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петербурге и на бале, и потому я

⁹⁴ Помни о смерти (лат.)

⁹⁵ Пара (фр.)

дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... Но вы не туда смотрите, дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым *dejeuner dansant*⁹⁶ глотает по полудожине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? *Mais il n'est pas mal, vraiment*⁹⁷. Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: «Любите меня, или смерть!»

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, дон Алонзо! В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня; самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, дон Алонзо! Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

⁹⁶ Завтрак с танцами (фр.)

⁹⁷ Но он, право, недурен (фр.)

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и... — Вихорь вальса умчал графиню на середину, где законы попури заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*⁹⁸, одной из фигур французских кадрилией.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!

— Не более как историк, графиня... беспристрастный историк... — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремину. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую, — отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна: отвечала нет, где надобно было говорить да, и мне очень жаль — вместо я очень рада. «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

IV

*Для нас, от нас, а, право, жаль;
— Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.*

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То,

⁹⁸ Пастушка (фр.)

казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения... И вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!..» — вскрикивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... Какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и... Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом.

Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантазмагорическим теням.

— Он приедет, — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло, — он скоро приедет.

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто?.. — Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. — Увидим! — отвечала она со вздохом. — Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю, — прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением и первое милое личико — любезным предметом, — человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине; ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремину. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как развертывают молодых людей и что любезность Гремину достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна — и холодна как мрамор».

— Однако ж который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они; любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы вернуть словцо очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностью. Крепко забилося сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подложки у крыльца. В ту

же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.

— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня о притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.

— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня; а не нагладелась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у пего волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан, — так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками, — однако ж он, верно, гвардеец... У него такая прекрасная карета...

— Это он, — произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их, — и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, — она неподвижно глядела на незнакомца... Но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гidalго, хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смушение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор! Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и, позвольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы, — но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор, — отвечала графиня, улыбаясь. — Теперь вы бы могли усомниться в истине моего ответа, потому только, что он сказан при первом вашем посещении; я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, не уверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня; будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть в дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте докончить речь вашу, — иногда терпят, кого не ждут, — не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, что вы неисправимы.

— Неисправим, что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — истина, во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я не обвиняя скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. — Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под хладное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворною росой...

Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибрать сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы), то при слове небо, которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило, Валериан слушал так внимательно! А это великое искусство, особенно с женщинами: они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но как бы то ни было, и то и другое — вещи легковозгораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский, — примолвила она, — вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... Мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это, — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине, — кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились, и услужливые киевские жида тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, по теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому,

очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную вашу тетюшку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах, Стрелинский, — где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я уже отозвана за месяц, на ежегодный и единственный бал к княгине Борис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов, — я ей племянник. По крайней мере я должен верить в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожуричь меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского. Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада... Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подружки посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя счастливым, наслаждаясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет, — говорил он сам себе, — я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинною головою к княгине Борис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианой; тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом — слово за слово, взор за взором — мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея: «Графини Звездич карета!» разрушал его упоение и с превыспренных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, — Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою, — Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он *dilettanto*⁹⁹ от султана до шпор, — и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине, при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и,

⁹⁹ Дилетант (ит.)

стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

«L'amour est l'egoïsme a deux»¹⁰⁰, — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти; все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?.

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала Коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской откровенности. Отраднo было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отраднo было согреть сердце ее веселостию, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах! как вы добры!» или: «ах! как вы злы!» — если он то заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронизательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств и непоколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшей заботою Ольги. Она играла для него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед ним, как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок оттого, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь! Как они целые три ночи не

¹⁰⁰ Любовь — это эгоизм вдвоем (фр.)

спали от страха от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», укала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах.

— Впрочем, — прибавляла она, извиняясь, — я была тогда такая кофейная.

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог, — возражал тогда Валериан, лаская ее, — чтобы ты всегда осталась кофейного сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть разгадывая ее мысли, может быть собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер навеял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своей! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви?

— Мир, мир, моя проникательная сестрица! Положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, *mon frere*¹⁰¹, графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницей своих тайн.

— О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет, людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в тайнства своего скрытного брата. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти!! Нет, *mon frere*, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такую простенькою.

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга! — сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело. — С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в Моем ребячестве: я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело, как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю, во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от

¹⁰¹ Брат (фр.)

докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом, — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую лошадь, — не правда ли? Вечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно, — ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые, — верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих.

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? — спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня *ma cousine*¹⁰² и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете: а бывало, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве: я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, *mon frere*? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностию расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями, — зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты, — он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха Четвертого, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину, — думал он, — и мы оба могли быть счастливы; я с Алиной, он с Ольгою. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает; светская женщина вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасюсь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия; вот уже два раза я писал к нему, — и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было, я не уступлю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился»,

VI

Так! я мечтатель, я дитя,

¹⁰² Кузина (фр.)

*Мой замок карты, — но не вы ли
Его построили, шутя,
И, насмехаясь, разорили!*

В книге любви всего милей страница ошибок; но всему своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новой игрушкой, и воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностию, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово, — мыльный дождь нравоучения и град насмешек разражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, по и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово «люблю!» двадцать раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалось, испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом, — как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться, рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, уловив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют медовым, то первый месяц открытой любви, по всем правам, именовать можно нектарным, — это небосклон после грозы; светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение — на каждый шаг в обществе, его добрые мнения — для всех протекших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излиятий душевных Алина рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою; как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарили, я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что

такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я — своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустию, желало чего-то непонятного; это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть как другие довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина потому, что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен; я была от того вне себя, называла это холодностию, укоряла в неблагодарности, в измене и забыла его скорее, чем надеялась. За границею, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье; в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощью книг и разгадывая книги по сердцу; это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере я могла бы теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратись в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лелью и любезностию, но я уже предохранена была от этого чада; я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами, так что я больше чем когда-нибудь почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят; одна — поторопившись выучить привозное, как попугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретилась с тобою, и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина; я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверялась как старому другу; одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. Остальное тебе известно, милый Валериан... И бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен; ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела туш его благополучию, и он, с пылкостию юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской

привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина остановила этот порыв достоверности.

— Не клянись, Валериан, — сказала она с нежностью, — клятва почти всегда неразлучна с изменой, — я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром; мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертал план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и который колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемного головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. — У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведения, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности, но она приходит сама собою; притом, первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал, знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности, — думал он. — Если ж нет? Нет! Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Ледяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, назло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти чрез бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся опи в карету, весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддерживать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah! que c'est amusant»¹⁰³, хоть едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, предуведомив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям лстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина, — сказал он, — я решился оставить службу, для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и

¹⁰³ Ах! как это забавно (фр.)

полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механическою, а быть дипломатом несовместно ли с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих, — тут Валериан развил пред нею подробный чертеж своих замыслов, для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелен будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою и она опустила руку Валериана.

— И это решительно? — спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны, — сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина! я жду приговора. В искреннем ответе твоём моя судьба: могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! Три дня — век для влюбленного!

— Жестокий человек! Деревня — вечность для женщины!

С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини.

VII

Burleigh

Ihr wart es doch, der hinter meinem Rücken

Die Königin nach Fotherinaschloß Zu locken wufite?

Leicester

...Hinter Eurem Rücken?

Wann scheuten meine Taten Eure Stirn?

Schiller. 104

104 **Бэрлей**

Не вы ли за спиной моей сумели
Направить королеву в Фотрингей?

Лестер

За вашею спиною? Да когда же,
Когда в своих делах я укрывался

— Подполковник князь Гремин! — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала *grande-patience* ¹⁰⁵. — Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича; однако ж когда узнали, что вы не выехавши, просили доложиться. — Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте, вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов, внушенных прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графинею Звездич, он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Криспина, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худо понятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей! Не застав дома Валериана, князь, однако же, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами, но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выразительный голос свой звуками фортепиано:

Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!

Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!

Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне,
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?

От вашего лица?

Шиллер (нем.)

¹⁰⁵ Большой пасьянс (фр.)

Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы

Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкой, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттической формой рук, и высоким челом, на коем колебались гроздия русых кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностию; брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой; казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего сердца... И все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремина; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне!»

— Я могу только то сказать вам, сударыня, — сказал Гремин с чувством, — что вы поете как ангел.

Ольга вспрыгнула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала, и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай, — и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно, помочь нам развеселить братца: он два дня сам не свой; печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас, пойдете!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непринужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги: «Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину», — бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина.

— Только тебя не доставало, милый князь, — вскричал он, — чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять вас, господин Стрелинский, — отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий. — Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? Господин Стрелинский? Право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностью графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностью, пошел навстречу неприятностей, решаешь платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все что слишком — обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего приветия похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя!

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О! вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия? Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имение, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия, я вам предсказывал все, что могло случиться и случилось волею судьбы. Сердцем нельзя владеть по произволу.

— Но должно владеть своими поступками. Так, милостивый государь! Я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрастный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или по крайней мере удалиться, заметив опасность для самого себя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил тебе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!

С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... Женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее на счет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... Я не ангел.

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор.

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы удостаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы, ослепленный пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастною ревностью, а быть может, и самую мелочную завистью, скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский, что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и

теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество! Почти женится, и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статья может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять Ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева. — Ложь! Одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле. — Любовь и кровь старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однако ж не испытывайте меня далее, Гремин; не заставьте насказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас ни лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства, я не вымаливаю у них покровительства; моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад.

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

VIII

*Я был отважно хладнокровен;
Но признаюсь, на утре лет
Не весело покинуть свет
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом: «Быть иль нет?»
Вам заряжают пистолет.*

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало извела она

свет, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком, а необычайная угрюмость и принужденная шутливость брата, весть, что он очень крупно говорил с князем Греминым наедине, и позднее посещение незнакомого офицера возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Греминым. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание; белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вещее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать, — она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine¹⁰⁶, — сказал артиллерист входящему. — Все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажя; мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностью.

— О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уж случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полстола, и как мы не бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля — и меней горошинки и более вишни — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже; оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л***ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел? Шельмы эти оружейники; они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клуба!

— Однако ж не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

¹⁰⁶ Здравствуйте, капитан (фр.)

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, г. ротмистр?

— Я вчера посетил двоих и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка; я не решился вверять участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался не колеблясь. «Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но что удивительнее всего — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству в медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренностей, если они сохраняют свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четверместной карете? В двухместной ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростев извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах.

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было, и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это; но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле, все равно что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся! — вскричал нетерпеливо старику слуге артиллерист, бросив пару их на пол. — Они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза. — Я никак не могу удержать их; так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину, — какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога, отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упрямите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сим, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе расплакаться как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином, ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненые умирают, притом мы постараясь и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные

подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого, — повторила она, упавая в кресла, — убитого!

Мысли ее помутились... Страх ледяною рукою своей сдавил сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... Разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния, немого, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста — выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать палящего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забытия, подобно Мемновой статуе в пустынях Пальмиры.

— Где братец? — спросила она, вставая.

— Уехал! — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбку надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремина. «И он, которого я считала благоразумнейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом — брату, жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди», — думала она. А между тем часы текли за часами, било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... Еще четверть, еще... И она воскликнула:

— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!

Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою, — свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье-Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дня — и нет ответа... — думал он. — Это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее перецеживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем-человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружество — прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! Необыкновенная

смертная, ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен взаимностию, сойду в могилу — и за тебя! Алина! Алина! ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре; таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой, по той же самой причине, она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости; совесть громко укоряла его в обиде старого друга, — и для чего, для кого? Для той, которую уже давно не любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастии сопернику, из пустого тщеславия! Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги; все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду непременно должныствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения «и любви», приговаривало сердце, «и, может быть, равнодушной к тебе», шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал как труба и заглушал все кроткие, все добрые ощущения.

— Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решение. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще Драгоценнейшее бытие лежали в дуле моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому.

— Все готово, князь! — сказал секундонт его, распахивая дверь. — Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и, между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по биллиарду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще больнее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми — соперники, чтобы показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, знакомясь на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками, так, как в

старину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что, при всеобщем усовершенствии наук, нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины, а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости, или пороков, или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор... — прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару, — решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению, — это статья по вашему департаменту.

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями, не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клинкою, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два зла вместе, — пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части, — сказал, улыбаясь, Гремину, — мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор: откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула, — отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? — сказал один из секундентов, укладывая пистолеты в ящик. — Золото — слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...

В это время послышался стук у двери. — Боже мой! — воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие. — Не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского, — произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ничего!».

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама, — сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный. — Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремину, — отвечала Ольга с гордою твердостью. — Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... Но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений, пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни, — но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремину, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровожадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станет тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя? Как мало жила я и как несчастна, что дожила до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг

друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он стал тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею жизни.

— Нет, нет! Существо неземное! — воскликнул Гремин, — свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана! Ольга! ваше великодушное победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор! я прошу у вас извинения в своей горячности; очень сожалею о том, что вчерась произошло между нами, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перечитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однако ж очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение, — сказал он, — кто сам имеет нужду в прощении, — и друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты! скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости, — отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество, — возразил артиллерист, сжимая руку майору.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно, но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит?! — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:

— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться! — упала к нему на грудь бесчувственна, голос его смягчился...

— Ольга! Ольга! что ты сделала? — произнес он печально. — Невинная, неопытная душа! ты погубила себя!

Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг! — сказал глубоко тронутый князь, — не уничтожай меня; я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... И если сердце ее не занято... если... я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь! я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но

вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастии сестры!

— Валериан! не разрывай могил минувшего... Кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю, — сказал Валериан, пожимая руку друга, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя. — Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных; но, кроме благодарности, здесь есть некто желающий получить награду, заслужив наказание; он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... Доканчивайте, князь Гремин!

Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток, — сказал он, приближаясь к Ольге, — как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности, я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды.

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностию! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... Все сны, все мечты ее разгадались; она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение; наконец она приклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это; друзья мои! вот письмо от Алины, — примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

— «За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его, но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастии я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов; теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир и через два месяца — о сладкая мысль! — я буду уже иметь священное право называться твоею Алиною!»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака.

— Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у дворец.

— Господа! — сказал он, — милости просим ко мне откушать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря, сверх того, за их участие, прошу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветях.

Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сесть с собою в карету:

— Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем

похороны.

— Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому, — отвечал доктор, садясь в сани.

— Теперь, однако ж, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах масленицы. Валериан ждет вас к дружескому обеду.

— Непременно буду, охотно буду, но теперь еще рано, я заеду к себе приписать кое-что к моей диссертации.

— Конечно, о страстях устрицы! — сказал Гремин, улыбаясь.

— Напротив, об удачных глупостях человека, — возразил доктор.

Вечер на кавказских водах в 1824 году*

— Зачем от нас могил ужасный клад

Видения и страхи сторожат?

— Вот Эльбрус, — сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.

Сначала трудно было распознать снега его с грядюю белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер — тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда:

Там горести, там страсти яд немеет, Там юностью невянущею веет, Забвение, целительной рукой, На сердце льет усладу и покой; Душа слита с возвышенной природой, И дышит грудь бессмертною свободой!

Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор; только двуглавый Эльборус сиял двумя звездами над океаном туч... наконец и он утонул во мраке. Изредка перепали крупные капли дождя; ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними.

— Далеко ли? — спросил я извозчика.

— Полверсты, — отвечал он.

В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейных казаков и дальше дома и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству: посмотреть общество и увидеться с знакомыми.

Зоревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужиным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досужнее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек десять романтиков насчет покорности к предписаниям эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство — возбуждать жажду к вину.

— Ну что наши московские красавицы? — сказал молодой человек в венгерке, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка и капитана гвардии, между которыми сидел он. Приятель мой, склонявший мне имена и качества каждого, шепнул, что это матушкин сынок, приехавший сюда из белокаменной лечиться от застоя в карманах.

— Милы, как всегда, — отвечал гвардеец, равнодушно покачиваясь на стуле.

— Скажите — божественны! — с жаром воскликнул усатый драгунский капитан. — Можно ли так сухо говорить о красавицах? Эй, мальчик, — шампанского!

— Позвольте сказать мне по-дружески, любезный капитан, — возразил гвардеец, — вам не мудрено восхищаться ими, после долгих лет, проведенных на бессменной страже или в перестрелках и наездах. Видя женщин, как луну, только на телескопическом расстоянии, всякий примет первую образованную даму, с которой встретится он лицом к лицу, за идеал совершенства; но причина этому не в ней, а в нем. Вы горите, сами и воображаете, что они сияют.

— Тут есть много истины, капитан, но между много и все — целое море. Я не говорю о кавказских татарках, из которых самая красивейшая, по рабским привычкам своим, достойна только закуривать трубки, ни о грузинках, в которых одна глупость может сравняться с красотой. Черкешенки вовсе иное дело, — да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения. Но я сам жил и служил в столицах; видел свет не в подворотню, и образованная женщина хотя здесь для меня и редкость, но никогда не может быть диковинкою.

— Не по хорошу мил, а по милу хорош, — сказал толстый рязанский помещик, улыбаясь, как воображал он, очень лукаво.

— Эта пословица мне не соседка, — отвечал усач. — Я говорю беспристрастно и утверждаю, что на этот раз обе московские красавицы милее здешних петербургских умниц в блузах, с вечными рассказами о погоде и поправками адрес-календаря, помещиц в капотах, которые всякого мужчину принимают, кажется, за амбар для складки отчетов своих о вине, и льне, и ячмене, о садоводстве и скотоводстве, в котором не мудрено им успеть, обращаясь часто со своими супругами! Господа! Здоровье двух прекрасных москочек!

Видя, что рыцарь разгорячился, собеседники, уважая добрый его нрав, не сочли за благо подстрекать его еще более противоречиями. Все напенили бокалы и выпили в лад.

— Здоровье прекрасных посетительниц Кавказских вод, на берегах Москвы расцветших! — воскликнул нежный сотрудник дамского журнала, повторяя по-своему предложенное здоровье.

— Этот же тост, в переводе господина Свирелкина с моего бивачного языка на язык светский: кто не пьет — не товарищ!

(Пьют и чокаются.)

— Между нами, капитан, — сказал ему гвардеец, — белокурая или черноволосая сестра вам более нравится?

— Этот же самый вопрос я делаю самому себе двадцать четыре раза в сутки и до сих пор не добыю у своего сердца толку: оно уверяет, что и утренняя и вечерняя заря прелестны. В полдень, любуясь нежными, небесными глазами и пленительною томностью лица блондинки, я бы готов был влезть в ее соломою оплетенный стакан, чтобы коснуться розовых губок и потом растаять в кислой воде; но при свечах или при лунном сиянии пронзительные взоры и пылкий румянец брюнетки зажигают меня как гранату, и я рад кинуться на чеченские шашки, чтобы до нее прорубиться.

— Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини.

Адъютант покраснелся и выпил.

— Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, — сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу, — они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать.

— Что так строго, господин прокурор? — возразил артиллерийский ремонтёр обвинителю. — Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов.

— То есть уксус, который выжимали вы из справок, — прибавил москвич.

— Настоящий *vinaigre de quatre voleurs*! ¹⁰⁷ — надал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый за то на все канцелярское семя. — Излишнее рвение

¹⁰⁷ Уксус из четырех воров (фр.)

повредило ваше здоровье...

— Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна.

— Господа! — отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку; наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. — Господа! — повторил он, — конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности — вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем.

— Браво! браво! — воскликнули многие голоса сквозь смех. — Здоровье больной юстиции!

И бокалы засверкали доньшками.

В это время молодой человек, прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и его впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность.

— Облака заволакивают месяц, — сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу, — ветер воет, и дождь крапает в окна... Как-то будет добраться до дому! Когда вихорь разносит пары, то при блеске лунном порою белеет Эльборус, спящий в лоне туч перед грозюю.

— Покойной ему ночи, — сказал сосед мой, отставной полковник. — Ты, господин доктор трансцендентальной философии, наверно, не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем.

— Конечно, нет, любезный дядюшка, — отвечал молодой человек, — потому что я пе камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе, — у него вся адская кухня греет внутренности, и, может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в припадке безумия, — я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, — значит испортить весь курс лечения, а мне, право, не хочется начинать его в третий раз.

Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел.

— Вот нынешние молодчики! — сказал полковник, провожая его глазами. — Не понимаю, как можно в двадцать пять лет так нежить себя! Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегают по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень! Треух на голову, калоши на следки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красоты, шинель для всякого случая сверху, — а сверх шинели — всю природу. Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированную романтизмом и испещренною иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, не только Шампольон-младший! Простудиться!! Человеку в двадцать пять лет и гренадерских статей простудиться! Я бы заставил его сломать похода два-три зимой, на холодной воде, вприкуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтра по колено в грязи и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха; то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на теле, чем петель на мундире!.. Там забыл бы он, за недосугом, и настоящие болезни, не то что воображаемые.

— Впрочем, кто из нас, — сказал на это гвардейский капитан, чистя перышком зубы, — кто из нас отказывался, после дымных биваков, попить в богатом замке, покружиться усталыми от похода ногами с милыми чужеземками и заснуть на мягком пуховике? Наслаждайся, покуда можно, — есть девиз русского; но когда приходит время лишений, нужды и опасностей, он так же мало заботится и жалеет о выгодах жизни, как о завтрашнем дне, и под мокрою буркою, в грязи засыпает не хуже праведника, поужинав

горстью недоваренного ячменя, устав от боя и похода!

— И то правда! — отвечал полковник, перебирая по четкам памяти все подобное, изведенное собственным опытом.

— Племянник ваш, может быть, имеет другие причины опасения возвращаться домой так поздно, — молвил человек небольшого роста, в зеленом сюртуке, коего таинственная наружность весьма походила на сосуд, в который царь Соломон запечатал множество духов. — Он, приехав позже всех на воды, принужден был нанять домик за кладбищем.

— Вот это мило! — возразил полковник. — Молодой человек девятнадцатого столетия и, в придачу того, магистр Дерптского университета станет бояться пройти чрез кладбище! Да нынче дамы нередко назначают там свидания.

— Неужели вы думаете, — насмешливо присовокупил гвардеец, — что племянник полковника боится наступить на ногу какому-нибудь заносчивому покойнику и тот потребует от него благородного удовлетворения?

— Не шутите над мертвыми, капитан, — произнес торжественным голосом человек в зеленом сюртуке. — В природе есть вещи страшные, неразгаданные! Племянник ваш еще не утешился о потере друга, которого схоронил он здесь в прошлом году.

— Военный или рябчик был друг его? — небрежно спросил драгун.

— Никто наверно не знал ни его звания, ни его отчизны, хотя в паспорте он назван был венгерским дворянином. Сказывают, он был странное и непонятное существо. Выговор ни на каком языке не изменял ему, — он на всех европейских говорил как нельзя чище. Жил весьма скромно и между тем сыпал золото бедным. Одевался просто, но одни солитеры его перстней стоили десятков тысяч. Вообще он был нелюдим и молчалив, ни с кем не сближаясь и никому не кланяясь. Однако же некоторые знатные особы говорили всегда с ним и о нем с величайшим уважением. Одним словом, — продолжал таинственный человек, понизив голос, — многие считали его одним из двенадцати кадожей.

— А что это за зверь? — спросил толстый помещик, который, скучая молчанием, как ловчий, стоял настороже с борзыми вопросами, ожидая по себе предмета; но, видя, что ожидания его напрасны, спустил их со смычки в чужую угонку.

— Кадожи? — отвечал сфинкс, опустив нос свой в стакан, как пьющая синица. — Кадожи, как говорят, суть главные блюстители масонских лож, из которых, как, я думаю, известно, шотландская считается за старшую. Не будучи великими магистрами, они важнее всех магистров, потому что лишь им открыта главная общая цель братства. Они могут находиться во всех степенях, но всегда скрытно, всегда никем не знаемы и, сохраняя в руках своих главные средства, путешествуют по свету для наблюдений, для дела и успехов вольных каменщиков.

— Так бы вы и сказали, — примолвил рязанский помещик. — Попросту сказать, он был атеист, то есть фармазон и отчасти волтерианец. Сосед мой прошлого году наслал мне от Макарья целую кипу книг об их вере; поклоняются моське, батюшка!

Никто не мог удержаться от смеху, слыша такое определение масонства. Наконец затихли и отголоски этого выстрела веселости.

— Но каким же образом вы спроведали о кадожах? — подозрительно спросил капитан гвардии.

Сфинкс в зеленом сюртуке побледнел, боязливо взглянул на прокурора, потом на дверь, которая скрипела и не отворялась, потом покраснел он, потом щелкнул по серебряной табакерке указательным перстом, отворил ее, нюхнул, что называется, вслух и, ободрившись, отвечал;

— Вы можете быть уверены, капитан, что если б я когда-нибудь принадлежал к обществу масонов, то, конечно бы, не стал рассказывать об их распорядках. Впрочем, я уже известил вас, что и сами масоны не имеют о кадожах верного понятия, и ежели венгерца считали одним из них, то это по одним догадкам, по соображениям и вероятностям. Таинственность его речей, скрытность поступков, его обширный ум, его богатство и связи, уважение к нему людей почетных — вот что служило к тому поводом.

— Удивительная архитектура догадок, — возразил насмешливо гвардеец, — точь-в-точь пирамида, у которой острое служит основанием. Каким же образом эти странствующие привидения, эти всемирные блуждательницы узнают друг друга внове?

— Говорят, — тихо отвечал рассказчик, — впрочем, я уверять не могу и отрицать не смею, что между ними главным опознавательным знаком служит особого вида кольцо.

— Видно, эти осторожные по превосходству люди хранят в решетке свои таинства, — заметил гвардеец, — когда они доступны всякому встречному и поперечному.

— Всякому? Нет, капитан! — возразил сфинкс, несколько обидясь. — Немногим, очень немногим дается дар проникать в глубочайшие тайны, в сокровеннейшие изгибы души человеческой, и по нескольким точкам начертывать целые картины.

— Перед вами, перед вами все эти достоинства! — нетерпеливо вскричал усатый кавалерист. — Но скажите, ради бога, какое сношение имеет кладбище с племянником полковника?

— Кладбище — дорога на тот свет, — отвечал человек, у которого голова, как покинутая башня, населена была привидениями, между тем как вид его доказывал, что он чувствует уже свою важность, возбуждая любопытство.

— И в рай, — произнес сомнительно чахоточный прокурор, у которого сердце пиццало, как орех в клещах, при мысли о смерти.

— И в ад, — прибавил сосед мой, полковник, брякнув стаканом по столу, будто вызывая всех бесов в доказательство, что ему нечего их трусить.

— Да, и в ад! — повторил с глубоким вздохом прокурор, опуская от губ нетронутую рюмку: ему показалось, будто вино пахнет серою,

— Продолжайте, почтеннейший! — сказал рассказчику любопытный артиллерист. — Зачем же этот венгерец приехал на воды?

— Зачем мы все здесь? — отвечал тот. — Сделайте подобный вопрос каждому из нас, и все скажут: лечиться, но, кроме этого, есть побочные или главные цели у многих. Одни приезжают рассеяться любовными связями; другие — остепениться женитьбой; третьи — поправить картами несправедливость фортуны; иные, чтоб не упустить из виду умирающего богача-родственника; очень многие для удовольствия про...

— Ради самого Пифагора, избавьте нас от подобных выкладок! Считите, будто мы знаем все, что можете высказать впредь на этот случай, и поскорее к делу! — воскликнул гвардейский капитан.

Таинственный продолжал так:

— Теперь, милостивые государи, надобно вам объяснить, что в первых веках христианства греческие купцы из Византии, привлекаемые знатными выгодами, презирали тысячи опасностей от худых и пустынных дорог и варварских нравов, заезжали сюда или проезжали чрез этот край из Персии, чтобы менять восточные товары на помориях Каспия и Черного моря и потом торговать с славянами за Доном или по Днепру, и возвращались потом с драгоценными мехами домой как могли. Караван одного из них с несметными богатствами в жемчуге и золоте, в парчах и цветных камнях, был настигнут и окружен свирепыми горцами, ночью, поблизости этих ключей. Видя неизбежную гибель, купец успел зарыть все драгоценнейшее в землю, чтобы скрыть от разбойников и потомства обожаемое им золото, для которого не щадил он ни поту, ни крови и утратил жизнь и душу. Все это, как водилось в те времена, сопровождается было чарами и заклятиями. Караваны тогда не ходили без прикрытия; отчаянная стража дралась насмерть и почти вся была изрублена варварами. Сам хозяин лег мертвый на сокрытые свои сокровища, как будто желая охранять их и по кончине. Один только раненый вожатый верблюда был увлечен в плен, в горы, провел горькие годы в жестоком невольничестве и, перепроданный несколько раз, бежал к Черному морю и достиг до своего отечества. Известие обо всем этом, от него, чрез многие руки и многие столетия перешло во время крестовых походов в руки тамплиеров, с верными подробностями. Не знаю, старались ли они извлечь из недр земли эти сокровища и какова была удача попыток, если старались; только венгерец прибыл сюда, как полагали, с тайным поручением ложи —

поверить на месте предания и, если можно, вырыть из земли под вековым прахом погребенный клад.

— Клад! — умильно воскликнул помещик, у которого охота к охоте спровадила в заклад почти все имение.

— Клад! — произнес, облизываясь и потирая руки, прокурор, — об этом следовало уведомить местное начальство.

— Особенно если там найдутся старинные монеты, оружие, утвари, чудные украшения или древние идолы, — примолвил в первый раз какой-то археолог с готическим носом, у которого слова были, кажется, так же редки, как медали с изображением царей Кавказа.

— Со всем тем, — продолжал таинственный человек, — венгерец, по-видимому, не имел охоты делиться с местным начальством, ни угождать господам искателям древностей, потому что меры его были чрезвычайно скрытны и осторожны. Один только чудный случай и странное стечение обстоятельств ненамеренным образом открыли часть его тайн одному из друзей моих, который в прошлом году жил рядом с его комнатою. Он рассказывал про этого непонятого человека много таких вещей, от коих поднялись бы волосы дыбом у самого неверующего вольнодумца.

— Этому трудно было быть с моею головою, — сказал толстый помещик, поглаживая по своей лысине и отодвинувшись от стола после этой шутки, как откатывается пушка после выстрела. Однако ж, боясь, чтобы лукавый не отплатил ему за насмешку, он потихоньку перекрестил грудь против третьей пуговицы и снова наострил ухо к рассказу.

Человек в зеленом сюртуке пожал плечами и улыбнулся почти презрительно, что на мимическом языке значило: какая жалкая шутка! стоит ли для нее прерывать занимательное повествование! И он, по кратком молчании, начал вновь:

— По ночам, рассказывал друг мой, венгерец долго и пристально сживал за какими-то книгами и тщательно запирали их в другое время. Потом он то медленными, то быстрыми шагами ходил по своей комнате, то вдруг останавливался на одном месте, как будто окамененный каким видением или мыслию. Порой неясные звуки вырывались из груди его; даже во сне тяжело стонал он, словно совесть его подавлена была каким-нибудь преступлением, и его всегдашняя физиономия, могильная синева его лица, его впалые, почти неподвижные очи, речь прерывистая и рассеянная обличали гораздо более страдания души, чем разрушение телесное. Со всем этим он бывал порой чрезвычайно занимателен: он везде бывал, все видел, все постиг. О всех веках, о всех народах говорил он с достоверностию самовидца и с беспристрастием потомства. Все важные лица последнего столетия были знакомы ему коротко, если не по свету, то по настоящим их характерам. В это время, полковник, сдружился он с племянником вашим. Склонность молодого человека к мечтательности и уединению, его чистый, возвышенный нрав и вместе кроткая, но пылкая душа пленили доверие венгерца. Казалось, он предчувствовал близкий конец свой и спешил передать свои познания и тайны достойному смертному. «Я не довольно чист душою для такого дела», — подслушал однажды друг мой слова венгерца к юноше. Они были неразлучны: вместе на ночных прогулках до самого Подкумка, не страшась чеченских хищников, и всегда в местах диких и непосещаемых; вместе за чудными письменах до белой зари; вместе при свете солнца и при мерцании месяца. Чаще всего бродили они на здешнем кладбище, в глухую полночь, с железною тростью и телескопом в руках, то пронзая землю, то углубляясь в небо.

«Скоро, скоро свершится в мире мое странствование, — сказал однажды, прощаясь с молодым своим другом, венгерец, — я уже чувствую на сердце ледяную руку смерти. Но завтра стечение созвездий будет таково точно, как в роковую ночь, поглотившую сокровища греческого гостя. Когда ударит двенадцать, — луна бросит тень от того пригорка прямо по направлению, где скрыто оно, и там, где черта сия сойдется с тенью...» Друг мой не мог расслушать более. Утро застало венгерца на одре кончины...

— Он умер! — вскричал с досадою прокурор, воображая, что клад ускользнул от его химического процесса.

— Дайте ему умереть своею смертью! — гневно возразил артиллерийский ремонтер. — И так, на одре кончины, сказали вы?

— Больной был безнадежен: у него лопнула одна из кровеносных жил, и сердце его заливалось, тонуло в крови. С трудом мог он произносить слова, и молодой друг, пораженный ужасом и сожалением, подавлен тоской разлуки вечной, незаменяемой, ни на миг не покидал умирающего. От лекарей отказался венгерец, говоря, что не хочет обманывать себя пустыми надеждами, а священника не принял под предлогом различия вер. Настала ночь... и ему стало тяжелее... Смертный час, видимо, близился, — и ужасна казалась кончина умирающему. Тьма зияла перед ним, как вечность, блуждающие зрачки его то искали, то избегали чего-то в пространстве. Каждое дыхание его было вздохом тоски неизъяснимой, и хриплые стенания вырывались из уст. Наконец он дал знак, и все удалились, кроме юного друга его. Сначала разговор их был тих, но постепенно голос больного возникал выше и выше и снова стихал, как замерзающий ключ. Уже ни одной живой души, кроме их, не осталось в домике и все спало в окрестности и вблизи. Только друг мой, движимый любопытством соучастия, сидел у двери общего коридора, прислушиваясь к каждому шороху. В комнате венгерца слышался лишь ропот невнятного разговора, — и вот все притихло, все, кроме последнего дыхания отходящего... Но вдруг клик ужаса раздался там: он был пронзителен и страшен; сам друг мой вчуже оцепенел, не постигая тому причины. Слушает... нет, это не обман воображения, — третий, незнакомый голос, голос могильный, голос нездешнего мира произносил там звуки укора, и тяжкие стенания страдальца служили им страшным отголоском.

Все слушали с напряженным вниманием. Полковник, опершись головой об руку, безмолвно следовал за рассказом, поверяя, кажется, слышанное с известным ему прежде... Только дождь, бьющий в окна, прерывал тишину залы.

— Значение слов убегало, однако же, от уха моего приятеля, — продолжал человек в зеленом сюртуке, — испуганного тем более, что он был уверен, как сам в себе, что никто не мог пройти в комнату больного, не быв замечен им сквозь замочную скважину. Дорого бы заплатил он тогда, если б можно было превратить стену, разделяющую их комнаты, в стеклянную. Наконец явственно услышал он страшный, последний стон венгерца, стон души, вырывающейся из тела... И потом долго длилось молчание, и потом шаги двух — не говорю людей, — но существ по комнате... С треском растворились двери, свет фонаря сверкнул в коридоре — и он увидел...

В это самое время быстрый топот ног послышался на лестнице, и дверь залы, сорванная ударом с крючка, раскочилась настежь обеими половинками. Гвардейский герой изменился в лице, артиллерист схватился за стакан, как за талисман против всякого наваждения; драгунский капитан сжал ручку черкесского кинжала, по обычаю всех кавказцев носимого на поясе; чахоточный прокурор обомлел на стуле своем, а толстый барин, с восклицанием: «С нами крестная сила!», так внезапно прикатил свое туловище к столу, что рюмки и стаканы зазвенели друг о друга. Все прочие с робостию, более или менее заметною, устремили глаза на дверь.

Это был, однако же, не иной кто, как племянник полковника. С черного плаща его катились крупные капли дождя; шляпа надвинута была на самые брови, и он, не сняв ее, торопливо вбежал в залу. Мутные глаза его бродили, на бледном лице выражался испуг, речь исчезала на дрожащих губах. Тяжкими и долгими порывами дышал он и наконец бросился, или, лучше сказать, упал, в кресла, беспокойно озираясь кругом, будто боясь преследования. Бесчисленные вопросы посыпались на него со всех сторон; но он ничего не слушал, никому не отвечал. Потом быстро вскочил он, схватил за руку дядю и увлек его на другой конец залы, чтобы изъясниться наедине. Все шепотом и знаками выражали свое изумление, не спуская глаз с молодого человека. Он говорил тихо, но с жаром. Полковник слушал, внимательно, но недоверчиво; скоро, однако ж, улыбка сомнения слетела с его лица, — оно померкло постепенно и, наконец, побледнело как полотно... Безмолвно стояли они потом, глядя друг на друга, в течение нескольких минут. Наконец полковник угрюмо сжал руку

племянника, опоясал саблю, засветил маленький фонарик свой, и оба вышли вон, не удостоив ни словом, ни даже поклоном собрание.

— Они пошли на кладбище, — сказал таинственный человек, прильнув к окну, — я вижу свет их фонаря, он мелькает вдали, подобно блуждающему огоньку над болотом.

— Это странно! — произнесли многие в один голос.

— Это удивительно! — сказал гвардейский капитан. — Я всегда знал полковника за человека, не верующего ни в какие сказки, а теперь, судя по его лицу и поступкам, он разделит испуг своего племянника, которому почудилось что-нибудь сверхъестественное.

— Заметили ли вы, — прибавил артиллерист, — что на плаще его виден отпечаток пяти пыльных перстов?

— Если б их было шесть, это было бы немного поудивительнее, — возразил гвардеец. — Что мудреного? Молодой человек споткнулся, оперся о пыльную могилу рукою и, поправляя плащ, отпечатал ее на мокром сукне.

— Гм, гм! — произнес сомнительно артиллерист, — но направление этой кисти не могло естественным образом принадлежать владельцу плаща: оно было вовсе наизворот.

Гвардеец молчал.

— Я вам говорил, — произнес тогда с торжествующим видом человек в зеленом сюртуке, — что в истории венгерца есть вещи, о которых, по словам Шекспира, и во сне не грезил ваша философия. Я должен прибавить вам, что ровно год тому назад, в этот самый час, его не стало. И что бы вы сказали, капитан, если б тень его, оставя прах могилы, встретила вас на кладбище в такую ночь?

— Я бы сказал, что это сущие басни, — отвечал капитан. — Как могут жители того света возвращаться на землю, когда все их органы истлели? Как могут они ходить, говорить, иметь вид человеческий?

— Я не отвергаю, чего не постигаю, — сказал артиллерист.

— А я так верю всему, чего не понимаю, — простодушно признался рязанский толстяк.

— Не боюсь, хотя и не понимаю! — грозно воскликнул усатый кавалерист. — Не боюсь ни черта в человеческом образе, ни людей, начиненных всякою чертовщиною.

— Это можно испытать, — хладнокровно возразил таинственный человек. — В дальнем углу кладбища, направо, я видел сегодня мертвую голову, конечно вымытую дождем или выкопанную волками; тот, кто всех из нас бесстрашнее, пойдет и принесет этот череп сюда.

— Я готов! — сказал драгунский капитан и наклонился вперед, как птица, которая хочет слететь; однако ж не тронулся с места.

— Я иду! — произнес еще решительнее гвардеец, оперся о ручки кресел, чтоб встать... и положил ногу на ногу.

— Я бы пошел очень охотно, если б погода была получше, — проговорил антикварий с готическим носом, — а то в слякоть и в дождь — слуга покорный. Хорошо, если б это было еще за черепом какого-нибудь героя древности, — а то, я думаю, за пустой головою кубанского казака или чахлого водолея из России.

— Ни для живых, ни для мертвых! — возгласил толстяк, поглядывая на доньшко стакана, как будто это мудрое изречение написано было на нем заглавными литерами. — Гей, малый! донского-полынногого.

— Эй, шампанского! — вскричал гвардеец, желая смыть и след прежнего разговора струями Эперне. — Как можно, сосед, так много пить донского? Оно очень землисто.

— Родимая земля, родимая земля, — возразил толстяк помещик, разливая в стаканы благодатную влагу, и в это время он точь-в-точь похож был на погребковую вывеску, на которой Бахус, оседлав бочку, распенивает вино в кубки.

Но человек в зеленом сюртуке не дал им так дешево отделаться от испытания храбрости.

— Итак, никто не хочет идти за мертвою головою? — спросил он укорительным голосом и вместе с лукавою гримасою.

— Сам не хожу и других не прошу, — отвечал рязанский помещик. — Куда будет весело, если мертвецу вздумается пожаловать к нам за своею головою.

— Не бойтесь этого посещения, — возразил артиллерист, — теперь уже минула мода прогуливаться без головы, по крайней мере для покойников.

— Почему знать? — сказал сосед мой, адъютант, освежая усы в шампанской пене. — В этом случае только первый шаг труден.

— Проклятая рана! — произнес драгунский капитан, поправляя перевязку и морщась, будто от боли. — Если б не она, я принес бы этот череп на забаву компании. Кладбище для меня не страшнее бахчи с арбузами.

— Что касается до меня, — примолвил гвардеец, шаркая под столом ногами и задобрявая всех бокалами, — мне не хочется покинуть столь приятного общества... особенно не дослушав до конца занимательный рассказ ваш о венгерце, — прибавил он, учтиво обращаясь к зеленому сфинксу.

— Окончание моего занимательного рассказа зависит от судьбы, — очень сухо отвечал повествователь.

— Неужели же вы не знаете, что увидел друг ваш в коридоре? — спросил с беспокойством нетерпения артиллерийский ремонтер.

— По крайней мере вы этого не узнаете, — хладнокровно отвечал таинственный человек.

— Но куда же делся тогда племянник полковника с привидением? — торопливо спросил тощий прокурор. — С таким вожатым он наверное добрался до клада.

— Вырытый клад? Привидение? Вы, видно, знаете более моего. Я ни слова не говорил о привидении, — отвечал сфинкс.

— Но, боже мой, что случилось по крайней мере с венгерским кадожем в час смерти? — вскричал москвич с видом отчаянного любопытства.

— Не мне разглашать исповедь копчины и похищать тайны могил, — отвечал важно человек в зеленом сюртуке. — Племянник полковника живой человек, — он знает все лучше моего; спрашивайте, — я пожелаю вам полного успеха.

Жужжанье неудовольствия, как пылание сухого бурьяна, послышалось кругом всего стола. Возбужденное любопытство требовало какой-нибудь жертвы, и драгунский капитан решился удовлетворить его аппетиту рассказом.

— Я плохой краснойбай, — сказал он, — тем более что в последние годы службы на Кавказе чаще слышу выстрелы и лучше понимаю конское ржание, чем людской говор; однако ж если господам не скучно будет выслушать приключение подобного же рода, с родным моим братом бывшее, то я чем богат, тем и рад.

Разумеется, приглашения и просьбы посыпались на него, как пудра. Пыхнув последний раз трубкою, он начал так, сквозь облако табачного дыма:

— Надобно предуведомить вас, господа, что брат мой человек прямой, благородный и без всяких предрассудков от природы и воспитания. Каждое слово его между всеми знакомыми ходило вернее билета на Амстердамский банк; и до сих пор не могу я разгадать этого случая, но сомневаться в рассказе брата не имею никакого повода. Он вырос и стал отчаянным моряком на палубе английского корабля, потому что в его время русские гардемарины посылались на британский флот учиться мореплаванию и порядку. По этой причине, быв уже впоследствии старым нашим лейтенантом, он имел многих знакомцев и друзей между англичанами, с которыми делил мичманские шалости на воде и на суше. Пять лет тому назад случилось фрегату, на котором брат мой командовал первою вахтою, сойтись с английскою корветтой в одном из больших норвежских портов. В числе экипажа этого практического судна, какой-то особенной постройки, нашел он кой-кого из ба-ловых своих приятелей, и, по обычаю, для поновления дружества, они съехали на берег, заказали славный обед в трактире, которым ограничиваются обыкновенно топографические исследования моряков, и бутылки пошли ходить кругом стола, между тем как бесконечные тосты в three times и three time three, то есть с троекратным и трижды троекратным «ура», передавали все

краски вин носам и лицам собеседников. Брат мой был удалой весельчак и непобедимый питух — два достоинства, не оцененные в глазах каждого свободного англичанина. Прибавьте к этому, что он говаривал: «S'blood God damn my Soul»¹⁰⁸ или «stab my vitals!»¹⁰⁹ не хуже кембриджского профессора изящных наук, и вы не удивитесь, что британцы были от пего в восхищении. После тысячи и одного рассказа о кораблекрушениях, абордажах, призах и опасных плаваниях то под экватором, то среди ледяных гор полюсов моряки наши удостоили ступить на землю, и пошли вести о вечной войне флотских с таможеню, о славных трактирах и чудных красавицах, с описанием боевого крейсерства между подводными камнями этих архипелагов. Точно так же, как мы, беззаботно стучали они стаканами, точно так же, как у нас, упал и у них разговор на выходцев с того света. Все сознавались, что предрассудки младенчества, которые всасываем мы с молоком и воздухом, оставляют в нас едва ли не навсегда невольную боязнь, если не тайное верование к этим существам. Но одни, особенно шотландцы, уверяли и доказывали, что страх этот есть врожденное сознание в возможности таких явлений, чему приводили множество достоверных примеров и собственных опытов, между тем как другие утверждали, что все это или обман чувств, или бредни, достойные старух и ребят. Брат мой подвизался на стороне последних и шумел, как во время бури, не забывая заряжать себя мадерою и осыпая картечью клятв логику противников, — маневр, который

Почитается и между нашей братьи убедительнее сухих доводов.

«Во всяком случае, — говорил он, — смешно верить и еще стыднее бояться того, чего нет. Я вызываю на заклад каждого из вас испытать собственное мое мужество!»

«Держу против пятидесяти фунтов стерлингов!» — закричал лейтенант корветты.

«Держу против пятидесяти фунтов!» — прибавил другой.

Англичане не любят пятиться, но русские идут всегда вперед:

«Я держу за себя сто фунтов, — сказал брат мой, — и предлагайте опыт сейчас же!»

Капитан судна ударил в руку, и две тысячи пятьсот рублей назначены были наградой доказанного бесстрашия в отношении к мертвецам или наказанием самохвальства в противном случае.

Решили, чтобы моему брату идти за город на лобное место, где все они, прогуливаясь, видели труп вчера повешенного разбойника. Он должен был взять его за руку и неучтивее попросить сделать ему честь пожаловать в трактир и попить с ними до петухов, после которых, как известно, всех чертей требуют на переключку. В доказательство же исполнения условий навязать висельнику на левую руку золотой шнурок, который один из англичан сорвал со шляпы своей.

Как ни странно, как ни причудливо, чтобы не сказать — как ни глупо, было это условие, — брат мой готов был на все. Англичане с сомнительным видом пожелали ему успеха, и он, завернувшись в клетчатый шотландский плащ, смело посвистывая, пустился по пустым улицам городка. Ночь была холодновата, путь не близок; голова и сердце его начали простывать, особенно когда очутился он в пустыре за городом, — ему показалось даже, что ветер дует так пронзительно, как будто настоен январскими морозами Якутска. В это время луна выкатилась из-за облака и озарила всю окрестность, страшная виселица чернелась вдалеке, — и на ней качался роковой плод ее. Брат мой вздрогнул и остановился невольно; выправил маленький запутанный цепочками кортик свой, который азиатец почел бы зубочисткою; потом оглянулся назад и стал считать в кошельке своем червонцы: худое начало для закладчика.

Однако же брат скоро ободрился... Все было так тихо и мирно кругом. Позади его, темнея, лежал сонный город с блистающими церковными шпицами; впереди — горизонт

¹⁰⁸ Пусть бог проклянет мою душу (англ.)

¹⁰⁹ Пусть мне проколют брюхо! (англ.)

сливался с грядою холмов, на коих, как привидения великанов, стояли мельницы с неподвижными их крылами; вправо и влево перелески и поля с мелькающими вдали домиками. Нигде человеческого голоса, ни даже лая собаки. Брату стало стыдно самого себя. Ему казалось, что месяц дразнит его языком, а вся окрестность укоряет в робости; он распахнул плащ, который прижимал к себе так плотно, будто он составлял часть его кожи, и смелыми шагами пошел к виселице. Через десять минут он стоял уже под нею.

Неприятно и днем, не только ночью, видеть отвратительную картину нравственного и физического разрушения, какую представляют нам казни. Один только граф М-р нашел в палаче лицо утешительное для человечества, как в представителе божеского правосудия на земле. Брат мой, правда, не читал о том ни строчки, но и прочитав, покорный голосу природы, не поверил бы этой коварной логике Торквемады, где высокие причины смешаны с унижительными орудиями. С тайным ужасом глядел он на повешенного; луч месяца прямо бил в посинелое лицо, инде уже исщипанное птицами. Последняя минута тоски, видимо, замерла в обезображенных чертах и в стекловидных глазах его, в коих отразились все муки души преступной и отчаянная борьба жизни с насильственной смертью. Волосы стояли дыбом, персты сведены судорогами. На нем падал был род белого фланелевого савана с наножниками и рукавами, и он при каждом дуновении ветра то качался назад и вперед, как маятник, то обращался влево и вправо, подобно компасной стрелке, между тем как веревка держала голову его вниз, как недостойного смотреть на небо, загражденное ему собственными злодействами. Долго, долго смотрел брат мой на труп, и глубже, глубже входило в сердце его холодное лезвие ужаса, смешанного с отвращением. Наконец он вспомнил о своем закладе, и, как ни мало расположен был в ту минуту к шуткам, однако же, для честного слова благородные люди делают гораздо хуже, чем глупости, и он, вытащив из кармана шнурок, повязал его висельнику на кисть, потом снял шляпу и поклонился так ловко, что это сделало бы честь всякому флотскому, который учился менуэту на кубрике, беспрестанно сгибаясь для сохранения лба от низкой палубы и беспрестанно оглядываясь, чтобы не слететь в люки. За поклоном следовала пригласительная речь по данной формуле, и потом брат мой снял перчатку, прикоснулся к руке мертвеца, — должно признаться, однако ж, с такою осторожностью, как доктор, который хочет пощупать пульс у зараженного чумою. В то самое мгновение, когда он обнял своими перстами ледяную руку висельника, зазвучали городские часы полночь, и заунывный гул их, наносимый ветром, показался брату печальнее погребального колокола; с этим вместе он почувствовал, что мертвец сжал и по-дружески потряс его руку.

Я вам сказал уже, господа, что брат мой был бесстрашный офицер по природе и по привычке: он, не бледнея, встречал внезапный тифон из-под ветра, и рупор его ревел под картечными выстрелами тридцатистифунтовых карронад... Но тут было дело иного рода. Он признавался мне, что хотя мозг его и плавал до тех пор в разгоряченных парах вина, но от этого пожатия вдруг превратился в порцию мороженого пунша... вся философия исчезла, холод змеей прополз по костям, и он с изумлением страха увидел, что с первого удара часов мертвец начал потряхиваться, побрякивать своими закованными ногами и подпрыгивать то вниз, то вверх, наподобие рулетки, — так разобрала его охота поплясать под звук полночной музыки. Наконец часы протяжно добились двенадцать, и последний удар стих в окрестности. Вместе с боем кончились и адские антраша; зато невнятный голос мертвеца поразил слух моего брата, который и без того ни жив ни мертв стоял, желая не верить собственным чувствам. Мертвец не шевелил губами, но голос его, вырываясь из груди, то слышался глубоко под землею, то вдали, то прямо над ухом брата, и никогда в жизни не слыхивал брат столь ужасных звуков, столь потрясающего голоса.

— Он был, верно, чревоушатель, — заметил человек с готическим носом, — в самой глубокой древности мы начитываем тому примеры.

— Не знаю, — продолжал капитан, — бывали ли в древности мертвые чревоушатели на треножнике оракульском, только едва ли не первому моему брату удалось открыть это качество на глаголе. Он, как я уже имел честь сказать вам, стоял ни жив ни мертв, и звуки с

того света лились на него, как холодный дождь на прозябшего путника. Первая мысль, которая ему представилась, была — удалиться, но он не мог тронуться с места: каблуки его будто пустили корни в землю; волею и неволею надо было покориться адской силе, и он, опустя руки по швам, стоял перед повешенным, как виноватый солдат перед ротным своим командиром.

«Слушай, иноземец, что я скажу тебе! — медленно произнес разбойник. — Ты пришел насмеяться над мертвым, но вспомни, что после смерти перестает суд человеческий и наступает суд божий! С той минуты, что я перестал жить как разбойник, ты должен был пожалеть обо мне, как о собрате своем. Впрочем, ты честный человек, и твое сердце лучше твоей головы; небо допускает грешника загладить через тебя одно из вопиющих преступлений, записанных кровью в книге осуждения. Недавно, убив отца одной иностранной девушки, я ограбил все ее достояние, но, что всего важнее, с золотом похитил я и бумаги, без которых она должна скитаться безыменною нищею в чужбине и стать жертвой порока. Все это закопано на том же месте, где-совершенно убийство, в ближайшем отсюда леске, под деревом, на котором зарублены два креста; оно девятое по тропинке от входа, и ты легко узнаешь его. Возьми этот заступ, приготовленный для позорной могилы моей, и рой землю на север от пня, в трех шагах расстояния. Но не озирайся назад, что бы тебе ни чудилось, — там найдешь ты роковое сокровище, — и если дорога тебе душа твоя, вручи его несчастной жертве. Завтра в самый полдень жди ее на набережной, и первая женщина, которая встретит тебя с последним ударом часов, — будет она. Дай руку и честное слово на исполнение!»

Тут висельник протянул ему ладонь свою, будто уверенный в согласии.

— Хорошо сказано для разбойника! — произнес москвич.

— А на каком языке говорил он с вашим братцем? — спросил гвардеец, у которого каждая фраза, как скорпионов хвост, непременно загибалась вопросительным крючком.

— Да, в нем говорил нечистый дух, — уверительно примолвил толстый рязанский помещик.

— А черт отличный филолог, — заметил антикварий, — и если б он взялся сочинить всеобщую грамматику, то заставил бы краснеть все академии в свете.

— Я совсем противоположного мнения, — возразил таинственный человек, — враг человеческого рода не может ни делать, ни желать добра; а этот висельник, напротив, требовал очень доброго дела.

— Но кто вам поручился, что это не искушение, не адская западня? — вскричал артиллерист.

— Я почти уверен, что злые духи разорвут на части почтенного братца господина капитана, — молвил рязанец.

— А я так думаю, что он женится или по крайней мере влюбится в благодетельствованную им девушку, — сказал догадливый сотрудник дамского журнала.

— Если вы, господа, станете беспрестанно перерывать рассказ, то помешаете брату моему и жениться и быть разорвану в клочки! — вскричал рассказчик с нетерпением. — Он, то есть брат мой, стоял в нерешимости — дать или не дать ему слово на такое запутанное дело. Как ни перемешаны были мысли его сверхъестественным этим явлением, однако ж он ясно видел, что возврат золота и документов мог навлечь на него подозрение об участии в злодействе. Юстиция не принимает никаких чудесных откровений после смерти, и свет скорее мог счесть этот поступок уликою совести, чем случаем или чертой благородной решительности. Сердце, однако же, перемогло рассудок.

«Пусть один бог будет моим свидетелем, — сказал он, — что бы со мной ни случилось, я сделаю все для несчастной сироты», — и протянул руку к покойнику.

«Благородный человек», — произнес тот, пожимая руку брата, и в этот раз она показалась ему не столь холодна, как прежде.

Он схватил на плечо заступ и быстрыми шагами пошел к лесу... Вступая в опушку, он оглянулся, и ему почудилось, будто мертвец спрыгнул с виселицы и бежит вслед за ним; но

облако налетело на лупу, и брат ничего не мог различить более. Скрепив сердце, шел он по роковой тропинке, и скоро дерево, свидетель убийства и страж добычи, предстало перед глаза его. Мысль, что здесь раздавались напрасные крики о помощи, напрасные мольбы о пощаде и последние стенания зарезанного, мысль, что он попирает стопой место, где злодейски пролилась кровь неповинная, снова взволновала его душу. Воображение рисовало очам ужасную картину... Ему в самом деле мечтались вопли и угрозы борьбы, стон и хрипение смерти. В этом расположении духа принялся он за работу. Холодный пот капал с лица, сердце билось высоко, — и вот адский хохот, дикие свисты и плесканье в ладоши раздалось за плечами его. Синие огни вспыхивали там и сям; дерево сыпало на голову брата блеклые листья, и большие камни падали кругом, — он рыл, не оглядываясь. Однако отважность его слабела, разум мутился, голова пошла кругом, — ужас оледенил чувства. Наконец заступ его ударил во что-то твердое, — и в тот же миг с утроенным топотом, криками и плесками нечто тяжелое рухнуло на него внезапно, и он пал бесчувствен в яму, вырытую его руками.

Что с ним случилось после, он не помнит. На одно мгновение, будто сквозь удушающий сон, мечталось ему ржание коней, стук колес, говор людей, — и только. Долго, долго после, по крайней мере через сутки, казалось брату, очнулся он. Была ночь, — но при каком-то слабом свете; щупая и озираясь кругом и припоминая прошлое, с несказанным удивлением уверился он, что лежит на диване, в той же самой комнате норвежского трактира, в которой пировал он с англичанами. За столом, однако, не было уже никого; один огарок едва озарял предметы и дремал, подобно всей природе. Только маятник старинных часов, повторяя свои однозвучные чик-чик, еще заметнее делал безмолвие ночи. Стрелка показывала четверть пятого.

«Хозяин!» — закричал брат мой.

Никто не откликнулся.

«Хозяин!» — повторил он так громко, что зазвенели окошки, и толстая фигура с зевающим ртом и полуслепленными глазами ввалилась в двери в шлафроке.

«Где англичане?» — был первый вопрос моего брата, и вместо ответа хозяин полез рыться в огромном дедовском комоде, в котором каждый ящик мог бы вмещать по несколько человек гарнизона; вынул что-то оттуда, хладнокровно снял со свечи, поднес ее к носу моего брата и, сняв колпак, подал ему письмо. Брат мой был человек аккуратный, и как ни егозило любопытство в глазах и пальцах, он раза два оборотил письмо направо и налево, прочел адрес, весьма подробно написанный, потом взглянул на печать, в гербе которой изображен был ползущий лев — верная эмблема воина придворного, и две подковы — знак твердости, но вещь давно изгнанная с паркета. Наконец он вскрыл письмо; в нем написано было: «Сир! мы проиграли заклад; вы не только храбрейший, но и достойнейший человек!

Вестовая пушка грянула, корветта снимается с якоря и не дает нам ни минуты для объяснений. Прощайте! Будьте счастливы и не забывайте людей, которые считают честью быть вашими друзьями».

Внизу была подпись всех собеседников того вечера.

— Понимаю, — сказал человек в зеленом сюртуке, значительно нюхнув табаку, — понимаю.

— Этого нельзя и не понять, — прибавил гвардеец, — братец ваш всю эту историю, или, лучше сказать, всю эту басню, видел во сне.

— Во сне! Неужели во сне? — вскричал таинственный человек, обращаясь с вопросом к рассказчику и боясь, чтобы эта прекрасная повесть о мертвецах не превратилась во что-нибудь естественное.

— Брат мой сначала думал то же самое, — возразил драгунский капитан, — покуда между сгибом письма не нашел банкового билета на сто фунтов стерлингов. Вы, я думаю, согласитесь, господин капитан, что хотя в сновидениях нередко даются нам золотые горы, только они разлетаются в дым от одного мига ресниц; но этот сонный клад преспокойно остался у него в кармане.

— Английская штука, — сказал тогда сосед мой, адъютант, — некоторые из моряков легко могли заскакать вперед и сыграть эту драму; воображение дополнило остальное.

— Милостивый государь, — возразил драгун-наездник, нахмурясь и грозно расправляя усы, — брат мой не говорил мне ничего подобного, и я не думаю, чтобы вы имели причину сомневаться в словах моих.

Нечего было спорить против такой убедительной логики, — и все прикусили язычки, готовые уже на разные замечания, не желая из-за мертвых ссориться с живыми.

— Господа! — сказал артиллерист, закуривая трубку, — мне кажется, справедливо бы каждому рассказать какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот из своей или чужой жизни, — это бы помогло нам коротать другие вечера и заключить сегодняшний.

— И еще справедливее, чтобы вы скрепили этот благой совет своим примером, — возразил гвардеец. — Артиллерия должна издали открыть огонь; мы, пехотинцы, будем прикрывать ее. Капитан, как отличный наездник, завязал дело и навел неприятеля на орудия, — теперь ваша очередь.

— Помилуйте, господа, — отвечал артиллерист, отговариваясь от приглашений, — я, право, не приготовился, я принужден буду стрелять холостыми зарядами.

— Тем лучше, что не готовились, — сказал прокурор, — по первым показаниям и по горячим следам скорей доберешься толку.

— Только что-нибудь необыкновенное, — примолвил человек, похожий на запечатанный Соломонов сосуд.

— В таком случае, господа, — произнес артиллерийский ремонтер, окидывая глазами собрание, между тем как грустная улыбка воспоминания изобразилась на его устах, — я расскажу вам истинное приключение моего дяди в Польше, при начале войны конфедератов. Оно так сильно подействовало на его ум, что он постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре.

Таинственный человек вытянулся в нитку; все придвинули стулья.

— Думаю, каждый из вас, господа, — начал артиллерист, — слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностью. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные папы вербовали в майонтках своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, — но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности. Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздалась они — и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться.

Счастливыми назваться могли попавшие в плен. По всему городу, из конца в конец, раздавался глухой вопль Посполитого Рушенья, заглушаемый набатом и выстрелами, между коими гремели тревожные перебаты русских барабанов и замолкали вновь, подавленные криком народным. Резня длилась; смерть в разных образах сторожила русских, — и никому не было пощады. Я знал одного отставного солдата, который в ту пору с пятью товарищами мылся в бане; поляки окружили ее, зажгли, заперли и со свирепою радостью слушали их отчаянные крики. К счастью его, обрушился потолок; он вспрыгнул по пылающим стропилам кверху и, полусожженный, кинулся в Вислу, на берегу которой стояла баня.

Другой... Но теперь дело не о других. Дядя мой, кирасирский поручик, находился в этом же корпусе бессменным ординарцем при одном из генералов, — и я прошу позволения познакомить вас с моим дядею покороче. Он имел неоцененное счастье родиться в золотой, патриархальный век русского дворянства в степных деревнях Тамбовской губернии. Строгие понуждения Петра Великого, чтобы недоросли учились и служили с малолетства, грянули там громом, — но давно уже минули, подобно страшному сну, и они безбоязненно катались в невежестве как сыр в масле. Едва мальчик рождался на свет, целое вече родных и соседок собиралось к родильнице, и каждый и каждая, отпустив ей по несколько приветов один другого старее, один другого глупее, клали под подушку по золотой монете на зубок новорожденному. Затем мамка выносила его самого на подушке, красного как рак, и все с важным видом обступали младенца, щупали, обдували и рассматривали его с большим вниманием и, обыкновенно по старшинству или по звонкости женских голосов, решали: будет ли у него руно или перья? В первом случае, когда младенец мог уже ходить на четвереньках, как прилично столбовому дворянину, — его пускали между телятами и барашками научиться кротости и благодравию. В другом — дожидались времени, когда он мог стоять на двух собственных ножках, и тогда курс его воспитания начинался на птичьем дворе с курами и гусями. Этот род домашнего воспитания, столь близкого к простоте природы, с очень неважными переменами, продолжался обыкновенно до тех пор, покуда несколько неугомонных ревнивых мужей, крестьян, не приходили с жалобами на молодого барчонка. Тогда нежная матушка заключала, хотя и весьма неохотно, что ребенку пора учиться, и давай слать гонцов в Москву за азбукою, а в Петербург за патентом на чин гвардии сержанта. Ни дать ни взять, этот же порядок происшествий соблюден был и с возлюбленным моим дядюшкою. Совет чепчиков решил, что в нем орлиная природа, и, вследствие таких примет, пернатое племя было товарищем его детства, и юность его услаждалась дракою с индейскими петухами. Но у ребенка пробился ус, и Амур со стрелой своей, цирюльник с бритвою и приходский дьячок с указкою явились к нему вдруг рушители покоя и беспечности. Книга показалась дяде моему медведем, и это впечатление на юные нервы осталось в нем едва ли не на всю жизнь: от книг он вечно бегал, как бес от ладана, — и мать его уверяла, что одна азбука стоила ей целого воза вяземских пряников для утешения испуганного дитяти. Дитя, однако же, одарено было особенного понятливостию, и в два года прошло до четверных складов; но по верхам, вероятно от застенчивости, и на третьем читал он плоховато. Зато уж письмо далось ему. Но линейкам, начерченным обыкновенно углом гребешка, бегло писал он по палочкам, и, не хвастовски сказать могу, слова его походили на фронт немножко хмельных солдат; но в позднейшие времена, в службе, он еще более наметал руку, и каждая буква его подписи разгульными своими кудрями походила на завитую в семик березку.

В двадцать два года отец впервые назвал его добрым молодцем, а мать с плачем стала собирать на службу. Как ни хотелось дяде моему посмотреть света, но горьки показались ему слезы разлуки. Мать просила его беречь здоровье, отец велел беречь денежки, и оба крепко-накрепко наказывали поздравлять с праздниками петербургских своих роденек, разумеется чиновных. Покорный сын влез в повозку с твердым намерением не следовать ни одному совету и, в сотовариществе со степенным дядюкою, покатил в столицу. Прибытие его в полк, его сержантские подвиги при сиянии финского солнца и при мерцании фонарей, которые нередко бивал он, как враг просвещения, и, наконец, перевод поручиком в один армейский кирасирский полк не принадлежат к нашей истории, и потому я скажу только, что дядя мой стал молодцом в полном смысле слова. По росту и дородству вы бы могли счесть его потомком Сухаревой башни, а сила соразмерна была огромности туловища, — словом, он был достойный богатырь времен суворовских. Вообразите себе, что в одном сражении с турками конь его на ретираде был контужен в передние ноги. Он любил коня как брата и не хотел, имея надежду вылечить, оставить его в добычу неприятеля.

«Бедняжка! — сказал он, — ты не раз вывозил меня из беды неминуемой, теперь за мной черед послужить тебе», — и с этим словом, подхватя четвероногого товарища под передние

лопатки, поволок на себе, между тем как тот переступал задними ногами.

Таким центавром прибыл он ко фронту, и когда офицеры стали удивляться его усилию, он извинялся тем, что протащил не более полуверсты. Впрочем, дядя мой, славный уже рубака на войне, был лихой товарищ и в обществе. Охотник пошутить и посмеяться, он не был лишним ни за бутылкой, ни подле женщин. Природа не обидела его даром слова, а столица весьма и весьма округлила в обращении. Вероятно, эти качества доставили ему место бессменного ординарца, и, кажется, ни генерал, ни генеральша не имели причин в том раскаиваться. Варшава, со своим венгерским вином и милыми польками, показалась ему настоящим земным раем: его жизнь плавала там в океане меду, — но гроза невидимо собиралась над русскими и грянула ужасно. Судьба судила, однако ж, дяде моему погибнуть не в Варшаве. Он, на страстной неделе, отправлен был с важными депешами в Литву и, удачно выполнив свое поручение, повольно возвращался в главную квартиру, ничего не зная, не ведая. На другой день светлого праздника он уже находился верстах в полутора от Варшавы, поспешая навстречу гибели. У худых вестей долгие ноги, и если б дядя мой был более догадлив или менее доверчив, то легко мог бы заметить, что в народе происходит необыкновенное волнение. Но он, по обычаю всех русских курьеров, просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой вудки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая: «пошел!» и пересыпая это увещание перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре. На облучок с ним садился вахмистр того же кирасирского полка, Иван Зарубаев, удалец не хуже моего дяди. Он был у него квартирмейстер, казначей, камердинер и телохранитель вместе; и сомнение ли поляков об удаче варшавской заутрени или робость при виде двух великанов, вооруженных с ног до пояса, — только, несмотря на косые взгляды и проклятия, процеженные сквозь зубы, им до сих пор везде давали лошадей, и нагайка Зарубаева, гуляющая без лицепрятия по спинам четвероногих и двуногих служителей почт, доставляла путникам очень скорую езду. Зарубаев, однако, видя необычайное столпление шляхты, которая, заломав шапки и засунув руки за пояс, гордо волочила за собой ржавые сабли, явно браня русских и с хвастливым видом угрожая искрошить их на табак, счел за нужное отрапортовать о том поручику.

«Ваше благородие, — сказал он, вытянувшись сколько мог, половиною тела, на облучке, — поляки затевают что-то недоброе, они грызутся на нас, как волки на собак. Во многих деревнях, я видел, насаживают косы на ратовища и привязывают флюгарки к вилам; шляхта чистит дробовики и сабли, — вон, изволите ли видеть, нам перескакали дорогу человек пять с пиками? Это неспроста!»

«В самом деле, Зарубаев, — отвечал мой дядя, — я и сам заметил, что поляки стали с нами горды, как трехбунчужные паши, и вместо прежнего падам до ног готовы взлезть на шею, — далеко, брат, кулику до Петрова дня! А что, есть ли у нас, Иван, Адамовы слезы?»

«Как не быть, ваше благородие! — отвечал вахмистр, открывая пробку оплетенной фляги, которая висела у него через плечо. — Я всякий день насыпаю на полку свежего пороху».

«Так не о чем и горевать, — сказал мой дядя, потягивая душеспасительный травник, — покуда у русского солдата есть чарка в голове, сахар в кармане и железо в руках, — ему нечего бояться. Пошел!»

В этих миролюбивых мыслях прикатили они к следующей станции.

Шумный круг теснился у крыльца почтового дома; с него сухощавый поляк, — вероятно, эконо́м фольварка, весьма похожий на тощую фараонову корову, которая проглотила тучную, не став оттого сытнее, — что-то с жаром проповедовал, и грозные клики: «Вырзно́нь, вырзно́нь!»¹¹⁰ вместе с шапками летели на воздух.

¹¹⁰ Вырезать их, вырезать! (Пер. автора.)

«Лошадей!» — закричал Зарубаев, между тем как ропот: «Москаль, москаль!» раздавался кругом.

«Тройку из курьерских, по указу ее императорского величества», — сказал мой дядя, швырнув подорожную в нос эконома.

«Тым горжей¹¹¹, — гордо возразил тот, — коней не ма».

«Как не ма? для курьера не ма? Хоть роди, да подай! — вскричал, вспыхнув, мой дядя. — Или я тебя самого впрягу в хомут, тюленья харя!»

Между тем поляки сжимали круг ближе и ближе, и о каждой минутой угрозы их становились дерзостнее, поступки бесчиннее.

«Схватить их, связать их!» — кричали одни.

«Убить, убить! — ревели другие. — Им одним скучно будет в Польше, отправьте их гонцами к свату их, сатане!» — и тому подобные любезности.

«Не пустить ли, ваше благородие, шутиху в зубы этой челяди? — спросил Зарубаев у дяди. — Пистолеты у меня заряжены картечью; или по крайней мере позвольте поработать палашом, — ему, бедняге, душно в ножнах».

Но дядя мой имел благоразумие запретить вахмистру наступательные действия и дал знак держать только оружие наготове.

«Завладей сперва бричкою этого шляхтича», — потихоньку сказал он Зарубаеву, и тот вмиг исполнил фланговое движение к бричке. Тогда дядя мой решил, — медлить было нечего. Толпа готовилась задавить их множеством; самые хвастливые из шляхтичей обнажили уже клинки свои и, гарцуя над головою дяди, то подносили концы их к носу его, заставляя нюхать старопольскую славу, то втыкали их в землю, то потачивали на колесе. Это вывело его из терпения; он сверкнул глазами и палашом скомандовал Зарубаеву: укороти поводья! — схватил за ворот сухощавого поляка и, между тем как тот кричал: «Злапайце те-го дурня!»¹¹² — бросил его под мышку, как зонтик, и потащил, задушая, к бричке. Вскочить в нее, встащить за собой пленника и крикнуть Зарубаеву: «Катай по всем!» было дело двух мигнов. Зарубаев, который, выставя из-за края брички, как из-за бруствера, пару седельных пистолетов, грозился дотоле на каждую пулю пронизать по крайней мере по три души, не дожидаясь повторения, и бич свистнул над конями.

«Слушай, пане экономе! — сказал дядя пленнику, ласково сжимая ворот его при каждой запятой. — Объяви этой сволочи, что если хоть один кинет в меня камнем, или выстрелит, или станет преследовать, то я не иначе явлюсь в Тартаре, как верхом на тебе!»

При окончании этого родительского увещания он так давнул бедного шляхтича, что тот заревел, как Фаларидов бык, и ради всех святых стал умолять бегущую сзади громаду не трогать русских, щадя его. Долго еще им слышались брань и проклятия раздраженной черни, у которой ускользнула из рук верная добыча; но повозка летела, и треть дороги была уже за ними, когда звук набата в селе, впереди на дороге лежащем, принудил их остановиться. Ехать назад было бы безрассудно, вперед еще опаснее, — что тут прикажете делать? Дядя призадумался, спросил Адамовых слез, которые были у него вроде карманного вдохновения во всех чрезвычайных случаях жизни... потом приложил палец ко лбу, как будто для извлечения электрической искры ума, и снова ухватил шляхтича за ворот.

«Слушай, ты, вавилонская лихорадка, — сказал он ему, — веди меня окольными дорогами не слишком близко к большой дороге и недалеко забираясь в сторону. Если же ты задумаешь бежать или, чего боже сохрани, завести меня в западню, то я впусти тебе в брюхо такую ягоду, что она не сварится в нем до Страшного суда, хотя бы желудок твой был крепче, нежели у страуса. Зарубаев! отдай ему вожжи и держи за кушак, и чуть он покривит душой или зашевелит усами, спусти гончую собаку. Понимаешь?»

¹¹¹ Тем хуже. (Пер. автора.)

¹¹² Схватите этого сумасброда! (Пер. автора.)

И трепещущий поляк понял это весьма хорошо, взлез на козлы, своротил вправо, и путники наши скоро выехали на какую-то проселочную дорогу.

Мы не удивимся поведению дяди в таком необходимом случае, где он действовал уже в отместку за обиду и по чувству самосохранения; но, впрочем, он, подобно всем военным того времени, без всякой нужды готов был на такие же выходы. Их век был веком, в который люди угнетали других людей во всей невинности сердца; тогдашний дворянин крепко веровал, что бог создал для него только девять заповедей, а десятую отдал ему в бенефис, что крестьяне суть животные и что спины их необходимо требуют побоев, лбы рогов, а карманы просевки, и если они ропщут, то, верно, по глупости или от непривычки. Солдат в свою очередь почитал себя тоже привилегированным существом. Следуя примеру старших, он приходил на квартиру как в завоеванный приступом город, — и мужик, вчерашний товарищ его, бог знает почему, становился его вассалом. В целой деревне мальчишки прятались за углы и собаки, поджав хвост, влезали в подворотню, когда старый служивый совершал по улице свое торжественное шествие из кружала, и он, свертывая голову курице или паля краденого поросенка, бывало, приговаривал: «за матушку за царицу, за святую Русь», в полной уверенности, что этому не должно быть иначе. Мы еще застали образчики солдатского молодечества на постоях, но это была уже одна тень золотого века, о котором вздыхают отставные усачи, говоря: «То-то было времечко! Пришел ли на квартиры, все твое — и куры и жены; офицеры пьют да бьют исправников, а мы свозим стога сена и щиплем бороды неугомонным; ведро вина для квитанции, и — все шито да крыто... Что за ябеда на слуг государевых? Бывало, что день — то масленица. На Руси кантуй как в земле неприятельской, а у союзников — как на Руси!» Мудрено ли же, правду сказать, что с такою политикою между нашими гренадерами поляки не слишком рады были незваным гостям?

Между тем, господа, бричка катилась, солнце садилось, и дядя мой, стягивая патронташ с пистолетами, очень умильно поглядывал в обе стороны, не увидит ли где деревушку для взыскания с нее контрибуций в пользу тощего своего желудка. Вместо деревни, однако же, увидел он столб пыли по дороге, которая тихо вилась к ним навстречу. Они слышали хлопанье бича и дребезжание досочек, и винтов, и цепей какой-то повозки, — и вот пыль расступилась: целый цуг коней в высоких хомутах с веющими по ним флюгерами, кистями и бляхами тащил старинную низкоходную карету. Верх у ней был сквозной, и кожаные завесы, заменяющие наши стекла, подвязаны к столбикам. Внутри, на горе из подушек и всякой рухляди, лежал, преважно растянувшись, какой-то вельможный пан, покручивая усы для препровождения времени.

«Долой с дороги!» — кричал Зарубаев.

«Вправо или стопчу!» — был ответ польского кучера, и между тем оба катили прямо друг на друга, не уступая места, как добрые дипломаты.

«Кеды москаль пщель не звруци з дроги, — паль го в леб з бича!»¹¹³ — закричал вознице своему гордый пан, которому и самая степь киргиз-кайсаков показалась бы узка при встрече; но кони уже сгрянулись, дышла затрещали, колесо пополам, и обе повозки полетели вверх копылками. Между тем как ездвые хлестались и кони храпели под тяжестью кузова или запутанные в упряжь, дядя мой, который выходил из себя от одного грубого слова, бежал к нему в бешенстве от обидного привета, обнажив свой шестипядный палашище и обещая сделать из него двуглавого орла. Но пан уже успел выбиться из-под перин и ящиков и с саблей в руке ожидал нападения. Разумеется, ни один из них не скупился на удары, и между тем искры сыпались с клинков, брань летела с языков и удвоила запальчивость обоих. Дядя мой кричал, что он допытается, чем подбита польская кожа, а пан ревел, что он отрубит русский нос на завтрак своему пуделю; и в самом деле противник был лихой рубака и дважды уже задел его по локтю, между тем как дядя косил направо и налево без всякого разбора. Счастье, однако, лучше уменья, — и дядя мой, рубнув с плеча, раздробил саблю,

¹¹³ Если русский не своротит с дороги, то катать его бичом в лоб! (Пер. автора.)

которая была уже на дороге короткого знакомства с его носом, и так стукнул противника в лоб рукояткою, что он рухнул в крови, не успев ахнуть. Нажив новую беду на руки, любезный дядюшка мой спешил ретироваться, покуда слуги суетились около вельможного. На беду пленный шляхтич, пользуясь замешательством, ударил до старого замка, то есть до лесу, а Зарубаев, потирая бока, докладывал, что он не знает дороги.

«Ступай куда глаза глядят!» — был приказ, а нагайка взвилась опять над бегунами.

Скоро потеряли они из виду место побоища, и солнце юркнуло за горизонт, будто только и ждало конца славных подвигов. Среди врагов, в местах незнакомых, в темную ночь — не слишком весело хоть какому рыцарю; но, что хуже всего, дядя мой чувствовал тогда страсть ужаснейшую всех прочих, ибо она не знает забвения, ни примирения и убивает в три дня, — страсть, которую в просторечии называют голодом! Вообразите же себе его радость, когда, обогнув лесок, он увидел невдалеке перед собою старинный польский замок и в окошках его освещение, достойное святой недели, которая в Польше есть настоящий праздник гостеприимства. Подъезжая ближе, он с изумлением заметил, что просека, ведущая ко въезду, заросла уже мелким березняком. Ограда во многих местах была осыпана, гнилые ворота лежали у вереи в крапиве, весь двор заглох дикими растениями, и самый палац разрушен по оконечностям; одним словом, все доказывало давнее запустение и необитаемость. Это поразило Зарубаева, и он сдержал коней.

«Ваше благородие! — сказал он, крестясь, — тут нечисто! В этих брошенных палатах могут стоять на постое только злые духи. По всему заметно, что здесь лет сорок не бывало живой души, а теперь в них говор, шум и пень. Если б сюда съехались крещеные люди, так были бы кони и повозки, — ведь одни киевские ведьмы летают на помеле. Не лучше ли, ваше благородие, переночевать в поле, а то не вынесем мы своих косточек!»

«Пошел хоть к самому сатане! — сердито закричал мой дядя. — Крестом или пестом у чертей и у людей можно всего добыть, и я так голоден, что готов вырвать ужин из пасти у медведя!»

Мигом перекатили они широкий двор, и дядя мой в сопровождении Зарубаева, который ни за что в свете не хотел остаться один, пустился ощупью отыскивать вход в залу, откуда неслись громкие голоса. Взбежав по полуразвалившейся лестнице во второй этаж, не без опасности сломить себе шею, в передней, наскоро превращенной в буфет, встретил он толпу суетливых слуг. Все они были в охотничьих платьях и, споря наперехват, кто услужит хуже, готовились нести ужин. Несколько свор и смычков собак лежали и прогуливались попарно, в ожидании добычи или подачи, и дядя заметил одного лакея, который тер блюдо хвостом борзой, между тем как она, ворча, грызла заячью косточку. Запах кушанья заставил его удвоить шаги — и вот он посреди залы, между множеством польских панов и дам, и в недоумении, к кому обратиться слово.

Появление русского латника исполинского роста, косой сажени в плечах, вооруженного с головы до шпор, в перчатках с раструбами по локоть, в сапожищах с крагами до полубедра и в суперверсе¹¹⁴ на груди с огромным орлом, что делало его весьма похожим на странствующий пограничный столб Московской губернии, а далее за ним, на благородном расстоянии, точно такая же фигура, ласкающая рукой эфес палаша, — изумили и даже испугали собрание. С беспокойством поглядывали поляки, нейдут ли вслед за этим передовым корпусом другие с примкнутыми штыками, затем, что время и место их сбора недаром могли казаться подозрительными. Наконец дядя мой, выбрав пана, у которого гордее всех была осанка, длиннее прочих усы и богаче пояс, изъяснился как мог, что он русский курьер, сбился с дороги и, зная польское гостеприимство, просит теперь хлеба-соли для себя и потом коней для службы государевой. К этому он придал глупость самого большого калибра: назвался племянником главнокомандующего — ложь, которая бывала

¹¹⁴ При императрице Екатерине II гвардейские кирасиры носили, во внутренний караул, суконное подобие кираса, с золотым шитым орлом; это-то называлось суперверсом. Во время рыцарства он надевался на латы, как чехол. (прим. автора)

ему доселе очень удачна для получения подвод, хороших ночлегов, и угождений, и угощений.

«А-а! — сказал вельможный, потирая руки, — милости просим! Мы весьма рады папу племяннику главнокомандующего».

Эта новость обтекла в одно мгновение ока вокруг залы, и все, наиболее дамы, столпились около дяди моего, измеряя его глазами, как страсбургскую колокольню.

«Но позвольте спросить, где ваша подорожная?» — спросил ласково хозяин.

«Вот здесь», — отвечал дядя мой, опустив руку в лосиные панталоны и вытаскивая трехпечатный лист.

Взглянув на него, поляки успокоились, веселость возвратилась, и, рады не рады неожиданному гостю, усадили, однако ж, его за стол рядом с очень милою дамою, и все беды, все страхи исчезли из головы моего дяди точно так же, как яства с его тарелки, а вино из серебряной стопы, в которую лукавый сосед не уставал подливать беспрестанно. Успокоив первые вопли желудка, дядя пустил глаза на волю. В самом деле, все, что ни окружало его, вовсе не походило на вещи здешнего мира: огромная зала, расписанная плесенью *al fresco*¹¹⁵, грозила падением, потолок был выпучен волнами, карнизы, украшенные паутиной, начинали обваливаться, и выбитые окна на этот вечер завешены были коврами, попонами, даже плащами охотников. Только на столе стояло несколько подсвечников, но по стенам воткнуты были охотничьи ножи и на них пылали факелы. На одной из стен висел ряд фамильных портретов, мужчин и женщин попеременно: это безмолвная летопись ничтожности человеческой. Краснощекие красавицы, перетянутые, как муравей, и обвешанные рядами кружев, на высоких золоченых каблуках, нежно косили глазки на букет чудесных цветов с серебряными листиками, наверно подарок женихов, потому что в старину девушки принимали подарки только от женихов. Усатые, бритоголовые паны с длинным чубом на маковке, иные в латах, грозно держась за саблю, другие в расшитых кафтанах и кунтушах, миролюбиво размещая пальцы по квартирам между алмазных пуговиц, беспечною своею физиономией) и двойным подбородком невольно возбуждали аппетит, и дядя очень остроумно заметил, что старики не без намерения вешали портреты свои в столовых: любя попить в жизни, они и по смерти давали потомкам охоту к тому же. В мебели представлялись остовы многих веков от самого потопа. Там широкие кресла протягивали одну ручку, будто прося милостыни, между тем как на вышитой спинке трепетались лоскутки прежнего величия. Там долговязый точеный стул качался на трех ножках, потеряв остальную в каком-нибудь домашнем сражении, и все они, разного роста, цвета и вида, на утиных и кривых собачьих ножках, с высокими и низкими задниками, под блеклой позолотой или из дуба, источенного червями, казалось, сбежались туда со всех чердаков, как на толкучий рынок или в инвалидный дом заслуженных утварей. Сбор гостей был не менее чудесен: они казались живыми списками висящих по стенам портретов, и все покрой платьев, начиная от короля Ляшка Белого, имели на них свое место. Многие молодые люди носили, однако ж, завитые волосы, и французские шитые жилеты сверкали из-под их двурукавных кунтушей. Хозяин, видя, что дядя мой изумляется, окидывая глазами гостей, и комнату, и уборы, поспешил успокоить на этот счет его любопытство.

«Не дивитесь, любезный ротмистр, — сказал он (поляки любят производить в чины), — что видите нас в этих развалившихся стенах. Трава сегодня с соседями медведя, я избрал этот давно уже покинутый палац местом отдыха после охоты, по близости его к лесу, где мы полевали. Не дивитесь и тому, что прекрасное это здание заброшено в пользу нетопырей; я расскажу вам о том историю».

Надобно вам сказать, что полвека тому назад дом этот сиял как алмаз и был как полная чаша. Им владел тогда граф Фелициан Глемба, родственник мой по женской линии, человек страх богатый деньгами, но еще более прихотями и страстями. Он был женат на

¹¹⁵ В манере фрески (ит.)

единственной наследнице дома Тарлов, женщине очень умной и прекрасной, но, по обычаю всех славянских жен, чрезвычайно своенравной и повелительной. Чтобы рассеяться немножко от домашнего благополучия, он уехал за границу, обрыскал всю Европу, дурачился везде как нельзя более, влюблялся по пяти раз на день, дрался на поединках без счету и, наконец, истощив наличные деньги и здоровье, воротился домой с новыми долгами и застарелыми пороками. Несколько лет после того протекло довольно тихо, потому что жена была ревнива — равно к его сердцу и карману — и держала молодца, что называется, в ежовых перчатках, — и он вообще боялся ее больше всего на свете.

Вот в одну осеннюю ночь какой-то всадник прискакал на вороном коне к воротам замка и просил ночлега, уверяя, что он имеет сообщить графу весьма важные вещи. Разумеется, велено просить гостя к ужину, и граф с удивлением заметил в чертах незнакомца что-то очень знакомое; но как путешествия и связи его были обширны, то он никак не мог припомнить, где он его видел. Неизвестный ел мало, говорил еще менее, поглядывал на графа исподлобья так мрачно, что у него сжималось сердце, и, наконец, для открытия тайны, просил особого свидания. Ему назначили для ночлега дубовую комнату, и через полчаса явился туда и Глемба. Нельзя описать внезапный страх его, когда вместо незнакомца мужчины он нашел слишком знакомую ему женщину, синьору Бианку Менотти, которую обольстил он, увез от отца, тайно женился на ней и потом бросил, и забыл в каком-то немецком городе. Она, как водится, плакала, укоряла и, наконец, объявила, что если он не признает ее за жену свою, то, не могши утешаться его любовью, она найдет отраду в мести, что она итальянка и знает средство обнародовать его вероломные и незаконные поступки, что она не пожалеет даже пролить кровь или отравить изменника, для которого забыла она невинность, дом отеческий, родину и родных и долгие лета разлуки скиталась в чужбине без имени и пристанища. Граф притворился, будто разнежился до слез, и, трепеща, чтобы его не подслушали, дал Иудин поцелуй примирения обманутой итальянке. Все, все обещал он: развестись с первою женою, признать ее, любить верно и горячо, и между тем как Бианка всему верила (влюбленное сердце так доверчиво), он вращал в голове кровавые замыслы: сжить с рук опасного свидетеля и увядшую, постылую любовницу. Медлить было невозможно; он страшился ревности настоящей супруги более ада, — и скоро созрел губительный умысел в душе порочной. Ласками усыпил оп легковерную; потихоньку оторвал от оконного переплета листок свинцу, растопил его на свече в серебряной ложке и приблизился к сонной жертве своей. Руки его дрожали, совесть громко вопияла: «Удержись!» — по страх позора, но боязнь преследований итальянки и вечных укоров жены перемогли все: кипящий свинец канул в ухо Бианки, и жизнь ее прервалась одним вздохом.

Совершив злодеяние, граф позвал ловчего, всегдашнего поверенного его проказ; вместе с ним выбросили труп за окно и зарыли тут же под деревом. На другой день оп сказал жене, что это был обманщик, хотевший выманить у него денег, и, получив отказ, оп убрался до свету. Никто и не думал заботиться о человеке, который так же скрытно уехал, как прибыл; одним словом, все, кажется, было улажено, — и концы в воду; по кровь не смывается ничем. Каждую полночь стали мечтаться графу привидения; бессонница высосала его; совесть преследовала повсюду. Уверяли, впрочем, будто и всем домашним чудилась женщина в белом платье, с распущенными волосами: она медленно выходила из дубовой комнаты, пробегала весь замок и, встретив графа, грозил ему перстом, указывала на небо и потом исчезала. Гонимый раскаянием, терзаемый призраками, Глемба вдруг покинул дом этот, вскоре заболел горячкою, высказал в бреду ужасные подробности преступления — и умер.

С той поры на замок легла печать отвержения. Село, бывшее вблизи, рассеялось, дороги поросли кустарником, и доселе так еще сильно поверье, будто здесь живут духи и прогуливаются мертвецы, что дровосек, не ждя вечера, выезжает домой из окрестностей и охотник, хотя бы ему попался пестрый зубр, не погонится за ним под ночь в соседние кущи. Мы, однако же, надеясь на учтивость привидений, решились попить здесь после подвигов травли и повторяем, пане ротмистже, весьма рады случаю, что вы вместо пустых стен нашли здесь сытный стол, вместо бледных покойников — краснощеких весельчаков,

готовых пить и любить... от пана до пана!»

Между собеседниками пошли разные толки: кто улыбался, кто морщился, однако все стали поговаривать, что пора ехать. Но заздравные кубки кружились, и все тайны всплывали на верх вина, как масло, мало-помалу. Дядя мой плохо понимал по-польски и вовсе не разумел по-латыни, но и он заметил нечто неприязненное к имени русских. Толковали о всеобщем восстании в Варшаве, о том, что везде исполняется то же. Взоры гостей сверкали, восклицания становились шумнее и воинственнее; наконец тост: «Pereat Stanislas, pereat Moscovia!»¹¹⁶ загремел так, что дрогнули стены. Многие вскочили, другие пили, стуча саблями о стол, хрусталь летел на пол, — и дядя мой, не понимая ни крошки, подтянул хору и, во всей чистоте души, осушил стопу свою.

В промежутках между чарами он не забывал, однако ж, своей соседки: смешил ее, ломая польский язык, без милости, забавляя рассказами о России, льстил как умел, — и ему казалось, что ему отвечают. Вкусы у женщин причудливы, и недурной мужчина двух аршин и двенадцати вершков роста имеет свои достоинства, будь он латыш, не только русский; политические же распри не входят в расчет женских склонностей, — на этом пункте они истинные космополиты, — и пана племянника главнокомандующего нашли бардзо пршиемным! Ободренный огневými взорами милой польки и переполненный через край любовью и венгерским, дядя мой решился на объяснение. Должно полагать, что его речь была подобие Цицероновой «Pro Miloce»;¹¹⁷ он сам был очень растроган, ибо первый почувствовал силу собственного красноречия, и в самой середине изъяснения, желая вздохнуть, — зевнул до ушей, нежно взглянул на прекрасную вполглаза — и заснул богатырским сном.

Судя по высоте месяца, было за полночь, когда он пробудился; в ушах его звенел еще говор ужина, — но, открыв глаза, он чрезвычайно удивился, видя, что сидит один-одинехонек. Все было кругом в мертвом молчании; гости исчезли и никакого следа пирушки, кроме обнаженного стола и опрокинутых стульев! Дядя мой не раз протирает глаза, щупая себя за желудок и щипля за ухо, чтобы увериться, точно ли он испытал все ото во сне. И все-таки сомнение не покидало его. Зачем поляки были здесь и куда девались, не разбудя его? Люди были это или злые духи изволили забавляться над ним? И ежели злые духи, подумал дядя, то неужели разлетелись они от пения жареного петуха, которого не успел он начать? Предполагать же петухов живых никак нельзя было в окрестности. Полный месяц ясно светил в полые окна, и морозный ветерок, чтобы не сказать — дума о мертвецах, русалках и домовых, которыми набожно набивали его голову с малолетства, заставили героя пожалеть: ему вовсе не было охоты провести ночь в этом чертовом решете. Мурашки бегали по ретивому, да и портреты поляков, которые за час он находил так миловидными, хмурили брови, сторожили его страшными глазами и, колеблемые ветром, казалось, хотели выпрыгнуть из рам и разделаться с незванным посетителем по-свойски.

Найдя свой плащ в углу и завертываясь в него, он заметил, что при нем нет уже ни палаша, ни пистолетов. Эта потеря поразила его как гром; без оружия он вовсе опустил крылья и опрометью кинулся к выходу, трепеща звука собственных шпор. Первый шаг за дверь — и дядя мой был уже на полу, запнувшись за какое-то мертвое тело, — но ужас его дошел до невероятной степени, когда в нем он узнал Зарубаева, исколотого и плавающего в крови. Верный служивый был еще жив; он распознал своего поручика, собрал последние силы, приподнялся на локоть и через два слова в третье рассказал ему, что он не покидал во все время ужина своего поста у дверей, видел, как заснул дядя мой, слышал, как поляки хотели связать и с торжеством везти в Варшаву племянника главнокомандующего; но хозяин настаивал, что он берет его к себе на поруки и что стыдно платить унижением человеку,

¹¹⁶ Да сгинет Станислав, да сгинет Москва! (лат.)

¹¹⁷ «В защиту Милона» (лат.)

пришедшему просить гостеприимства. На беду прискакал шляхтич с вестью к одному из вельможных, что родной брат его умирает, раненный в пути русским курьером, и, узнав их обоих, указал как на убийц и разбойников. Тогда хмельные-паны разъярились, и, несмотря на все увещания доброго хозяина, сабли засверкали над головою сонного дяди. Зарубаев кинулся защищать его, спустил курок по одному и саблей сбил еще двоих, но был в минуту изрублен сотнею клинков и, падая, видел, как распахнулись на другом конце залы заколоченные двери — и вышла женщина в белом платье, бледная как смерть... Завидя ее, поляки стихли, сабли опустились, и все кинулись вон, давя друг друга, побросались на копей и ускакали, восклицая: «Фантом, фантом!» После этого он потерял память.

«И теперь умираю молодцом, — прибавил Зарубаев, силясь перекреститься, — солдату всегда пора умереть, а тому и подавно кстати, кто выкупил свою душу парюю вражеских; у меня же ни роду, ни племени! Велите, ваше благородие, отслужить только по мне панихиду, и пусть товарищи выпьют за мою грешную душу на поминках, — деньги в артели!»

С этим словом он упал, вытянулся в последний раз по-солдатски, — и баста. Дядя ждал, не очнется ли добрый товарищ, но труп холодел постепенно; и он, уронив пару слез на убитого, удалился искать себе приюта и безопасности. Смущен сердцем и не видя ничего в темноте, он никак не мог найти выхода: из коридора попадал он в комнату, из ряда комнат в сени, оттуда на лестницу, там на другую, — это его утомило. Он бросился в первую встречную горницу и, найдя там древнюю запыленную кровать, растянулся на ней, жмуря глаза, с твердою решимостью заснуть до света; но сон бежал от глаз дяди: труп Зарубаева и рассказы о белом привидении неотступно ходили кругом. Для развлечения он стал рассматривать комнату чудного своего ночлега.

Она вся убрана была дубом под тяжелою резьбою; высокие панели и широкие наличники, на коих хитро сплетались фантастические головы зверей, птиц и людей, долго занимали его. Казалось, под каждой рамкой скрывался шарнир, готовый повернуться и выпустить из-за себя какое-нибудь привидение или по крайней мере убийцу. Разбитое зеркало, тусклое от дождей, будто манило мертвецов поглядеться в себя. Старая дверь скрипела так жалобно, так заунывно, словно оплакивала своего жильца, и лестница, едва озаренная луною, казалось, вела прямо в преисподнюю. К этому же сырые стены пахли могилой, и флюгер, качаясь на ржавом стержне, царапал дядю по сердцу; ему стало жарко и холодно, когда он вспомнил, что это должна быть роковая дубовая комната и на кровати, на которой лежал он, умерла несчастная Бианка! При этой мысли он вздернул плащ себе на голову, но обнажил ноги; потом, желая обернуть ноги, обнажил плечи, и, наконец, после многих перемен одного и того же, проклиная портных, он свернулся в крендель, под епанчою, и таким образом, герметически закупоренный от влияния духов, заснул, потя как губка.

Вино и молодость, подобно пружине, уступают на миг силе, но потом разыгрываются по-прежнему. Вино и молодость забушевали опять в сердце моего дяди, хотя он находился в тех же тисках. Ему снилось, будто он еще за столом и прелестная соседка шепчет ему: «В дубовой комнате, в полночь!» — и палец таинственно сомкнул милые уста... И вот он на пыльной кровати, ждет-пождет красавицу... Ему дремлет, — тяжкий сон клонит к подушке. Но вот скрипнули половицы под легкою ножкою... Кто-то смотрит ему в очи; жаркое прерывное дыхание горит на его щеке, с биением сердца простирает он руки... и тут проснулся в самом деле. И в самом деле, рядом с ним лежала прекрасная полька и при закрытой туманом лупе спала крепким сном. Голова пошла вальсировать у моего дяди, сердце вскипело, как неудержимая пена шампанского, — он невзвидел света от восторга!..

Когда рассеялся чад упоения, облако сбежало с месяца, и он как день озарил всю комнату. Красавица лежала в томном забытьи; дядя мой снова взглянул на нее, и волосы его стали дыбом, мороз проник в самое сердце костей — это была женщина-мертвец!!

Могильная бледность заменяла на щеках ее румянец жизни, кровь не двигалась в жилах, дыханье не вздымало груди, и страшны были синеющие глаза ее без зрачков, — так по крайней мере предполагал дядя, потому что они были закрыты. Он уверял даже, что

собственным своим носом чувствовал, как от нее пахло гробовой доскою, — и я верю ему тем более, что он клялся только за картами. Как бы то ни было, господа, я сам согласился бы скорее жарить ручные гранаты вместо каштанов, чем разделять ложе с выходцем того света! И бедный дядя мой, молясь всем угодникам, желал бы спрятаться в свой карман, если бы это было возможно.

Но вот скелет поднялся с кровати; говорю — скелет, потому что дядя мой очень явственно слышал бряканье косточек, вероятно собранных на проволоке, и на месяце белое платье ее сквозило, будто надетое на вешалку. Женщина-скелет подошла к окну, закрыла себе лицо рукою, будто стыдясь чего-то, потом потерла себя по лбу, словно рассуждая, из чего мой дядя заключил, что у жителей могил точно такие же телодвижения, как и по сию сторону гроба. Потом она приблизилась к дяде, и тот, воображая, что она начнет его грызть для препровождения времени, закрыл глаза и предался на божию волю. Привидение удовольствовалось, однако ж, одним поцелуем, — и дядя клялся, что с той поры щека эта стала у него отмерзать при самом обыкновенном холоде. Потом она дала знак рукою за нею последовать, и, как осужденный, побрел оп вслед за белым привидением. Сошли с лестницы, прошли темный переход, и ему мнилось уж, что оборотень заведет его в какой-нибудь погреб и оставит в глубине на съедение мышам, как польского короля Попела. Долго не мог он отвести души, вышедши и на свежий воздух; однако же ободрился, увидя, что вожатая вовсе не хотела ему зла; он готов уже был с нею раскланяться, когда она стала говорить ему гробовым голосом. Дядя мой не знал, по несчастью, ни одного чернокнижного наречия и потому стоял перед нею выпуча глаза. Видя, что он ничего не понимает, она указала ему дорожку влево, послала прощальный поцелуй рукою и исчезла в воздухе, оставя после себя серный запах, как ракета. Дядя отдохнул, перекрестился обеими руками и побрел далее, мыкать горе, не зная где пройти и куда выйти. Не удалился еще он двухсот шагов от замка, как ему послышались крики и потом погоня, и скоро заблистали огни по окнам. В ту же самую минуту человек дикого вида, в зеленой куртке, с огромным ножом на поясе, с двухствольным ружьем на плече и с легавою собакою у ног, заступил ему дорогу.

«Кто ты? — спросил изумившийся дядя. — Друг или недруг?»

«Доверься мне, и ты узнаешь, — отвечал угрюмый незнакомец. — Взгляни туда, — тебя ищут, назади верная гибель; впереди — сомнительная опасность. Следуй за мною!»

И, не дожидаясь ответа, врзался в обнаженную от листьев чащу.

Дядя мой шел следом, собака бегала кругом, заменяя патрули и ведеты. Давно уже закатился месяц, и кирасир наш, в тяжелых ботфорах, перелезая через пни, бродясь через речки, едва тащил ноги свои и пыхтел как вольнка. Незнакомец отрывисто отвечал на вопросы и скоро шел далее и далее. Наконец собака залаяла... Лес стал редеть, — и вот увидели они на поляне потухающие огни биваков. Но русские то или поляки? — вот задача!.. Встретиться с последними — значило попасть из огня в полымя... а провожатый что-то очень подозрителен!..

«Кто идет?» — раздалось в цепи, и человек в зеленой куртке, сжав по-дружески руку спасенному им дяде, скрылся в лесу, не слушая никаких благодарений.

«Кто идет? Говори, или убью!» — закричал часовой вторично, и слышно было, как он ударил ружьем в руку, прицеливаясь.

«Русский, ей-богу, русский!» — отвечал дядя мой, и казачий объезд наскочил на него, воображая, что поляки покушаются на ночную атаку.

Можете вообразить себе радость, когда увиделся он с земляками и со знакомыми! Отрядом командовал подполковник Тучков. Великодушие полек спасло жизнь многим русским офицерам; любовь спасла артиллерийскую роту Тучкова. Одна шляхтянка любила страстно фейерверкера этой роты, известила его об опасности, тот кинулся к начальнику. Тучков в ту же минуту ударил сбор и, присоединяя к себе рассеянные побоищем кучки, успел уйти из окрестностей Варшавы, беспрестанно сражаясь и беспрестанно отстреливаясь. Тут, господа, кончатся похождения моего дяди; случаи войны не принадлежат к нему, да и без них рассказ мой имеет в себе слишком много северной долготы.

— И дядюшка ваш так был поражен этим, что пошел в монастырь? — спросил сфинкс в зеленом сюртуке.

— В монастырь, — отвечал артиллерист, снова закуривая трубку, — только ровно тридцать лет спустя, когда он имел несчастье потерять имение и зубы.

— Но неужели он не был довольно любопытен, чтобы расспросить у человека с двухствольным ружьем или хоть у двунозой его собаки, почему он спасает его ни дай ни вынеси и так удачно, кстати? — спросил гвардейский капитан.

— Прошу извинить, капитан, — возразил артиллерист, — дядя мой не забыл этого, и добрый вожатый вкратце, но ясно разгадал ему все. Он был киевлянин, то есть полуполяк-полурусский, женился в Риге на немке из любви, не имея ни гроша за душой и ни пяди земли в подсолнечной. Но будучи лихим стрелком, он воспользовался слухами о привидениях в замке и поселился там с женою, охотясь в окрестности и продавая дичь в ближнем местечке. Боясь, чтобы смелость польских панов, которые съехались туда на совещание об истреблении русских, не была примером для других, он с женою согласился пугнуть их порядком: она набелилась, надела белое платье и, видя, что дядю моего хотят изрубить сонного, вбежала с ужасающим криком в залу, в самую минуту свалки. Паны разбежались от страха. Желая вовсе спасти его от преследований, которые не замедлили бы конечно, когда образуются беглецы, она упросила мужа проводить его к русским, о приближении которых носились слухи. Прочее вы можете, господа, разгадать сами.

— Это слишком обыкновенная развязка, — сказал таинственный человек со вздохом.

— В другой раз я вас угощу такую страшную повестью, — отвечал артиллерист с иронической усмешкой, — что не только ведьма станет творить молитву, сидя на трубе, по словам баллады, но даже нерожденные младенцы перекрестятся во чреве матернем и все нянюшки вздрогнут спросонок.

— Теперь ваша очередь что-нибудь рассказать, — сказал драгунский капитан соседу своему, молодому гусарскому офицеру, который, завернув носик в меховой воротник ментика, из лени или от слабости, во все это время не вымолвил ни слова и потому не обращал на себя внимания, — гусарская ташка — арсенал любовных писем и чудных или забавных выдумок и приключений.

— Не лучше ли идти спать? — возразил гусар. — Вам, наверное, во сие приснится более занимательного, чем вы можете услышать от меня.

Разумеется, возражения задождали отовсюду.

— Сон своим чередом, — говорили одни.

— Завтра ни мое, ни ваше, — толковали другие.

— Хоть лепту в казну общего удовольствия, — возглашали все хором.

Гусар сдался.

— Господа! — сказал он, — я расскажу вам случай, который имеет только два достоинства: во-первых, он не выдумка, во-вторых, он краток. Ему-то благодаря я принужден был приехать сюда лечиться. Прошу прослушать.

Три года тому назад полк наш переходил на новые квартиры в Гродненскую губернию. Это было в августе месяце, то есть в самую веселую пору для сельских жителей. Поляки везде встречали нас радушно, и каждая дневка наверно знаменовалась балом или обедом у которого-нибудь из панов окрестных. Всякий военный сознается, что нигде нельзя найти большего удовольствия, как в польском обществе. Гостеприимство мужчин, остроумие женщин, непринужденная веселость и эта светская образованность или по крайней мере товарищеские приемы во всех невольны вас очаровывают, и вы довольны с самыми малыми средствами. Прибавьте к этому тысячи развлечений: охоту, стрельбу, катанье, гулянье, танцы и любовь — стихию польских дам, — и вы не удивитесь, что русские воздыхают об этом крае, обетованном для юношей. Я сам не любил терять времени за картами или за трубкою, и каждый часок, на который мог урваться от службы, конечно, посвящен был прекрасному полу. Бывало, устав от похода, скачешь за несколько миль, чтобы рассидеть вечерок или отгрязнуть мазурку с милою дамою, которую видишь в первый, а может быть, и в последний

раз. Чуть завидя на балконе вьющиеся ленты, перья или платья — сейчас кивер зверски набекрень, бурку наопашь, и скачешь во весь опор к крыльцу, молодецки осаживаешь коня с лансады, и прежде чем хвост ляжет на землю, я уже на третьей ступени. Входишь, бывало, котом — что костей не слышать, раскланиваешься, представляешь самого себя хозяевам, режешь по-польски, не краснея, — и пошла потеха! Гитара настраивается, фортепьяна звучат, — и вместо флейты аккомпанемент из нежных вздохов. В промежутках толкую с матерью о хозяйстве, рассказываю дочерям новый роман Вальтер Скотта, не забывая главы из собственного, хвалю и цитирую молодым людям польские непечатные стихи и восхищаюсь с отцом славою Косцюшки. Добрый старик со слезами патриотизма говорит об отчизне своей, ищет сабли, не может забыть Наполеонова гения, любезности французов и вкуса венгерского вина, от которого у него осталась в ногах подагра, а парижские союзники в погребе его оставили одни черепки. Но все веселы, все довольны, и время летит на крыльях забавы.

Однажды, подходя к одной мызе, меня встретил наш эскадронный квартиргер, по обыкновению на маленькой обывательской лошадке, так что издали казалось, будто у нее шесть ног.

«Знатная квартира, ваше благородие, — сказал он мне, снимая фуражку, — конюшня чище горницы, речка у ворот для водопою, и соломы в пояс».

«Есть ли паненки?»

«Целых три, ваше благородие».

«И хороши?»

«Что твой месяц, ваше благородие, кровь с молоком! Одна другой чище, одна другой дороднее, так что глаза разбегаются. Одна беда: они собираются ехать верст за десять к дядюшке на именины».

Признаться, вкус и похвалы квартиргера мне были весьма сомнительны, и, зашедши на минуту к хозяину, я уверился, что предчувствия мои не напрасны: три дюжие панны, разряженные в пух и перья, мне вовсе не понравились; в формах тела, как и в поэзии, я люблю что-то неопределенное, и я очень охотно принял предложение ехать с ними в гости, поискать инде счастья. Переодевшись, я поскакал вслед за болтливую их линейкою, и через час мы были уже у пана Листвинского, доброго старосветского поляка, куда съехалось довольно соседей и соседок. Между последними я встретил одну даму, знакомую мне еще в Вильне, которая имела все потребные качества, чтобы свести с ума самого хладнокровного человека: каждая шутка ее была мила и колка, подобно розе, а взгляды — настоящий греческий огонь. Подле нее за столом, преследуя ее в саду, безотвязен в танцах, я ничего не видел, кроме приманчивой знакомки своей, и не заметил, как минул день и вечер. Перед ужином, по моде, многие разъехались; по обычаю, многие остались ночевать. Меня все уговаривали последовать благому примеру, — а пуще всех сердце; но зная, что завтра мне достанется в дежурство, я не мог и не хотел согласиться. К виленской красавице каждые полчаса приходили с докладом, что собираются тучи, что будет гроза, что крапает дождик... Я понимал, что это значит, — она упрашивала остаться, но я скрепил сердце и был непреклонен. Упрямство нравится женщинам, и эта выходка пригодились бы мне вперед. Она уверяла меня, что я промокну, простужусь, могу заблудиться или попасть в реку; что лес, через который мне должно ехать, теперь небезопасен от беглых, ставших разбойниками. Я возражал, что простуда будет спасительна пылкому сердцу; что купанье в реке может излечить меня, как пучина Левкада; что все разбойники в свете мне менее страшны, чем жестокая женщина; наконец, что долг службы и самое благоразумие требуют моего удаления, — и завтра, может быть, я буду не в состоянии оторваться от ног ее. Станет, в этих словах было немного и правды, но все шло за шутку; она смеялась, я был грустен и радостен в одно время, и, наконец, зловещая кукушка выпрыгнула с шумом из дверец стальных часов, прокуковала двенадцать и скрылась. Душа во мне замерла; я стал прощаться.

«Ветер ужасный, дождь идет ливнем», — сказали мне.

«И все-таки я еду!»

«Но темнота, но звери, но разбойники?»

«Русский ничего не боится! Коня!» — и с этим словом я уж был на крыльце. Все вышли провожать меня, упрекая в упрямстве; я отдал поклоны кому следовало, бросил значащий взор красавице моей — и ногу в стремя, и шпоры в бок, и через четверть часа уже был в дремучем лесу.

Я долго мыкался по белому свету, много странствовал в чужбине и в отечестве, но нигде, даже в самой Сибири, не видал таких густых лесов, как в Литве. Бывало, охотясь за дичью, зайдешь в такую чащу и глубь, куда от века не проникал солнечный луч, ни крыло ветра. Во многих местах растаявшие снега образуют глубокие болота и огромные деревья кажутся водяными растениями. В других сосны глеют на корне, не имея простора упасть. Толстые пни лежат под мохом и травой, как трупы великанов, и мертвое молчание нарушается только стуком дятла по дуплистому дубу или гробовым карканьем ворона, которого тень налетает на вас и наводит невольный трепет. В таком точно лесу ехал я. Буря уже затихла; один мелкий дождь роптал, пробираясь по листьям, и звук подков, бьющих о корни елей, которые змеями перевивались через тропинку, далеко раздавался по бору. Мне казалось днем, что я хорошо заметил дорогу, но, судя по времени, давно бы уже следовало быть дома; ехал, ехал, а селения нет как нет! Передо мной едва светлела узкая тропа, а над головой низко склонялся свод неба, отягченный тучами. Наконец заметил я, что лес редет, и скоро почувствовал, что конь мой бежит по траве, потом по вязкой почве, потом вовсе по болоту. Удивленный тем, я слез долой и уверился, что битая дорога потеряна. Куда идти? Позади чернел бор, впереди слышалось журчанье речки, и я побрел к ней по затопленному лугу, таща в поводу коня своего. Достигнув берега, мне показалось, на той стороне разбросана деревня; как теперь гляжу — заборы, кровли и трубы обрисовывались во мраке; в одном окне виднелся огонек, и под ним стоял патронный ящик — верный признак квартиры эскадронного командира. Мне чудилось даже, будто я различаю, как подле ящика расхаживает часовой, как возникает на ветре ночной переклик его слушай! — а потом сливается с безмолвием ночи.

Несколько раз кричал я часовому, но все было тихо. Прислушиваюсь: только паденье дождя, только шумок лопающих в речке пузырьков и журчанье быстрины, пробивающейся сквозь рыболовную заколь, отвечало мне. Воображая, что голос мой не достигает ни до часового, ни до селения, погруженного в мертвый сон, я решился переправиться через реку во что бы ни стало. Сон и усталость одолевали меня, и, кроме того, я был промочен с ног и с плеч. Так наша братия, дорожа подчас жизнью в случаях важнейших, где нередко выгоды и слава ожидают отважного, иногда готовы рисковать ею за один час успокоения, из одной нетерпеливости или прихоти. Речка была не широка, но глубока, и я решился перебраться ее по шаткому плетню заколи. Пудель мой переплыл первый и визгом звал на другую сторону; зато я насилу мог согнать в воду коня: он храпел и упирался на плаву; между тем как я осторожно переступал по сучьям, беспрестанно изменяющим ноге, он уздой тащил меня то вперед, то в сторону. На самой середине, где вода кипела через плетень, обманутый тенью, я оступился и ухнул в воду выше колена. К счастью, другая нога удержала меня, я кое-как справился и, хватаясь за верхи кольев, торчащих из воды, добрался до другого берега, хоть мокрым, но жив. Едва ступил я на суходол — создания мечты моей рассеялись: нет ни селения, ни зарядного ящика, ни часового; все дичь, и лес, и пустыня кругом; но огонек точно мелькал между ветвями и согрел во мне надежду найти какую-нибудь избушку для приюта.

Спешу туда, приближаюсь, — и что же? То была ветхая униатская часовня с деревянным крестом наверху, и из ее-то маленького окошечка едва лилось слабое сияние лампы.

Я привязал коня за угол и толкнул железом кованые двери; они растворились — и глазам моим представился гроб и в нем покойник, покрытый саваном.

Как ни был я чужд предрассудков, но такая нежданная встреча неприятно изумила меня. Сама природа вложила в нас таинственный ужас при виде разрушения себе подобных и нас самих ожидающего. Но так как в свете нет вещей, к которым не привыкло бы

воображение, особенно подкрепленное неизбежностью, то, раздумав хорошенько, что ночевать под кровлею все-таки лучше, нежели мокнуть в грязи, что находка моя нисколько не чудесна, потому что и у нас, русских, и у литвинов-униатов выносят всегда покойников из деревень в церковь или в часовню, и, наконец, что мертвое тело есть не более как глыба земли и, конечно, не побеспокоит меня своим соседством, — я стоически бросил свою мокрую бурку в угол и улегся как мог, закрыв плечи сухим углом ее, и положил в голову пуделя, верного товарища в трудах и забавах. К удовольствию моему, почувствовал я, что небольшая печка, сложенная, вероятно, для разжигания углей в кадило, была топлена и разливала кругом приятную теплоту. Одно показалось мне странно — из нее пахло жарким, а покойники, сколько мне было известно, не ужинают! Но чтец и караульщик могли, поминая покойного, не забыть и свое человечество; так мудрено ли, что вздумали наутро упитать наемную печаль свою куском баранины? В этих мыслях начал я засыпать... Воображение гуляло бог знает где; мысли путались и бледнели; как вдруг пудель мой заворчал, и очень сердито. Я взглянул вполглаза на гроб, и мне показалось, будто мертвец приподнимает голову; долго и пристально смотрел я, но теперь он был вновь неподвижен, и плотно, закрывавшее лицо его, лежало спокойно, не волнуясь даже от ветра. Лампада перед образом меркла и тускнела, почти погасая, — и мрак, обступая меня, стал проливать какой-то неведомый страх в сердце. Привидения всегда заводятся в темноте, как червячки в лимбургском сыре; это испытал, я думаю, всякий, и человеческая храбрость в этом отношении едва ли не закатывается вместе с солнцем на другое полушарие. Иной молодец, насмехаясь над сказками и причудами, в полдень грозитя поймать черта за хвост, если бы он дерзнул к нему явиться, а в полночь за версту обходит кладбище и сердце у него бьет тревогу от полета летучей мыши. Признаюсь откровенно, что необыкновенная охота покойника заглянуть мне в лицо, а может быть, и откусить мне голову, как маковку, сначала весьма меня встревожила. Вся эта сцена была точь-в-точь как в «Светлане» Жуковского, но я не видал вблизи голубка-хранителя, который мог бы защитить меня от зубов кровопийцы. Однако же мало-помалу уверенность возвратилась.

Что до мертвых, что до гроба? Мертвых дом — земли утроба, — сказал я самому себе и обернулся к стене. От прелестных стихов Жуковского, где месяц светит и мертвец едет, мысль моя на Астольфовом гиппогрифе залетела на луну, на которой, говорят, живут люди, которые пьют воздух и строят стены от ветра. Отдохнув в этой гостинице земли, как сказано в отчете о луне, с нее сквозь Гершелев телескоп и через Петербургскую обсерваторию прыгнул я на материк подле биржи. Биржа напомнила мне свежие устрицы; от них перешел я к патриотическому желанию, чтобы у нас удабривали поля устричными раковинами, для экономии; потом вздумал о превосходстве многопольной методы; потом о капусте вообще и о свекловице в особенности; с этим связалась идея континентальной системы; потом идея о скале св. Елены; потом о супе из костей графа Румфорда, сваренном на дыму чужой трубы; потом о курении вина в деревянных чанах; потом о просвещении в России; далее о карманной паровой машине, хозяйственно приспособленной к действию зубочистки; далее, по странному сцеплению мыслей, о поездке на пароходе в Кронштадт с прелестною англичанкою; с него прыгнул я в Ост-Индию, взглянул на прядильные машины, которыми британцы тянут целый свет в свою нитку; потом подумал о коварной их политике, о сдаче Праги, бомбардировании Копенгагена, о греческом восстании, о лорде Байроне; потом о скаковых лошадях, до которых все великие поэты были страстные охотники, — потом, господа, все это вместе могло бы составить заглавный листок «Телеграфа» и, верно, усыпило бы вас так же, как усыпило оно меня. Очень помню, что последний образ, с которым окунулся я в сонную Лету, был милая виленская дама, — и только. Должно полагать, пестрая моя дума крепко и глубоко усыпила меня, потому что хотя я и не однажды слышал ворчанье и громкий лай собаки, лежащей у меня вместо подушки, но никак не мог открыть глаз. Наконец пудель с визгом выпрыгнул из-под головы моей, и я, испуганный, вскочил на ноги. Вообразите, какая картина была передо мной; мертвец злобного лица, со сверкающими очами и с ножом в руке, порывался ко мне, между тем как пудель грыз его, ухватя за горло.

Кровь ручьем бежала по савану, и он с проклятиями и глухим стоном боли боролся с остервенившимся животным, а оно, хотя два раза пораженное ножом, не покидало своего противника. В то же самое время я увидел за печью бородатое лицо другого разбойника, который целил в меня из ружья; и еще двое, подняв доску подполья, готовились вылезать на помощь к товарищам... Еще миг — и было бы поздно! Раздумывать некогда, а защищаться нечем: я имел неосторожность в одном доломане, без сабли, выехать из дому.

К счастью, в руке моей был плетеный хлыст с тяжелою бронзовой рукояткой, — и им-то со всего размаху ударил я в голову одетого в саван злодея; он зашатался, упал, и я через него кинулся в двери. Выстрел и другой полетели вслед, но оба ударились в притолоку. Спрыгнул опроретью со схода — и к лошади... За повод — он затянут узлом; тороплюсь — и путаю крепче; рву — не рвется!! Убийцы за мной, — но отчаяние двоит мои силы, повод пополам, я перекидываюсь через седло, вскрикиваю — и борзый конь уносит меня как вихорь, куда ему хочется. Грязь брызжет, ветви хлещут в лицо, — лечу стремглав по берегу речки, влево, на старый мост, который, гремя, качается под скоком, гнилое бревно хрукает — и конь мой со всех ног падает на скользкий помост. Больно ушибленный, силуюсь я встать, слышу топот погони, конь бьется и скользит, — гибель неизбежная!

Удачная попытка подняла, однако ж, бегуна моего, и я снова помчался во весь опор. Разбойники между тем настигали меня, гаркая и угрожая.

«Не уйдешь от нас!» — кричали они.

«Бей его, режь!» — звенело в ушах моих.

Еще выстрел просвистал мимо, — но он подстрекнул моего коня; однако ж это усилие было лишь на несколько шагов. Погоня не переставала, а бегун мой хрипел, качаясь на скаку, как вдруг я увидел вблизи крестьянскую избу, и огонь в окнах ее, и будто мелькающие тени людей. С напряженным биением сердца, задыхаясь, с холодный потом на лице, направлял я к ней побег мой, — доскакал, бросил коня непривязанного и с криком: «Спасите, спасите!» вбежал в двери.

Первое, что представилось мне, был гроб и тусклое сияние свечей в дыму ладана. Я невзвидел свету... Природа не выдержала более... Сердце мое закатилось — я без чувств рухнул на пол!!

Я опаматовался уже на другой день, в доме пана Листвинского. Издыхающий пудель мой лежал подле кровати, пробитый ножом местах в пяти, и кровью своею заверял, что происшествие ночи не был сон горячки, меня палившей. Бедное верное животное с радостью лизало мою руку, и я тронут был до слез его преданностью и скоро потом его смертью. К стыду людей, должен я сказать, что эта собака была моим лучшим другом и своею жизнью искупила мою!

Взаимные объяснения не замедлили. Хозяин рассказал мне, что я упал в обморок в его деревне, в избе одного крестьянина, у которого накануне умерла мать, и по ней совершали тогда панихиду. Мой рассказ удивил его более. В ту же минуту, с пособием исправника, послан был обыск в роковую часовню, — но в ней не застали уже разбойников. Там нашли только лоскутья добычи, изломанное оружие и несомненные следы их пребывания. Вероятно, они избрали часовню своим притоном по уединенному ее положению, а вздумали играть комедию мертвеца, чтобы удалить любопытных и заманить на верную гибель отважных. Расшитый золотом доломан соблазнил их, и я, конечно, исчез бы с лица земли, ежели бы сторожкий пудель мой не был со мною.

Скоро минул для меня светлый час присутствия разума. Нервная горячка, следствие испуга и простуды, повергла меня на шесть недель в беспомысленность. Я оправился на тот раз, но потрясение было жестоко; с той поры здоровье мое, видимо, стало склоняться к западу, и, наконец, доктора присоветовали мне для исцеления Кавказские воды. Здесь я в самом деле чувствую себя гораздо лучше, но половиною моего выздоровления, господа, я, конечно, обязан удовольствию знакомства с вами.

— Благодарим за честь приветствия и занимательность рассказа, — произнес гвардеец, благодаря гусара от лица всего собрания, — премилая повесть!

— Тем более что она с романтической завязкою соединяет историческую достоверность, — прибавил драгунский капитан.

— А всего более потому, что она последняя, — возразил гусар, улыбаясь. — Господа, уже два часа ночи!

Стулья загремели, и все схватились за разбор шляп, калош и шинелей.

— Часы люди выдумали, — сказал таинственный человек, ожидая, что на скрепу заседания кто-нибудь расскажет повесть, в которой явился бы сам лукавый *au nature!*¹¹⁸.

— И мы не боги, — возразил артиллерист, — и потому должны жертвовать сну волей и неволей.

Видя, что все выходят, зеленый сфинкс поспешил последовать общему движению и забился в середину толпы, чтобы, в случае нападения горцев, быть в безопасности по крайней мере от выстрелов, — и для этого он избрал своим мантелетом рязанского толстяка. Дорогою успел он наказать о зверстве и дерзости чечепцев тьму ужасов: как два года тому назад они увезли отсюда двух дам с дочерьми и еще очень недавно убили часового на редуте.

— Но что случилось с племянником полковника? — любопытно спрашивали многие друг друга. — Что заставило самого полковника, бледнея, покинуть залу?

— Я бы дал отрезать себе левое ухо, чтобы услышать первым окончание повести о венгерце, — сказал сфинкс.

— Может быть, господа, — сказал я, — ваш покорный слуга будет вам полезен в этом случае; полковник мне приятель, и если тут нет домашних тайн, он объяснит нам все. Утро вечера мудренее.

— Итак, до приятного свидания, милостивый государь! Доброго сна, господа! Покойной ночи, господин читатель!

Страшное гаданье*

Посвящается Петру Степановичу Лутковскому

*Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем?..*

...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее, — они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что

¹¹⁸ В натуральном виде (фр.)

мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимую женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, — душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотол, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока, — говорила она, — но всегда ли далеки от слабости? Кто пытается часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться!

Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конно-егерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи помещьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт.

Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал, — я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постеле своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блеска наружной веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разлитое море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрота крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее прости! Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Лзьинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел, — катать!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами; везде

слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением:

— Ну, барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул — и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскака: они понесли нас.

Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валец ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:

— Где мы? — спросил я ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай бог памяти, барин! — отвечал он. — Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице.

Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андропова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барин! — отвечал он. — В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, — возразил ямщик. — Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладошь.

— Что ж, поцеловал ли он красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допытались: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак понес повстречал тут оборотня; слышишь ты, скипулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет...

— Побереги свои побасенки до другого случая, — возразил я, — мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, — и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленну и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливецом, слушает его ласкательства, может быть отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьего шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер пронизал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и заморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опущенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь и пустыня окрест!

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, пронизаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед богом, — сказал он, — что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоят белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостно:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дровозвонную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях

докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуетый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о неожиданном госте. Ряды молодежи в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между.

Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмеялись, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, брнчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатай выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам — до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье.
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз!
Золотая парча развевается.
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы летом

полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

— Да изволишь знать, твоя милость, — примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, — теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый парод девки: погадать ли о суженом — не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапою на богачество, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! — вскричало несколько тоненьких голосков.

— Чего полно? — продолжал Ванька. — Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским Старостиным сыном Афонькой да одно знай пристаёт: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть но с косу, так отнекалась.

— Нет, барин, — примолвил другой, — хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

— И ведомо, — сказал третий. — Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

— Полно брехать, — возразил краснобай. — Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых святках?

— А что такое? — вскричали многие любопытные. — Расскажи, пожалуста, Ванюша; только не умори с ужаси.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крикнул протяжно, оправил правой рукою кудри и начал:

— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть — за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал, — ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовёт не дозвется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал на прокат саван, ты и отдавай его; нам что за статья в чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух миггов... слышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

— С нами крестная сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. —

Наше место свято! — повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета. — Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось, — сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен. — Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окруженный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами. — Пускай где взял, там и отдает мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, — сказал мертвец страшным голосом, — я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в ворота, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сених под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на петлях, и мертвец шаст в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь. — Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав, или как их преследователь, — кто знает, может быть как блудный купеческий сын, купивший своим именем жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил

свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробежал по коже.

— Не правда ли, сударь, — сказал он мне после некоторого молчания, — вы любуетесь невинностью и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде, Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодежи и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодых прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая рассказы незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто ненарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатах дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою об стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:

— Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно осмеленный даровым Ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрашаю, барин, — сказал он, — есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

— Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный спрос, — отвечал я, — он бы унес ответ на боках своих.

— И, батюшка сударь, — возразил он, — будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удасть в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще менее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барин! — сказал молодец. — Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужасился увидеть нечистого носом к носу?

— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомошника...

— Ну, барин, — промолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом, — если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть; на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополуму гадателю, что он пли дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

— Вы, верно, не пойдете, — сказал он сомнительно. — Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

— Напротив, пойду!.. — возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. — Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покорооче с лукавым, — сказал я гадателю. — Какой же ворожкой вызовем мы его из ада?

— Теперь он рыщет по земле, — отвечал тот, — и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему велению.

— Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по своему хотенью, — произнес незнакомец важно.

— Мы будем гадать страшным гаданьем, — сказал мне на ухо парень, — закляв нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал, — примолвил он, бледнея, — того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуян. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

— Идем же сейчас, — сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги. — Видно, мне сегодня Судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них доведет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

— Напрасно, сударь, изволите идти: воображение — самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для-одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки, — сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру, — и она-то будет нашим ковром-самолетом. — Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опророметью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы

поворотили на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникала посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность. — Здесь! — повторил он. — Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из стклянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил его голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкуп?

— Нет! — сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, — черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которою если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, — подумал я, — тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

— Да все равно, — продолжал он, — можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дыравый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок — неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения, — думал я, — для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произнес гадатель. — Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любишься на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковерен, следственно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! — думал я. — Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет или ласка матери? Не родное ли ты светило

земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчиною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля — еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною...

«О! зачем мы живем не в век волшебств, — подумал я, — чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, — ты была бы моя, Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежную глыбою...

— Идет, идет!.. — воскликнул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетел ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...

И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадателям с перепоею видятся чудеса!

И между тем злые очи его проникали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой... — отвечал он лукаво. — Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею. Мой иноходец, могу похвалиться, бегаёт как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в саночки.

— Поберегите их у себя, — отвечал незнакомец, садясь со мною рядом. — Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезы, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся, дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по окраинам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочит за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил недавно пирог с

золотую начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч... и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней, — сказал я, — дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужа не носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно, — отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально. — А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот. — Я заставлю тебя высказать, от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас, — вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру, — сказал он хладнокровно, однако ж решительно. — Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжего дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу, — все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливня. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный веночек подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней

прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором, — или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не вникая в внушения сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя, — сказала она, — но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоридами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною случилось, когда, обвивая тонкий стаян ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проникали сквозь дымку, — я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя.

Сидя подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив, вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз люблю на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих, — я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжеского дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблущийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела, — я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый шелк кидал меня

в пот и холод... И, наконец, желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь, — сказала она, — что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я. — И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнью!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости, — наконец произнесла она твердо. — Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись. — Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! — примолвил он, заметив Полину. — Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решился.

— Полина! — отвечал я. — Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. — Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы бы хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вокруг плетней, вправо, влево, под гору, — и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огненным потоком. Небо яснило, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла, — возразила она, — и снесла терпеливо, потому что была еще

невинна, если не перед светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, — думал я, — так вот те очаровательные слова я твоя, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый, — столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем послышались мы за собой топот погони.

— Скорей, ради бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я. — Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта, — отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. — Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барышнею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю. — Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь, сударь, — хладнокровно возразил мне незнакомец. — Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в прибавку? — примолвил он, обнажая злой усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством кинулся к нам; это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавижу этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет более владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благородного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностью моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что случилось тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютей зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед.

Еще несытый мстью, в порыве исступления сбегал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастю, я знал ее во многих и сам изведаль на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неизмеримо долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровой жадностью, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкушившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. — Мертв! — повторил он. — Пускай же мертвые не мешают живым, — и толкнул ногой окровавленный труп в полынью,

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду, — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперишь очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад, — отвечал он значительно. — Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убится и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает... — И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно. — Едем!

— До бога высоко, до царя далеко, — произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие, — Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое расторглось... но медлить было бы губительно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностью, или, лучше сказать, безнравственностью, еще горячий мстью, еще

волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увести чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе, — знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, — и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастье исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.

— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежерытою могилою, на краю которой стояли сани.

— За такую красотку не жаль Души, — примолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все бывшее наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его,

Лейтенант Белозор*

Глава I

Прощай, прекрасная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

С неподражаемой красой!

А. Пушкин

В то время, когда полчища Наполеоновы праздновали в Москве собственную тризну, русский флот, соединенный с великобританским, под командою английского адмирала, блокировал при голландских берегах флот французский, запертый во Флессингене. В самое бурное время года, в открытом море, на ужасной глубине, лежал он на якорях в беспрестанной борьбе со стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воздвигшаяся со дна, стоял неподвижно, — и неслыханная дотоле блокада сия доказала свету, что русские и англичане умеют торжествовать не только над гением человека, но и над всеми силами природы.

В октябре месяце бури были ужасны и продолжительны; кто терпел их в море под парусами, тот может судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает ее всю силою и обрушивается на нее всю толщею своею. Корабль стонет и дрожит тогда, как прикованный великан, бессильный убежать от валов или всплыть на них. Продолжительный, тяжкий скрип расходящихся членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в блоки и шум ударяющихся снастей — наводят тоску на сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто ждут чего-то рокового, и только изредка слышится голос вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повелителя стихий; пронзительные свистки отвечают на призыв его: море бушует.

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октября, сокрушил на берегах Англии и Голландии множество судов. Ночь эта была страшна для осаждающих; вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на якорях или, в случае обрыва, вступить под паруса для избежания неминуемого кораблекрушения при берегах. Посреди мрака и воя ветра повременно сверкали пушечные выстрелы, возвещая «бедствую!», фальшфейеры искрились, как блудячие огоньки над могилами, — корабли ежеминутно были в опасности свалиться.

Рассвет оказал всю бедственность их положения: линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух якорей; на многих переломаны были стеньги и реи; иные, сорванные со стопоров, высучили канаты и под штормовыми парусами боролись вдаль с вихрями; почти у всех изорванные и спутанные снасти висели в беспорядке, отопленные накрест нижние реи придавали еще более дикости виду их; волнение ходило горами. Картина была ужасная!

На русском корабле «Не тронь меня!» оказалась сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь на каменную гряду подводных камней, которая на полмили простиралась в море параллельно с берегом. Прибой к ней, производящий неправильное волнение, называемое моряками толчея, всего более раскачал связь уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, вооружили цепные; матросы работали неутомимо, но гибель была недалеко: вода лилась в расходящиеся пазы, и как ни равняли канаты, но то один, то другой вытягивался в струну, готовясь лопнуть; офицеры с недоверчивостью поглядывали на третий. К счастью, с рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще сильный, но волнение и качка стали правильнее. Мало-помалу все начало приходить в порядок: выстроили линию, убрались с повреждениями. Веселость возвратилась к усталым пловцам, лишняя чарка водки — и все забыто.

В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене вахт, вступающий в должность

лейтенант, осмотрев все работы, подошел к капитану, ходившему по своей стороне шканцев, для рапорта о состоянии корабля.

— Господин капитан, — сказал он, приподняв свою круглую шляпу, — вахта принята благополучно, ветер сильный норд-норд-вест, глубина по лоту семьдесят восемь сажен, канатов на битенге по сто девяносто первой, воды в льяле...

— А что помпы — помпы, Николай Алексеич? — прервал его капитан, беспокоясь о течи.

— Все исправны; мы их держим на храпу, — отвечал лейтенант. — Не будет ли каких приказаний, капитан?

— Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме благодарности вам за то, что вчерась заранее успели спустить марсарей. Опоздай вы часом, наверно бы не удержались на якоре, да не мудрено потерять бы и рангоут, а без него плохая шутка: разом повиснешь на какой-нибудь скале устрицею или пойдешь на дно хватать морские звезды!

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа его была надвинута на самые уши; пестрый шотландский плащ играл около его тела; в руках держал он лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На слова капитана он улыбнулся с довольным видом.

— Это игрушка, — отвечал он, — когда мы хозяйничали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стены спускали в четверть часа.

— Ныне это признано вредным, Николай Алексеич, — возразил капитан, пускаясь опять ходить, — снасти и ванты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру большую площадь, нежели на выстроенной стенге.

— Хорошо, что здесь нет осенью тифонов, — продолжал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у которого снял он должность, — а то поневоле бы стали делать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед заутреней, вьются около носу; но если страшно попасть к ним в передел, зато весело глядеть, как они образуются и рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вытягивается ниткою на вихре, то бежит столбом, и между тем как молния обвивает его и море кипит, словно котел, видно, как смерч пьет воду.

— Плохой же он моряк, Николай Алексеич, — отвечал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают для кампаний в флотские должности по чинам, — Белозор был из числа их. — Я уверен, что наши балтийские тифоны, — примолвил он, — бывают опаснее для пуншевых стаканов, чем для заливов и проливов соленой воды.

— Конечно, так, моя невская яхточка, — ему бы следовало поучиться у нашего брата, старого моряка. Вода создана для рыб и раков, вино — для женщин и детей, мадера — для мужей и воинов, но ром и водка — для одних героев.

— Следственно, бессмертие для меня закупорено навеки: я не могу равнодушно глядеть на бутылку с ромом.

— И я тоже, любезнейший, и я тоже; у меня сердце бьет рынду, когда я завизжу ее. Послужи с мое да испытай столько же бурь, тогда уверишься, что добрый стакан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так два ума в голове; на валы смотришь, как на стадо барашков, и стены хоть в лучок гнутся — и горюшка нет!

— А какова была прошлая ночь? Если б не темнота, и на твоём лице, Николай Алексеич, полюбовались бы мы милостивою бледностью.

— Черт вытрави мою душу, если мое лицо не столь же мало сделано для румянца, как и для бледности. Буря — моя стихия. Подавай нам почаще таких ночей, по крайней мере не заржавеет; а то скука возьмет, стоя на якоре до того, что он пустит корни, как пульс, ощупывать канаты и сквозь сон покрикивать: «заложить сейтали, — не зевай на стопорах!» То ли дело шторм? Уму, и рукам, и горлу раздолье; вся природа пляшет тогда по дудке

твоей!

— Слуга покорный за ваше раздолье... Вчерась я промок до самой души, проголодался, как морская собака, и должен был холоден и голоден отправиться спать, потому что нельзя было развести огня ни под котлом, ни в камине. К довершению удовольствия, меня дважды выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу, как в решето, лилась вода струями.

— Ах ты, пряничная рыбка, любезный мой Виктор Ильич! Тебе бы хотелось небось, чтобы корабли плавали в розовом масле, ветер только целовал паруса, выкроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали бы только повахтенно с красавицами!

— Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слушать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать отправления в безызвестную экспедицию.

— По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или сердце. Когда ты обманом прибуксировал меня в доме Стефенсов, я не знал, в которую сторону обрасопить нос... Пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я обходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. А пуше всего, эта проклятая мисс Фанни навела на меня зажигательные свои глазки так метко, что я готов был бежать от нее по пятнадцати узлов в час... Да ты не слушаешь меня, рассеянная голова!

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стремился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль его попала на проторенную дорожку — на женщин. Подобно голубю, отпущенному с ковчега, она летела в край неведомый и возвратилась с веткою маслины. Заветный берег казался ему раем: там живут добрые, умные люди, там цветут красавицы, и в них, может быть, бьются сердца, готовые любить и достойные любви!.. Двадцать пять лет — опасный возраст, милостивые государи, особенно для людей, заключенных в плавучем монастыре, и Белозор, волнуемый болезнью, которую мы привыкли называть молодостью, воспламенился пред неясною, неопределенною мечтою своего создания. Он так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто в ней зарыли клад его счастья, невозможность подстрекала еще больше его любопытство побывать там, и он, любуясь на плотины, о которые оперлось море и из-за коих виднелись только мачты кораблей, как подводный лес, да там и сям крылья мельниц и стрелы колоколен, хотя и не выронил слезы, которая бы очень романически сорвана была вихрями и слилась с бездной океана, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко. Не могу скрыть этого важного обстоятельства, как верный историк и покорный слуга истине.

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и скоро обратился в шторм; но как все предосторожности были приняты, экипаж с уверенностию ожидал ночи. В это время в тесном горизонте показались паруса трехмачтового корабля, идущего с океана. Гонимый бурей, он быстро приближался к флоту под рифмарселями. Скоро разглядели, что это военный английский корабль, красный флаг его сверкал как молния в тучах. Все трубы, все глаза обратились на пришельца.

— Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на якорь в такую бурю! — сказал лейтенант Белозор.

— Он просто сумасброд, — прибавил вахтенный лейтенант, — форсирует парусами, входя в линию, когда в одни снасти дует так, что нельзя справиться. Посмотри, как гнутся его стены, мне кажется, я слышу, как трещат они. Или у него в кармане есть запасные мачты, или черти вместо матросов.

Опознательный флаг взлетел на адмиральском корабле и повторился на репетичном фрегате, который нарочно стоял на виду за линией, но приближающийся корабль бежал вперед, не отвечая.

— Что это значит?! — вскричали многие с изумлением. — Нет ответа!

— Он держит прямо на каменную гряду, — с беспокойством сказал вахтенный лейтенант. — Смотреть хорошенько сигналы.

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот-стенге.

— Нумер сто сорок три! — закричал штурманский ученик. Лейтенант развернул сигнальную книгу.

«Идущему с моря кораблю войти в линию и лечь на якорю подле флагманского, слева».

— Есть ли ответ? — с нетерпением спросил вахтенный лейтенант.

— Никак нету-с, — отвечал штурманский ученик. Недоумение и страх всех возрастали с каждой минутой.

Тот же сигнал повторился, но с выговорной пушкой, — корабль, как будто не обращая на то внимания, катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал поднимал остерегательные сигналы за сигналами, он не убавлял парусов, не менял направления; все с замиранием сердца смотрели, как он несся к верной гибели.

— Он не понимает наших сигналов, — вскричал вахтенный лейтенант, — он, верно, идет не из Англии для освежения наших кораблей, а с океана; только неужто незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах!

— Он погибнет, — произнес Белозор, — если сию же минуту не ляжет в бейдевинд!

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вскочив на сетку и наклонившись всем телом вперед, так увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кричал им по-английски:

— Don't skid away, my boys! Hand a port and close up to the wind! Не держи прямо — лево на борт, и круче к ветру! Лево на борт! — повторял он, махая шляпой, как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев бури.

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески бурунов, которые, как печь, дымилась прямо перед их водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, реи обратились вдоль корабля, передние паруса заполоскались с отданными шкотами, и бизань, самый задний парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, быстрой поворотило судно боком, но не успела бизань наполниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по воздуху.

— У него отбит руль! — произнес вахтенный лейтенант, отвращая глаза. — Ему нет спасения!

Мертвая тишина воцарилась между зрителями. С ожиданием, расторгающим душу, устремили все глаза на жертву, которую влекла неумолимая судьба к бездне. Страшно видеть смерть и одного человека, но быть свидетелем гибели многих сот товарищей и не иметь возможности помочь им — неизъяснимо ужасно!

Обреченный смерти корабль, — будто корабль-привидение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь на страх им, — лишенный средств управлять бегом, с новой быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тревога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки унизаны были матросами, они простирали руки, прося о помощи, и напрасно: последний час их пробил.

Со всего расходу ударился он о подводную скалу. Этот удар отдался в сердцах всех наблюдателей, исторгнув из них стон сострадания. Стеньги, мачты, самая громада корабля разрушилась в обломки и в один миг; паруса, затрепетав, разлетелись, как перья, огромный вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незримые утесы.

— Все кончилось! — сказал Белозор, сплеснув руками в тоске отчаяния. В самом деле, там, где за минуту был корабль, теперь кипели одни буруны, распыскиваясь по-прежнему друг о друга, и только вихорь завывал, только алчное море ярилось и бушевало.

— Флагман поднимает сигнал, — закричал с юта штурманский ученик. — Нумер двести семь: помочь утопающим.

— Благородное приказание, — сказал капитан, следя глазами трех человек, которые всплыли на рею и, заливаемые волнами, боролись вдали со смертью. — Благородное приказание, но его невозможно исполнить.

— Стыдно будет русскому находить в том невозможность, что англичанин признает за достойное, — с жаром возразил Белозор. — Позвольте мне, капитан, взять какое-нибудь гребное судно.

Капитан, вполнину недовольный противоречием, вполнину изумленный смелостью Белозора, строго взглянул на него и отвечал:

— Я не могу вам запретить этого, господин лейтенант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не спасете, а себя утопите.

— Я рад гибнуть там, куда призывает меня долг чести и человечества. Итак, я могу?..

— Можете; я позволяю, но не советую вам. Все большие гребные суда на рострах, а мелкие — все равно что гроб.

— Я готов пуститься в решете, — вскричал обрадованный Белозор, — веселей гибнуть вместе с другими, чем глядеть, сложа руки, на их погибель. Охотники, за мной!

Там, где дело идет о великодушной смелости, между русских солдат в охотниках не бывает недостатка. Человек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но он, выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу своему Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, висящую на боканцах, при кликах товарищей: «Благополучного возврата!»

Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были обрезаны, и он полетел в разверстую пучину.

Глава II

О боже! Как мучительно казалось мне утопление! Какой ужасный шум воды в ушах моих! Какие отвратительные зрелища смерти пред глазами! Мне снилось, будто я вижу обломки тысячи страшных кораблекрушений, тысячи трупов, коих грызли рыбы, слитки золота, огромные якоря, груды жемчугов, неоцененные камни и украшения, разбросанные в глубине моря; иные сверкали в человеческих черепах, во впадинах, где витали некогда очи!

Шекспир

Ниспав с вышины борта двухдечного корабля, шлюпка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва-едва успели шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел поставить мачту и поднять до половины парус. Когда он оглянулся, флот был уже далеко назад, и он чуть различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, который следил взорами бесстрашного друга. Рей, на котором спасались утопающие, порой виден был, всходя на валы, мелькая концом паруса; но этот самый парус, вздуваемый иногда ветром, заставлял обращаться рей беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб дышать воздухом, строптивное бревно топило их снова и снова, и когда подоспела помощь, силы их оставили: Белозор уж никого не нашел на ней.

Пожалев о безвременной гибели утопших, надо было позаботиться о собственном спасении. Нечего было и думать о возвращении на корабль против ветра и волнения; Белозору оставалось одно средство — отдаться произволу стихий и попытать счастья пристать к берегу, чтобы на нем провести ночь и переждать, покуда стихнет буря. Вздумано — сделано. Правя гораздо левее города, он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или плен сторожили его. Он хладнокровно смотрел на влажные утесы, с плеском и воем наперерыв догоняющие утлую ладью. Кипя, склонялись они кудрявыми главами над кормою, готовясь обрушиться, рушились и выносили ее на хребте своем, как ореховую скорлупу. Сам Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а двое остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное лицо начальника, они полагали себя в полной безопасности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали между валов огни городские и послышался ропот прибоа, словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, притаив дыхание, крестились, ожидая удара; страшно плескалось и стонало море между камнями.

— Не робей, ребята! — говорил Белозор своим людям. — Куртки долой, и, если опрокинет, хватай весла, и чуть коснулся дна — карабкайся дальше, чтобы другой вал не

утащил опять в море! Держись!

Как щепку взбросило ялик на бурун, и стремглав ударило его на камень. Перекинутые через эту водную стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы наши спасены были только веслами, за которые они уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. Уже все матросы были на берегу, но Белозор не показывался. Добрые матросы бежали навстречу каждому валу, думая выхватить из него любимого начальника, но он разбивался в пену, убегал, набегал снова, — и все напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым правил, и он-то дал ему силы удержаться на толчее, в которую попался; мощный вал далеко выбросил его на берег.

Притаившись в кустах ив, коими обсажены все голландские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество русского народа, и тут их не покидала.

— Ух, какой ветер! — сказал урядник, пожимаясь. — Чуть душу не вывееет.

— Держи крепче зубами, — возразил другой.

— Шути, шути! — отвечал урядник. — Выползли мы, как раки, чтоб не замерзнуть, как ужам после воздвиженья.

— А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим сапоги, а сами надрожимся до поту, — прибавил третий.

— Уж этот месяц! Светит, а не греет, — даром у бога хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы стало теплее, — сказал четвертый.

— Жаль, брат, что ты раньше не догадался, — возразил второй, — из глаз у меня, как с огнива, искры посыпались, когда головой ударился о плотину.

— Что вы раскудахтались, словно куры в корабельной клетке, не даете доброму человеку заснуть, — сказал третий матрос. — Спи, Юрка, небось нашему брату не впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чарку в головы, лег — свернулся, встал — страшнулся.

— Лечь-то ляжешь, и в бараний рог свернуться нехитро, а уж вставать-то как бог даст, — отвечал Юрка.

— Вот нашел, о чем заботиться, — примолвил урядник, — показать только линек — и так благим матом вспрыгнешь, словно заяц с капусты.

Так шутили между собой полунагие матросы и между тем зябли без всяких шуток. Белозор, который желал теперь быть за тридевять морей от земли, которая за несколько часов казалась ему обетованного, напрасно завертывался в мокрую шинель свою, — холод оледенял его члены.

— Вставай, ребята! — сказал он наконец. — Пойдем искать ночлега; авось набредем на добрых людей, что нас не выдадут, а утром, коли стихнет буря, захватим рыбацью лодку и опять в море!

Так передавал он подчиненным надежду, которой не имел сам.

— Только не расходитесь, — примолвил он, пускаясь вперед по плотине, — да не говорите громко по-русски, чтоб не наделать тревоги!

— Меня не узнают, — уверительно сказал Юрка, — я таки маракую толковать на их лад.

— Где же ты выучился говорить по-голландски? — спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь переводчика.

— Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Виктор Ильич, так промеж них наметался по-татарски.

— И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь болтать им по-татарски?

— Как не понять, ваше благородие, — ведь все одна нехристь, — отвечал очень важно Юрка.

Сколь ни печально было положение Белозора, по он не мог удержаться от смеха. Запретив, однако ж, своему доморощенному ориенталисту выказывать свою ученость, он, как новый Эней, вел маленькую дружину куда глава глядят. Долгая узкая дорога, насыпанная

валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда — рассмотреть было невозможно. С обеих сторон то просвечивали болота, то чернелись ямы турфа, подле коих возникали пирамиды его, изрезанного в кирпичи. Шумный ветер препятствовал слышать какой-нибудь голос.

Прошедши таким образом версты две внутрь земли, наши путники обрадованы были журчанием воды, как будто прорывающейся сквозь затвор мельницы, и скоро достигли до уединенного каменного строения, примыкающего к шлюзу огромного болота. Колесо не действовало, и вода, пущенная в русло, шумела там сильнее. На дороге не было окон, но по болоту змеилась полоса света, вероятно из обращенного на него окна... Русские остановились в раздумье: идти ли, не идти ли им в середину.

— Ну что, ежели там французы! — сказал Белозор.

— Хоть бы целая рота чертей, ваше благородие, — возразил урядник, — все-таки лучше, нежели умирать с холоду.

— Я так голоден, что готов съесть жернова, — прибавил другой.

— А я так устал, что засну между шестернями, — присовокупил третий.

— Плен краше смерти, Виктор Ильич, — возгласили они вместе, — ведь французы нас не съедят!

— Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умудриться, чтобы за один ночлег не заплатить свободою; надо биться до самого нельзя, чтоб избегнуть плена; мельница далеко от другого жилья, а мы волей и неволей заставим хозяина скрыть нас, а утро вечера мудренее. Вооружитесь-ка чем попадется да войдем потихоньку!

Выдернув рычаг из ворота на подъеме шлюза, Белозор ощупью отыскал дверь; против всякого чаяния, она была отперта настежь. Вступая в широкие сени, которые служили вместе и мучным анбаром, насилу доискались они между мешками входа в комнаты. С трепетанием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теплой и светлой поварне, в этой приемной палате голландцев. В огромном очаге, у которого стенки выложены были изразцами, а чело из красной меди, весело пылал огонь и близ него на вертеле разогревался кормный гусь. Светлые кастрюли дымились на чугунной плите. Кругом на полках из лакированного бука низалась, как жар сверкающая, посуда.

Осанистые кувшины и жеманные кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, красовались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали утиные шейки свои друг перед другом; высокие бокалы, как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старовечных чайников с длинными носами точно рассказывали что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домовитый порядок, пленительная чистота и какое-то приветливое гостеприимство. Самые блюда будто сверкали радушною улыбкою.

К удивлению, однако же, они не видели никого в этом приюте, словно духи приготовили ужин для голодных странников, которые с каким-то благоговением разглядывали все безделицы и поглядывали на яствы. Только у дверей на гладком кирпичном полу, свернувшись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась.

— Экая благодатная земляца, — сказал один матрос, — и собаке-то ночью службы нет!

— Она, брат, неспроста не лает, — робко молвил другой, указывая на зажженное ромом блюдо плум-пудинга, — здесь все заколдовано.

— От часу не легче, — вскричал урядник, отворив двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщину со связанными руками и платком во рту. — Что бы это значило?

— Видно, говорлива была, — сказал другой. — Ведь хитрый же народ эти голландцы: умудрились пеленать баб, когда им нечего делать. Да этакую заведенцию и нам бы перенять не худо, а то как они разболтаются, хоть святых вон понеси!

— Да вот и мужчина! — вскричал третий, запнувшись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мельник, что можно было угадать по напудренному его платью, закрыв от страха глаза, лежал связанный на полу... Шум в следующей комнате прервал их рассуждение о странных обычаях в Голландии. Казалось, кто-то говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно упрашивали. Дверь была заперта.

— Отворите! — вскричал Белозор по-французски, внемля стуку и крику за дверью. — Отворите! — повторил он, потрясая задвижками. — Или я выломлю двери.

— *Quel drole de corps s'avise d'y faire Fimportant?* Кто смеет там важничать? — отвечали ему многие голоса на том же языке.

— Отворите и узнаете!

— *Va te faire pendre* (убирайся на виселицу), — было ответом, — *nous sommes ici de par l'empereur Napoleon* (мы здесь по приказу Наполеона).

— Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и черепы ваши!

Громкий смех, перемешанный с выразительными клятвами французских солдат, вывел его из терпения; удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали в середину; неожиданное зрелище представилось глазам его.

Четверо французских мародеров, полупьяные, полуоборванные, заняты были грабежом; один, держа свой тесак над головой старика, сидящего в креслах, шарил у него в карманах; другой грозил карабином на прелестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде отца; третий осушал бутылку с накрытого для ужина Стола, прибирая в карманы ложки, между тем как четвертый ломал штыком замок железом окованного сундука, который противился его усилиям.

— *Palte la, coquins!*¹¹⁹ — произнес Белозор, и вышибленный из рук француза карабин грянулся на пол; вместе с этим он дал такого пинка другому, который грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня засвистели еще, и один из них угодил прямо в бок ломающему сундук; он заохал и выронил штык из рук своих.

— *Sauve qui reut, nous sommes cerne* (спасайся кто может, мы окружены)! — вскричали испуганные мародеры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все это было делом одной минуты.

Старик голландец, одетый в китайский халат, с изумлением поворачивался на креслах то вправо, то влево, и на полном, как месяц, лице его, увенчанном бумажным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали облака сомнения: к какому роду причислить своих избавителей? Полдюжины полуодетых, или, лучше сказать, полураздетых, людей, с небритыми бородами и бог весть какого племени, заставляли его думать, что он переменял только грабителей, не избегнув грабежа. Восклицания: «*genadiste Good*¹²⁰, два аршина с четвертью!» и потом *aa*, которое переходило в *oo* и кончилось на *ээ* — двугласных, составляющих основу голландского языка и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на месте. Зато милая дочка его была гораздо признательнее и доверчивее; неожиданный переход от страха к радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных восклицаниях благодарила за избавление. Он раскланивался, она приседала, оба краснели, не зная сами отчего; старик поглядывал на ту и на другого.

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, благородное лицо юноши, голландец будто отдохнул.

— Кому одолжен я столь важною услугою? — спросил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая колпак.

— Человеку, брошенному бурей на ваши берега, который просит у вас не только гостеприимства, но и убежища, — отвечал Белозор. — Я русский офицер! — с сим словом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант свой.

— Русский офицер! — вскричал голландец, опускаясь в кресла, как будто эта весть придавила его.

¹¹⁹ Стойте, негодяи! (фр.)

¹²⁰ Милосердный бог (голл.)

Такое начало не много предвещало добра Белозору. Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов нового французского короля Луциана, и легко могло стать, что хозяин был одним из них.

— Могу ли надеяться найти в вас друга или по крайней мере великодушного неприятеля? Если вы не решитесь скрыть нас у себя на время, то не предавайте французам.

— *Stoop, stoop*¹²¹, молодой человек! — вскричал с жаром голландец. — Август ван Саарвайерзен никогда не был предателем, и все голландцы друзья русским со времен вашего Великого Питера, в особенности я; у двоюродного деда моей жены учился он плотничать в Заардаме. Я так же ненавижу французов, как и ты: от всего сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как свечку, своею континентальною системою и заставили меня, первого суконного фабриканта в Флессингенском округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. Правда, я от этого подряда не в накладе, но слава, слава моих сукон пропадает теперь... А какие у меня делались сукна! Мягче бархата, крепче кожи — и шириной в два аршина с четвертью, *sapperloot!*¹²² Ты у меня безопасен на несколько дней вместе со своими земноводными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, приятель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за рюмкою мы потолкуем, как все уладить.

Ван Саарвайерзен вывел матросов в поварню и поручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они уже разговаривали между собою, болтая каждый без умолку по пальцам и языками, будто понимая друг друга как нельзя лучше. Виктору же указал он небольшую комнату, принес ему стеганный халат, сухого белья — одним словом, ухаживая как за сыном.

Через четверть часа наш герой явился в столовую, хотя странность наряда пугала его более, чем неприличие в нем показаться на глаза красавице. Необходимость, впрочем, служила ему и убеждением и извинением; только он никак не согласился надеть на голову пенковый парик от простуды, несмотря на все увещания хозяина.

Ужин был подан.

Белозор будто ожил, мало что ожил — будто вновь одушевился. Благотворная температура комнаты, вкусные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость миловидной девушки развернули его ум и чувства необыкновенною веселостию. Он чокался с хозяином, смеялся с дочкой его, бросал ему шутки, ей приветы и, несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал работать ложкой и вилкою. Таков человек, милостивые государи, такова вся природа: жаворонок с неба летит на землю за червячком.

Получив хорошее воспитание, ограниченное, так сказать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться по-французски, а немецкий язык был ему почти природным по матери, урожденной эстландке, и потому беседа их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взглянув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме Саарвайерзена.

— Ну, герр Виктор, — сказал хозяин, отдыхая от смеха, — ты чудо малый, и мы с тобой скоро не расстанемся!

— Не нахожу слов выразить мою благодарность...

— Да, пожалуйста, и не ищи: ты вперед заплатил за постой. Знаешь ли, от какой потери спас ты меня своим неожиданным приходом? *Sapperloot!* Это не безделица: я получил сегодня от французского комиссарства за сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо мародеров, наверно, захватили бы их в плен, если б успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати упал, как с облаков.

— Скажите лучше, выброшен из кита, словно Иона; однако ж, если мне удалось испугать нескольких бездельников, самому придется бегать добрых людей не лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучные мешки, герр Август?

— Не думаешь ли, приятель, что Август ван Саарвайерзен, первый фабрикант своей

¹²¹ Стой, стой! (голл.)

¹²² Тьфу! (голл.)

области, живет на мельнице? Два аршина с четвертью! Нет, брат, это случаем остался я здесь ночевать, запоздав счетами с своим мельщиком. Карету я послал в город кой за какими покупками, и завтра мы преспокойно покатаемся в ней на завод мой — флаамгауз. Матросов твоих оденем в фризские куртки и, пускай не погневаются, запрем на заводе в особую ком-пату, и вон ни ногой: выдадим их за машинных мастеров для станков нового изобретения; такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в дальние родственники; будто приехал из Франкфурта погостить и поучиться порядку; а между тем приищем верных людей, которые бы взялись доставить вас мимо брантвахты на флот. Теперь ото нелегкая вещь: строгость неимоверная, время осеннее; но пусть говорят что угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде!

Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия; мысль, что он проведет несколько дней близ Жанни (так называлась дочь хозяина), делала его счастливым. Несколько дней — это целый век для юноши, так, как червонец — неистощимая казна для дитяти. Воображение надувало своим газом шар его надежды, и сердце мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романтической встречи занимала его более, чем истинное желание. Полон любовной чепухой, раскланялся он с добродушным голландцем и с резвою его дочкою, — и сон, как пуховик, охватил восторженника своими ласкательными крылами.

Глава III

*In slumber, I pry thee how is it,
That souls are oft taking the air,
And paying each other a visit,
While bodies are — Heaven knows where?*

Thomas Moore¹²³

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и платят друг другу визиты, между тем как тела бог весть где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, пробужденный звоном серебряного колокольчика в комнате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего мечтанья, в котором образ милой голландочки играл, кажется, не последнюю роль.

Он улыбнулся и вздохнул, заметив, что прильнул устами к подушке, которую страстно прижимал к груди своей, по, вспомня, что одно ласковое слово наяву лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, повернул кран, вделанный в стене, и, с помощью душистого мыла, щеточек и гребеночек, сгладил с лица своего все следы кораблекрушения. Туалет юноши короток: ему стоит только освежить то, что даровала природа, между тем как человеку в летах надо не только скрыть недостатки, но еще подделать красоты, которых уже нет. К большому удовольствию, Виктор нашел на месте халата франтовской сюртук, привезенный уже из города. Преобразившись, таким образом, в гражданина и закрутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой дымился уже самовар, как жертвенник.

— Поздняя птичка, поздняя птичка! — сказал Саарвайерзен, протягивая к нему руку. — Долгий сон, два аршина с четвертью!

Но когда Жанни, подняв на него свои голубые глаза, произнесла свой: «Bonjour, M. Victor»¹²⁴, — голос у него замер вместе с дыханием и лицо загорелось как утреннее небо: так прелестна, так очаровательна показалась ему голландочка. Волосы трубами распались по статным плечам ее из-под легкого кружевного чепца, живописно сдернутого лентой.

¹²³ Как это происходит, спрашиваю я тебя, что во сне души путешествуют по воздуху и посещают одна другую, в то время как тела их находятся бог знает где? Томас Мур (англ.)

¹²⁴ Здравствуйтесь, г. Виктор (фр.)

Вдохновенный фламандскою поэзией, я бы сказал, что румянец на щечках ее подобию розам, плавающим на молоке. В ямочках, напечатленных улыбкою, таились микроскопического роста амуры; два полушара, будто негодуя друг на друга, пробивались сквозь ревнивую ткань утреннего платья, и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять себя, и, наконец, две ножки, обутое в зеленые атласные башмачки, ножки, кои обращали в клевету укор путешественников, будто в Голландии нет стройных следков, — ножки, которые сам причудливый Пушкин мог бы поместить вместо эпиграфа какой-нибудь поэмы, — одним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олицетворяла для него Гебею, разливающую нектар небожителям, который потягивали они, конечно, не от жажды, но от скуки, и он признавался мне, что никак не рассердился бы на случай, если бы с этой полубогицей повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпийского двора, за которое она отставлена была без мундира и удалена от пресветлых очей тучегонителя Зевса.

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не ищем связей, но жаждем любви и, послушные внушениям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераздельной взаимности. Впоследствии испытанные и, может быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за умом, нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш притуплен; ему нужна острота для возбуждения, и, сидя подле прелестной скромницы, только из учтивости поглощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном: то ли дело дама! Для нее не нужно переводчика, чтобы понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки умеют только прелестно краснеть, притом же они так пахнут бутербродом (toasts)!

Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой премудрости и, любя душой, искал только души, которая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы любить, а не умничать. Сердце его полетело навстречу девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила куклы и еще не привыкла к автоматам — одноземцам своим. Семнадцать лет — роковое время даже по Брюсову календарю, а Брюсов календарь, как вам известно, безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды на сердечном горизонте милой голландочки грозило каким-то чудным сочетанием планет.

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, помощь, им оказанная, и опасность, висящая над его головою, — все это вместе заронило в грудь Жанни такие искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы сердце в воде, не только во фламандском тумане. Как ни малоопытен был новичок наш, однако ж заметил, что если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере салютовали равным числом вздохов — вещь, равно лестная его самолюбию, как и радостная для его склонности. В короткое время их знакомства они уже бегло изъяснялись пламенным наречием взоров и в один час говорили друг другу столько новостей посредством этого телеграфа, что сердцу было на целую неделю работы пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что в наш изобретательный век не приспособят этого наглядного, или, лучше сказать, ненаглядного, средства ко взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик, с помощью пары женских глазок, в несколько заседаний станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Мирандола, который на двенадцатом году выдерживал ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых языках.

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием своей Жанни, молодой моряк очень рассеянно отвечал на вопросы и шутки хозяина; но, к счастью, тот, прихлебывая звездистое кофе, дымя трубкою и пробегая листок купеческой газеты, мало обращал внимания на все, что не носило на себе вида нумерации.

Скрипнувшая дверь заставила, однако ж, всех обратить на нее взоры; входящий в комнату был человек высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых в обширные башмаки. Лицо его походило на солнечные часы, — так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, как

будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы повидаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, но, правду сказать, оставался при одном желании. Очень значительно покрывая, стал он раскланиваться, и при каждом сгибе осанистая коса его перекачивалась со стороны на сторону: казалось, хребет его и его коса (то есть хвостик, прикрепленный разумнейшим из существ к своему затылку) были рождены друг для друга; невозможно было представить себе эту спину без косы или эту косу без такой спинки. Чудак этот был бухгалтер Саарвайерзена — занятие, которое можно было угадать по исполинской книге, которую тащил он под рукою; на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными буквами: «Groos Buch»¹²⁵.

— Добро пожаловать! — вскричал хозяин, завидя его. — Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, Гензиус!

Гензиус, который был, так сказать, двуногою табакеркою хозяина, скрипнул систематически крышкою и с почтением поднес табак Саарвайерзену.

— Ну, что новенького в городе? — спросил тот, понюхивая.

Рот Гензиуса растворился, как шлюз.

— Ничего, — отвечал он.

— Что говорят оранжисты, что делают наполеоновцы?

— То же, что и прежде, — возразил преважно бухгалтер.

— Ну, брат Гензиус, из тебя и пробочником не вытянешь весточки; будь я король, я бы как раз произвел тебя в тайные советники. Расписался ли по крайней мере ван Заатен в получении последней отправки сукон?

Этот вопрос навел Гензиуса на родную колею; он с торжествующим видом раскрыл книгу и указал на страницу, унизанную нулями, как бурмицкими зернами. Лицо хозяина просияло.

— Чудная сделка, славный барыш, — ворчал он про себя. — Право, завод мой не воздушные вавилонские сады и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну, господа, теперь можно и отправляться *im Goodens naamen* (во имя божие).

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, запряженная четверкою огромных фризских коней, потрясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатались в ней к столице фабриканта. Хозяин с дочерью поместился в задней половине, Гензиус и Виктор — в передней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против милой голландочки, что, сколь ни новы были для него окружающие предметы, сколь ни любопытно путешествие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. Многие с нетерпением скачут по дороге, не наслаждаясь удовольствием ехать от излишнего желания доехать; напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним путешествием; он желал бы сделать из него вечное движение; весь мир его качался тогда на одних с ним рессорах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче и ухабистей, — и знаете ли, для чего? Чтобы колено его могло коснуться колена красавицы — опыт, который ему удался только однажды, и оставил сладостное ощущение навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени электричества доступно колено хорошенькой женщины? Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, как от прикосновения к электрической рыбке, а что всего замечательнее, удар этот произошел, несмотря на то, что ни в одном из них не было отрицательного электричества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физиологов.

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, пуста или населена была дорога, живописно или однообразно местоположение, по горам или по болотам ехал, о том, что встретил он достойного внимания и недостойного памяти, ни очень любопытных рассуждений о характере народа, основанных на фигуре кровель, на счетах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, никогда не бывалых, ни историй, никогда не случившихся, — одним словом, ничего, составляющего

основу романических путешествий. Но зато он очень хорошо познакомился со всеми прихотями Жанни и мог описать вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее лице.

Между тем плавно зыблющаяся карета быстро неслась далее, приближалась и приблизилась к мете. Виктор был в каком-то забытии; он не замечал не только ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке плотин, не только серебряной табакерки Гензиуса, которую тот подносил, потчюя гостя, к самому носу, но даже времени и пространства. Такие часы сладостны и невозвратны; многими крестами означены они в истории нашего сердца, и увы! — крестами надгробными; они драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных для света и, может быть, славных или выгодных для самих себя, но пустынных для души, с которой обрывают они радости зимнею своею рукою.

Приехали... Дверцы распахнулись... Виктор очнулся, наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка отвечала на его приветствие, когда серебристый голос произнес! «Вот ваша темница, Виктор!» — то он готов был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто раз прелестнее всех мавританских замков в Альгамбре, — верьте после этого описаниям любовников!

Попросту сказать, дом этот, построенный на обширной площади, весьма походил на карточный. Он сложен был из нештукатуренных, но гладких кирпичей, и высокая кровля его убрана в узор муравленую черепицею. Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю длину дома, и висячий балкон служил оному навесом. Окна нижнего жилья были до самого пола; в середине над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые, словно аргусовыми очами, глядели на два крыла строений, в которых помещены были службы и фабрика. Двор, несмотря на осеннее время, был чист как стекло; стены, вымытые мылом и вытертые щетками, лоснились; окна сверкали ясными стеклами, рамы и двери — лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден во всем.

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, голландской барыни в полном смысле слова. Вообразите себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о светлой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vrouw) Саарвайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки брабантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы видели в Эрмитаже куклу хозяйки Петра Первого, вы видели мать Жанни. Впрочем, никто в свете не мог быть добрее и ласковее ее.

Волей и неволей потащили молодца осматривать комнаты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как журналисты читателей при академической выставке; каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слушал, крепя сердце., —

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточными тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась более чудесностью и богатством, нежели вкусом и красотою. Огромные японские вазы из синего с золотом фарфора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них красовались бархатные и парчовые цветы, разливая земное благоухание. Дело затейливых одноземцев Конфуция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо качали головками на краях каминов, и только одни картины Теньера, ваи дер Неера, ван Остада, Рембрандта, Вувермана и других известных живописцев фламандской школы заслуживали внимание.

— Каков этот Ван-Дик, дружище, — аа? — сказал хозяин. — Закладую его против мускатного ореха, если в самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет нашего героя Витта? От него поневоле сторонисься, чтоб не задеть за нос, — так он выходит из рам. Вот вид морского сражения, за которое расстреляли англичане своего адмирала Бинга для ободрения прочих; настоящее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо тает, дым разлетается, — чудо, а не картина! Этот кальян выменял, или, правду сказать, выманил, я у английского путешественника, — он принадлежал шах-Аббасу. Эти часы, в виде петуха, достал я прямо из Кантона. Они подарены императором Юнтчаном Мудрым мандарину, которому он очень милостиво отрубил голову за возмущение, поднятое иезуитами... Это кинжал Типпо-Сайба, эта вилка от того самого ножа, которым убит Генрих IV, это... — Но,

милостивые государи, у меня нет прекрасной дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, слушать все описания игрушек, и редкостей, и сосудов, орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, и вновь: почему иначе, а не так, как у прочих.

Через вседневную, потом праздничную спальни добрались, наконец, до торжественной, и она, как десерт, заключила пластический обзор. Госпожа Саарвайерзен с гордым видом показывала чужеземцу вышитые ею ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кровати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позднему потомству. Десять уступов подушек мал мала меньше восходили к бессмертию двумя пирамидами, и красный атлас проглядывал на них сквозь батистовые наволочки, словно заря. Кружевной полог спускался к ним навстречу, подобный туману, и стеганное хитрыми узорами голубое покрывало вздымалось морем. Смертный, который бы дерзнул лечь на это божественное ложе, конечно бы, утонул в жарких волнах гагачьего пуха, и потому оно от незапамятных времен назначалось только покоить взоры.

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвайерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и усталости и, весело кончив вечер, заснул весьма доволен собою и судьбою.

Глава IV

*Довольно я скитался в этом мире
Вдали моих отечественных звезд:
Я видел Рим — величия погост,
Британию в морской ее порфире,
Венецию, но Поцелуев мост —
Милее мне, чем Ponte de Sospiri.¹²⁶*

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей флаамгауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их досугов, колокол неизменно звал к столу и к отдыху, даже к самому удовольствию. Хозяин почти беспрестанно был занят надзором за фабрикой или расчетами по выделке и торговле. Хозяйка же, хотя бы по своему состоянию, могла избавить себя от хлопот за мелочными потребностями домоводства, но домоводство была единственная страсть, коей была она доступна.

Мужчина — создан для внешности, для кочевья, женщина — творение домоседное; она призвана природой для украшения внутренней жизни, очаг — ее солнце. Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожа Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружилась около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как философ-путешественник, возметающий стопами властительный прах Рима и внимающий голосу гробов, вещаниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслушивалась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, но склеенной посуды, на которой видны были печати всех периодов просвещения. Там чайник без носу, там безухая чашка напоминали ей урок Экклезиаста о суете мира, там несколько поколений разнovidных рюмок живописали в лицах историю Нидерландов. Как романтик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, шум водопада, рев моря, — она пристально внимала ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варенья и печенья открывались пред ней в тишине и уединении. Наконец не так старательно слагает начальник какого-нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, не так лепит дипломат из форменных фраз ноту в надежде быть кавалером посольства, не так рачительно выкрадывает модный стихотворец Эпитект в нелепое стихотворение, которое назовет он поэмою, как внимательно готовила она вафли, и, правду сказать, изо всех упомянутых дел

¹²⁶ Известный в Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дожа с темницами. (прим. автора)

едва ли ее было не самое трудное и, без сомнения, гораздо полезнее для человечества. Что касается до изобретательности, она не уступала никакому Перкипсу, Дженкинсу и Допкинсу. Ее маринованные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль в округности; да, кроме того, она выдумала особый род яблочного пирожного, неизвестного дотоле в поваренных летописях, и назначала передать этот важный секрет своей дочери в день замужества, в приданое.

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть времени в созерцании горшков, бисквитных щипцов, раков, роз и бабочек, напечатанных на формах для студней, когда отец ее являлся только домой, подобно карпам в пруде Марли, — по звону колокольчика, молодые люди были вместе, неразлучно. То Виктор, сидя подле пяльцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, то Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей что-нибудь в альбом. В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкою драмы, он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она слушала с большим вниманием, даже порой вскрикивала: «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» — «А почему же нет?..» — возражал рассказчик, уставя на нее свои выразительные очи. Жанни обыкновенно со вздохом опускала тогда свои и принималась за работу... Я, право, не знаю, о чем она тогда мечтала.

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, оживленный желанием нравиться, становился еще любезнее; шутки его могли бы заставить самого кота смеяться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью Жанни. Воспитанная с младенчества во французском пансионе, она приобрела все милые качества француенок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже блистала полной красотой молодости, сохранив всю прелесть младенчества. Виктор после шумной веселости впадал нередко в глубокую задумчивость и грусть, может быть сладчайшую самой радости, необходимую для сердца, чтобы вкусить минувшее блаженство и отдохнуть для будущего; но Жанни была игрива неизменно, чувство любви было еще для нее забавою, а не наслаждением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его угрюмость была новым поводом к шуткам. Она, как муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скрывалась неуловима. Так прошла целая неделя ненастного времени.

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила ему посмотреть сад, устроенный в настоящем голландском вкусе: дорожки, отбитые по тесьме, лужайки, усыпанные разноцветным, блестящим песком в виде звезд, кругов, многоугольников, точь-в-точь блюдо винегрета, горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы можете подумать, будто здесь природа сделана столяром. Мраморные герои, полубогини и полные боги — произведения фламандского резца, несмотря на тучность свою, собирались, кажется, отдернуть казачка, и лев с важностью стоял над водоемом, ожидая воды, которая лишь капала с морды его, как будто он получил насморк. Нигде и ничего не было видно естественного: там возвышались жестяные цветы на решетке, ограждающей лабиринт величиною в две сажени, там сгибался мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы, там сидели деревянные китайцы под зонтиками, скрываясь от летнего солнца в октябре, там охотник с невероятным терпением метил в утку, которая двадцать лет не слетала с озера... Увидя на башенке оранжереи неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своей путеводительницы:

— Не фарфоровый ли он?

Жанни засмеялась:

— Мы не язычники, господин Виктор, — возразила она, — и хотя у нас, как у египтян, эта птица в большом уважении, но мы еще не воздвигаем ей храмов, ни идолов.

— Жаль, очень жаль; ваш Гензиус, кажется, рожден быть великим жрецом этого долгоногого домашнего божества.

— А как нравится вам сад наш, господин критик?

— Чрезвычайно любопытен; это палата редкостей; жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске зелени и цветов.

— В этом вы можете утешиться; невелика жатва осени после ножниц нашего

садовника, и сад этот имеет неоцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их царство, где цветут они, как ваши северные красавицы, в теплицах.

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка, сквозь которую вошли они, занята была птичником: за светлую бронзовую сеткою порхало множество мелких заморских птичек; иные клевали зерна, рассыпанные по полу, другие увивались около гнездышек. Любимые канарейки Жанни слетелись к ней, едва она простерла руку, сидели на плече, ели сахар из уст ее. Виктор любовался этой картиной.

— Это очень мило, — сказал он, — но я во всем вижу, что вы любите своих гостей превращать в пленников.

— Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: выпустить этих бедняжек на волю, в нашем климате, значит погубить их безвременно.

— О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, что не только мирных канареек, но и смелого сокола заставите забыть свободу.

— Сокола, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, слава богу, не мода носить дамам на руке этих хищных птиц, как видно на старинных картинках; я бы страшилась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих!

— И страшились бы напрасно, Жанни: ручной сокол преучивая птица; он бы доволен был конфетами и ласками вашими.

— Чтобы взвиться под облака и улететь?

— О нет! чтобы сидеть под кровлей вашей смирнее голубка!

— Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уверите меня, что у сокола и когти для красоты; но оставим летучее племя для этих растущих мотыльков, которые к красоте воздушных детей весны присовокупляют благоухание и постоянство. Это любимое общество батюшки.

— Цветоводство — приятное занятие для преклонного возраста, как воспоминание прежних радостей, и полезный урок нам.

— О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы страстно, если б они не были так изменчивы и кратковременны. Надобно иметь или тысячу сердец, или одно очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и утешаться вновь и вновь.

— Цветы счастливее нас, Жанни: мы изменяемся и вянем, подобно им, но они не страдают, подобно нам!

— Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не завидую цветам. Вы, конечно, знаток в ботанике, Виктор?

— Только любитель, Жанни, только любитель; я не отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию только по гербовнику. Ваши термины: *bulbata*, *barbata*, *angusti-folia*, *grandiflora*¹²⁷ — для меня арабская грамота.

— И вы, в святилище цветов, в доме известного цветослова, не краснея, хвалитесь этим?

— По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, по не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат даже, как растет трава, что не ошибусь в выборе прелестнейшей.

— Это не очень мудрое предпочтение, господин мудрец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уважение батюшки, надо поучиться толковать с ним о листках, и лепестках, и венчиках, и пестиках всех редких цветов без лицепрятия.

— Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно не только прилепиться к цветку, подобно пчеле, но прирасти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня в рыцари теплицы. От кого лучше, как не от самой Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о

¹²⁷ Луковичные, усовидные, узколистные, крупноцветные (лат.)

цветах, а может быть и свои чувства цветами! Не начать ли с сего дня благоуханных уроков, Жанни?

— Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, например, называется малайская астра.

— То есть звезда, — тихо повторил Виктор, заглядывая в очи своей учительнице, — я знаю две звезды, которых краше не найти в целом небосклоне; к ним и по ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана.

— Ах, оставьте, пожалуйста, в покое ваш океан и удостоите сойти с неба...

— Ничего нет легче этого, Жанни, когда небо удостоивает сходить на землю.

— Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэзию! Вот родня вашей любимицы — *rose musquee*;¹²⁸ вот махровая роза; вот тюб-роза.

— Прелестные цветки! Им недостает только шипов, чтобы поспорить с настоящей розой.

— В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, Виктор... Вот китайский огонь.

— Который имеет зажигающее свойство только в ваших руках, — не правда ли?

— Вот мандрагора, про которую индийцы рассказывают, будто она кричит, когда ее срывают со стебля.

— И, верно, кричит: «не тронь меня»?

— Я не решалась никогда оскорблять ее чувствительности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все племена маков; из них свит венец Морфея, и льется опиум в испарениях!

— Не страшусь несколько их усыпительного влияния, находясь так близко к противоядию. Я говорю по опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше: «доброй ночи, Виктор» вместо доброй ночи дает мне злую бессонницу.

— Бедненький, Виктор! Теперь я знаю, отчего он бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На гарлемском жонкиле, на капском ранункуле, на писаном тюльпане? И то нет! Ваша рассеянность прилипчива, господин ученик; но вот кактус, который цветет однажды в год, и то ночью. Надобно несколько зорь сряду стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пышный белый цвет его с оранжевыми окраинами; и вообразите, только два часа красуется он и потом опадает мгновенно.

— Хоть два часа, но он цветет, он манит взоры, он радует сердце прекрасных. Я бы готов был годами жизни купить подобное счастье!

Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолвно смотрела на Виктора.

— Как здесь жарко! — сказала она, отбрасывая от лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за дверную ручку. — Повторим первый урок и посмотрим, что заслужит ученик мой: место ли в углу или позволение бегать по двору? Например, скажите мне имя этого цветка? — примолвила она, сорвав тюб-розу.

— Не знаю, — отвечал Виктор, не сводя очей с очей Жанни.

— Но что ж вы знаете, боже мой?! — вскричала она.

— Любить, любить пламенно, — возразил с жаром Виктор, схватив нежную ручку ее.

— А что значит любить? — спросила она с простосердечием.

А что значит любить? — повторяю сам я, обращаясь к читателям... И вопрос этот, право, не так глуп, как он кажется сначала. Я много читал в книгах, еще больше слышал мнений людских об этом предмете, и ни одного согласного. Один говорит, что любить значит желать, другой, что любить — отказываться от природы; тот уверяет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для богачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, назвав любовь стремлением к возрождению посредством красоты, но это определение страсти — не описание ее действий, не характеристика ее феноменов; и что вы ни говорите, а, кажется, я останусь при своем вопросе.

Не дивитесь же, милостивые государи, что этот простой вопрос ужасно смутил неопытного любовника; он вовсе не был приготовлен разменивать свои чувства на мысли и

¹²⁸ Мускусная роза (фр.)

мысли на выражения. Нить его идей прервалась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; он произнес несколько неясных звуков, потупил очи на цветок, который Жанни держала еще в руке, и, желая найти точку опоры, сказал:

— Это колокольчик?

Должно полагать, у него крепко звенело в ушах, когда он назвал тюб-розу колокольчиком. Жанни не могла удержаться от смеха.

— Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик, — в вашей памяти, как в снегу, не расти цветам.

— Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, прекрасная Жанни! Менее ль прелестна райская птичка оттого, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовонна роза, если назовут ее другим именем?

— По крайней мере не менее забавно. Заметьте, Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не распускаются так широко; пестики их гораздо ниже и пушистее; притом образование самого цветка...

Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой лежал он.

Виктор, извольте видеть, был немножко близорук. Между тем длинные локоны ее касались лицу ученика, а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбудитель электричества. Оттого прекрасному полу так нравятся гусарские усики, от того же самого и Виктор почувствовал на сердце прикосновение к своему челу кудрей красавицы... Невольно он поднял очи: перед ним дышали вешнею свежестью румяные щечки и благоухающие губки распускались как заря. Это было выше сил его. Он прильнул своими устами к устам искусительным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе!

Видали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясаемы дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушеваясь, сливаются воедино и крупной слезой ниспадают, сверкая. Так точно слились устами наши любовники, забывая весь мир в упоенье восторга. Поцелуй — сладостное чувство, милостивые государи! Новейшие физиологи недаром назвали его шестым чувством, изящнейшим, нежели все прочие, и природа не без цели одарила одного человека таким нежным орудием оного — устами с чрезвычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный поцелуй, но что может сравниться с первым, девственным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, даже самое обладание — все, все, что люди привыкли называть счастьем, и если вы испытали все это, сознайтесь, что оно не в состоянии дать вам радости, чистейшей сих невозвратимых мгновений.

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сердитым видом вырвалась из его объятий.

— Я никогда не ожидала от вас этого, господин Виктор, — произнесла она голосом обиженной гордости и, как серна, прыгнула за дверь теплицы.;

Изумленный любовник остался на месте с распростертыми руками... Если б граната лопнула в его кармане, он бы менее был испуган, чем такую нежданною строгостью.

Глава V

*Les femmes ont l'humeur legere,
La notre doit s'y conformer;
Si c'est un bonheur de leur plaire,
C'est un malheur de les aimer.*

Раму¹²⁹

¹²⁹ Женщины легкомысленны, и мы должны им в том потакать; если нравиться им — счастье, то любить их — несчастье. Парни (Фр)

Виктор протирал глаза, не веря сам себе. «За что ей рассердиться? — думал он. — Кажется, она была равнодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень понятно отвечала на пылкие взгляды. Конечно, поцелуй был неожиданный, но не похищенный силою, и, сколько могу припомнить, ее губки не убежали от моих. Теперь или рацее обманулся я?»

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев своей любезной, Виктор как подсудимый явился в столовую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взоры Жанни: она, как ртуть, убегала от встречи. Злая девушка с гордой холодностью и с видом обиженного достоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный бемольным тоном обращал к ней вопрос, то односложные да или нет, словно иголки, входили ему в сердце.

В первый раз заметил он, что Гензиус несносен со своими расспросами: как ведется в России гроссбух? разделяют или соединяют в одну тетрадь *credet* и *debet*?¹³⁰ венецианскую или амстердамскую методу предпочитают для счетов и красными ли цифрами вписывают транспорт? — у человека, который не знал иного транспорта, кроме срывающего четыре куша с банкомета. Заметил, что шутки хозяина длиннее двух аршин с четвертью и что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, существующей между предохранением, охранением и сохранением пикулей, об упадке просвещения, что ясно доказывается введением сапогов вместо башмаков с тонкими подошвами, и, наконец, о размножении моли, верного предвестника близкого преставления света.

Между тем Жанни оставалась неизменно равнодушной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким упорством, он, наконец, убежал в свою комнату, с твердым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к ужину.

— Это ни на что не похоже, — говорил он сам с собою, отмеривая саженные шаги по паркету, — так молода и так упряма! Что я говорю — упряма? Так причудлива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, которые не стали бы оттого короче!

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее ушко; от ушка далее и далее; наконец он сел, как будто желая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами.

— Да, да, это правда — она хороша, слова нет, что хороша, — приговаривал он, будто нехотя, — сложена — чудо! Умна, как день, но зато уж зла, как медяница, как змея с погремушками... Я поздравляю себя, что разлюбил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что ненавижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни, — вы можете пленять теперь на свободе эту двуногую треску — Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за леденцы.

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился в дверях.

— Самовар подан! — возгласил он однозвучно. Виктор глядел на него, расширив глаза, как будто слуга, произнес что-то на санскритском наречии.

— Пожалуйте кушать чаю! — сказал вестник.

— Кушать чаю? — повторил Виктор умильным голосом., — Сейчас иду, друг мой! Иду, но для того, чтобы показать спесивице, что значит оскорбленная любовь! — присовокупил он, оправдываясь перед собою.

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, вместо того чтоб сесть по-прежнему подле Жанни, рассыпаясь жемчугом в иносказательных приветствиях, подсел к старику, хозяину, и пустился шутить с ним наперегонки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, показывала зубки, когда он выказывал остроумие или рассказывал

что-нибудь смешное, теперь не удостоивала его шуток даже улыбкою, заводила незначущий разговор с матерью и, будто назло ему, все делала наоборот. Обыкновенно, в первой степени любовного масонства, ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все прихоти, все причуды милой особы и таким нежным вниманием, такими маленькими

¹³⁰ Кредит и дебет (лат.)

услугами пробивать тропинку до ее сердца. Подобный обмен предупредительности уже существовал между нашими любовниками, и они оба могли перечесать по пальцам, что каждый из них любит или не любит особенно; ни одна безделица, которую только глаз любви может заметить, только сердце любви оценить, не предлагалась без взаимной придачи улыбки или слова. Напротив, теперь Шанни будто вовсе забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее, не дослушав его речей, Жанни обращалась к другим с пустыми вопросами. Виктор выходил из себя, стараясь казаться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, но чудовищем, самым милым в свете; он готов был тогда разбраться с нею навек и расцеловать в пух. Беда, когда западет в ретивое страсть, которой мы не в силах ни бежать, ни победить!

Я, право, не знаю, что важнее для любовников: первая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, когда они приходят вдруг, подобно радуге в бурном дожде.

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою гордость униженной перед невниманьем.

— О женщины, женщины! — восклицал он. — Существо бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодарное!

Он не первый и не последний вымещал на целой половине рода человеческого досаду на одну девушку. В любовных и в политических упреках обе стороны бывают обыкновенно чрезвычайно справедливы: старое и новое, небывалое и бывшее — все смешано вместе, все обрывается на голову обвиняемого; каждый умильный взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то есть в обвинение за неблагодарность.

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он решился писать к жестокой.

Начинать переписку побранкой — довольно щекотливая вещь; она казалась, однако ж, самую естественною и всего более справедливою для неопытного моряка. Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал листы за листами, то находя выражения свои чересчур жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и отворял окно, будто наживая прилива красноречия от полнолуния, или с жадностью затягивался трубкою, высасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные нелепости текли струей на бумагу и, подобно ракете, рассыпались звездами слов. Чего там не было! И обольстительные упреки, и нежные угрозы, и клятвы, и обеты — словом, все выходки сердечного безумия, все грезы любовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это было вкратце, — и на третьем листе он дописывал начало, как вдруг ему показалось, будто буквы растут, растут перед пером его, что они, свившись хвостами и усами, начинают извиваться и прыгать, как змеи. Изумленный таким явлением, Виктор снял со свечи, протер отяжелевшие глаза, — не тут-то было! Дети азбуки не унимались: строчки бегали вкось и вдоль и словно дрались между собою, запятые и многоточия (вещь необходимая в любовном письме, как дробь в охотничьем заряде) летели со стороны на сторону, целые фразы кружились, смешивались, перескакивали бог весть куда, до того, что у Виктора зарябило в глазах. Неодолимый зевон, как очарованием, разверз его челюсти, и голова тихо, тихо скатилась на неоконченное письмо.

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, который, украв у соседа петуха, набрел, пробираясь через кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того света, покинув могилы, чтоб погреть свои кости на месяце, играли, перекидывая своими головами как мячом; гробовые одежды лежали рассеяны. Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давнул несчастного вестника зари, что он закричал кокареку благим матом. Смутились пляски покойников; каждый, надевая голову, какую послал ему случай, и одежду, какая попала под руку, швырком и кувырком кидался в могилу. Наутро любопытные нашли весь гробовой мир вверх дном: известный красавец лежал с беззубою головою старухи, у старика профессора философии накинута была набекрень детская головка, отставной солдат с деревянного ногою лежал в душегрейке, а кирасирские ботфорты красовались на маленькой ножке танцовщицы.

Проснувшись на заре, точно в таком же беспорядке нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он его сверху вниз и снизу вверх, добиваясь толку; напрасно искал он, что ему хотелось вчера выразить, — это было настоящее вавилонское смешение языков.

— Или я сегодня умнее вчерашнего, — сказал он наконец, раздирая в куски послание, — или вчера был так мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала обо мне Жанни, если бы я грянул в нее такую нескладицею?

Совершив *autodafe*¹³¹ над лоскутками, Виктор вышел в сад подышать свежим воздухом и собраться с мыслями на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные деревья осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали как ослиные уши, и даже аист на башенке оранжереи — все напоминало картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у дверей теплицы; сердце вечно влечет нас туда, где вкусило оно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах.

— Там никого нет? — спросил Виктор, желая сказать что-нибудь голландцу.

— *O neen, myn heer*¹³², — отвечал тот, подвигая на сторону колпак свой, — как никого нет? Там премножество птиц и цветов.

— Утиная шутиливость, друг мой! — возразил Виктор, захлопнув за собой двери.

— *Soo, soo!*¹³³ — произнес голландец, пыхнув очень значительно дымом и качая головою; дальнейших объяснений думы его надобно было бы ожидать, как поздней капусты. Он удалился, улыбаясь лукаво.

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие, — по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какою чистою добротою бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в милом цветке, в тихом кустарнике — родного; мы считаем людей и верим себя самих лучшими, и точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постояннее. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и, как победителя, возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет сердцем биению жизни во всем творении, гармонии блага — во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и народов. Только это двойное созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, сливаемые в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тюб-роз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская перь, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью, — чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поцелуем, и

131 Сожжение (фр)

132 О нет, сударь (голл.)

133 Так, так! (голл.)

громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою очередь, заглушён был звуком поцелуев Викторových, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

— Полно, полноте, Виктор! — кричала красавица, заслоня уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний. — Я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

— Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

— Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать — счетом; а кто бы успел считать их? — возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румянцем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так простосердечно игрива, — Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвил руку около стройного ее стана и неприметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убегала от милых уст, уста ее преследующих, так, что Виктор срывал поцелуи, как розы за розою.

— Мы перечтем снова, — произнес он, и между всяким словом было тире из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь иероглифом.

В проверку счета вкрадывались ошибки, и поверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили ты друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово..

— Я хотела помучить тебя, Виктор, — говорила Жанни, расправляя розовыми перстками волосы на голове его, — но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою, — примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливица, — и, наконец, не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор!

— За что я обожаю тебя, коварная девушка!

— Не сердись вперед, Виктор, — ты так страшен в гневе; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

— Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия, — по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

— О нет, друг мой, — отвечала она простодушно, — я уже привыкла быть равнодушною, а люблю впервые.

— И впоследствии, Жанни?

— Однажды и навсегда, Виктор!

— Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что значит любить. И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животнo-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платоническою методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне, что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою, каплей по капле вкусить свое блаженство.

Глава VI

«Я, Душенька, люблю Амура!»

*Потом заплакала как дура;
Потом, не говоря двух слов,
Заплакал с нею рыболов,
И с ним взрыдала вся натура.*

Богданович

Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранжерею, да и прелестная голландочка не опаздывала приходить туда кормить своих канареек, лелеять свои цветы заморские. Само собой разумеется, что не забывала и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому племени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с природы, а от флегмы садовника можно было услышать только soo, soo, сопровождаемые весьма значительными и вовсе непонятными пуфами табачного дыма. Полагать должно, они не скучали, и хотя словарь счастливых очень ограничен, — но они не могли наговориться об одном и том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить ко вчерашнему.

Живучи в таком элизиуме, наш лейтенант вовсе позабыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь на горячий патриот был он, но редко вспадала ему на ум горькая мысль, что французы идут в сердце отечества. «Нет, Русь не падет! — восклицал он, пылая. — Наполеон поскользнется в крови нашей!» — и успокаивался, и утешал себя верою, что все это скоро кончится, и оправдывал себя вопросом; что могу я сделать? Любовь обезмолвила, наконец, все прочие чувства; завтра для него не существовало; он сам не жил в самом себе, — он будто променялся душою с милою.

Однако ж этот промен был невыгоден для Жанни, и она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и ею. Домашний порядок, доселе верный как часы, совсем потерял черед под ее надзором. Однажды в пяльцах вместо какого-то узора она вышила целую строчку литер W по зубчикам косынки. В расходной тетради, вместо итога, явилась чья-то мужская голова — Юлия Цезаря, по ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хотелось танцевать, в часы уроков на арфе — молиться. То забывала она ключи в ящике, то вместо сладкого миндаля насыпала для пирожного горького, то оставляла стул посреди комнаты — вещь, которая для матери ее была страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда она налила ему кофе без сахара и в задумчивости сорвала какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось смертным грехом в доме его.

— Два аршина с четвертью! — вскричал он, отворив большие глаза. — Это что-нибудь да значит!

Между тем, однако ж, как Амур готовил суматоху в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его стрелы.

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, притаясь, не думал напоминать об отправлении; а старик, чрезвычайно довольный его обществом, казалось, совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая хозяйка привыкла к нему, по собственному ее признанию, будто к старому ореховому комоду, который отдан был за нею в приданое. Притом, поздняя осень делала затруднительным, если не вовсе невозможным, плавание по бурному побережью Зюйдерзее, а дурная погода избавляла от гостей, которые бы могли подозревать или угадать что-нибудь в странствующем приказчике, на которого, правду сказать, он несколько не походил с головы до пог и с речей до поступков. Словом, все обнадеживало нашего моряка, что он долго просидит на мели, а там, а там... доживем — увидим, случится — так подумаем! И между тем часы летели, и сердце отживало годы счастья.

Утром первого ноября, светел как майский мотылек, порхнул Виктор в теплицу и нашел там Жанни в горьких слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и отзывом на них были только новые слезы, новые стенания.

— Минули мои радости, — наконец произнесла она, — Виктор меня покидает!

— Какие черные мысли, милая Жанни, — скорее замерзнет пламень, чем я изменю

тебе!

— Ах! зачем ты не изменишь мне? Тогда по крайней мере я бы в гневе и в презрении нашла отраду разлуке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невинного!

— Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, еще все может перемениться к лучшему!

— Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, когда все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я полюбила тебя, Виктор!..

— Я не понимаю тебя, милая!

— Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял никогда вести разлуки, если б это могло удержать тебя со мною.

— Возможно ли: мне готовят отправление?

— Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя на эскадру; завтра ночью ты отправляешься!

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею любезною; наконец вспомнил, что он, как мужчина, должен утешать ее; но Жанни, которую горесть сделала причудливою, с сердцем отвергла его изношенное красноречие.

— Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе ладья показалась бы мне люлькою, но, воображая тебя на ней одного, я всякий час буду страшиться потопления... И потом, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забудешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть станешь смеяться над простотой Жанни, когда Жанни будет плакать, горько плакать!..

Рыдания прервали слова ее.

Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары две заветных слезинок, однако ж, лаская и уговаривая, уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить Жанни.

— Я откроюсь твоему родителю, — говорил он, — и буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа и потом невозможности возвратиться к тебе: война ведь не вечна, как любовь наша. Притом еще два дня могут принести много перемен!.. — Жанни поглядела исподлобья, как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; наконец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч солнца сквозь вешний дождь; юность так охотно вверяется надежде и сама спешит навстречу обмана.

Уже все собрались к обеду.

Хозяин, заложив руки в карманы, преважно рассказывал Виктору о новом изобретении цилиндрических ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на картину, изображающую столовые припасы, наигрывал носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лейтенанта, и уже хозяйка вошла в комнату с рдеющими от огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскричал:

— Так и есть, вот болтун Монтань к нам тащится.

— Капитан Монтань! — вскричала испуганным голосом хозяйка.

— Это настоящее божеское посещение, — сказал Саарвайерзен.

— Разоренье, да и только, — сказала госпожа Саарвайерзен.

— Он для меня несноснее барабана, — сказал первый, s — Он для меня страшнее моли, — сказала вторая. — Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки с лимонных дерев для настойки, — сказал хозяин.

— Передвигает с места всех мандаринов и перервет мои ковры своими варварскими каблучищами, — сказала хозяйка, брянча, однако, связкою ключей.

Делать было нечего; живучи за городом, теряют право отказывать скучным людям, и несовместно с добротой, не только с учтивостью, отказать приезжему из-за пятнадцати миль. Приятель-неприятель уже всходил на лестницу, и гостеприимное прощу пожаловать встретило его у порога, между тем как он напевал еще песню:

Les Francais ont pour la danse

Un irresistible attrait;
Et de tout mettre en cadence
Ils ont, dit-on, le secret;
Je le crois,
Quand je vois,
Ces grands conquerants du monde
Faire danser a la ronde
Et les peuples et les rois!¹³⁴

Двери отворились, и капитан *garde-cote*¹³⁵ Монтань-Люссак влетел на цыпочках в комнату. Он был человек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти от полу, с кроликовыми глазами, с свиным носом и с настоящею французскою самоуверенностью. На нем был синий мундир с одним эполетом, и он подпирался шпажкою, которая, вместе с тонкими козьими ножками, делала его весьма похожим на треногую астролябию.

— *Ma foi*¹³⁶, — сказал он, раскланиваясь с видом благосклонности, — недаром говорят, что в рай претрудная дорога. Ваш фламгауз, *mon bon monsieur Sarvesan*¹³⁷, — настоящий рай Магометов, потому что одна *mademoiselle*¹³⁸ Жанни стоит всех гурий вместе, — и с этим словом он так махнул мокрою шляпою, что брызги полетели кругом.

— Вы так любезны, капитан, — отвечала Жанни с лукавой улыбкой, вытирая платком платье, — что нет средств сухо принять ваши приветствия!

— Вы божественно снисходительны, мадемуазель Жанни, — возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не замечая насмешки, — и я принес жертву вашей божественности — премиленький рисунок воротничка, — в нем вы покажетесь, как персик между листьями. А вам, *madame Surver-sant*, — сказал он, обращаясь к хозяйке, — выписал я рецепт, как сохранять в розовом варенье природный его цвет.

— Лучше бы научили вы средству сохранять ковры от мокроты, — отвечала она, с ужасом глядя на струю дождя, текущую со шляпы героя.

— Капитан — неизменный угодник дамский, — молвил хозяин, трепля его по плечу, — у него в кармане всегда найдется про них какая-нибудь игрушка и в голове запасный комплимент!

— *Par la sainte barbe* (клянусь пороховою каморою), — возразил капитан, вытягивая свой туго накрахмаленный воротник, — мое сердце готово всегда упасть к ногам прекрасных, а шпага — встретить неприятеля!

— Славно сказано, капитан, — только, видно, у вас сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать его, как червонный туз; ну, а, кстати, о шпаге: много ли ей было работы пронзать и щупать тюки с запретными товарами?

— Я задавлен делами, *vrai dieu*¹³⁹, задавлен! — отвечал французик, зачесывая на

¹³⁴ Французов непреодолимо тянет к танцам; говорят, они владеют секретом все обращать в такт; я верю этому, когда вижу, как эти великие завоеватели мира заставляют и народы и королей кружиться в хороводе! (фр.)

¹³⁵ Береговая стража (фр.)

¹³⁶ Честное слово (фр.)

¹³⁷ Добрейший господин Сарвезан (фр.)

¹³⁸ Мадемуазель (фр.)

¹³⁹ Истинный бог (Фр.)

обнаженный лоб скудные волосы. — Ваши соотечественники, вместо благодарности нашему доброму императору за то, что он не столкнул Голландию в море, беспрестанно заводят по всем шинкам заговоры, а забияки русские и англичане того и жди, что нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли тайную высадку, чтоб захватить крепость и порт, — безделица! К счастью, сударь, я своею проникательностью уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были захвачены, — и в чем, как вы думаете? В ромовых бочонках, сударь, в ромовых бочонках!

— Вам должно воздвигнуть статую во весь рост на бочонке вместо подножия, — сказал, улыбаясь, хозяин.

— Этого мало, *gepp Sans-fer, Sans-ver-Sarrasin*, извините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими именами, — вообразите себе, что эти вандалы, англичане, эти враги человечества, то есть французов, собрались нас зажарить заживо, вместе с домами и кораблями, открыли в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб ввести потихоньку зажигательные вещества в курительном табаке, в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, даже в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; все каблуки французских генералов начинены были порохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из нас поодиночке...

— И вы опять открыли их?

— *Mais cela va sans dire* (это и без слов разумеется), под крыльями французского орла и до тех пор, покуда я охранитель берегов здешних, вы можете спать как за каменного стеною.

— Не угодно ли же гению-хранителю отведать нашего обеда? — сказал хозяин, наскучив его болтаньем, — суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи!

Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хозяйке, Виктор — дочери, а сухощавый Гензиус и шаровидный хозяин, как постный сочельник и сытное рождество, замкнули шествие.

Я думаю, известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат любезности с дамами, по крайней мере Монтань-Люссак несколько не сомневался, что он урожденный остроумец и непобедимый человек в искусстве нравиться. Правда, что переслащенные комплименты его подернулись уже мохом со времен Франциска I, но зато он отпускал их Жанни самым новым, хотя весьма смешным образом. Обо всем другом рубил он сплеча, не краснея, и между тем не забывал ни стакана, ни тарелки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота разрешалась безмерным хвастовством.

— А каков наш маленький капрал? *Soit dit sans vous déplaire* (не во гнев вам будь сказано), — сказал он, качаясь на стуле. — С каждой почтою присылает он к нам ключи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петербурге, и тамошние дамы заказали тридцать тысяч пар башмаков для встречного бала! Что это за прелестная земля Московия, когда б вы знали! Рай, а не край.

— Вы разве были там? — спросил Виктор.

— Я не был, *mais c'est egal*:¹⁴⁰ мой брат собирался туда ехать. Представьте себе, что там падает осенью град в гусиное яйцо, из которого пекут превкусные хлебы; соболи водятся там в домах, как у нас мыши, а всего забавнее, что для верховой езды в горах употребляют лошадок, называемых коньяк, которые не больше собаки.

— Я думаю, однако ж, что храбрые ваши одноземцы немного найдут прелести и поживы в краю, нарочно опустошенном, — сказал Белозор.

— *Bagatelle* (сущяя безделица), — возразил капитан. — Что значит русские морозишки для испытанных гренадеров, которые кушали мороженое, приготовленное во льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо на солнце Египта. *Allons chantez-moi ça*¹⁴¹, я сам стоял на биваках в пирамиде Вестриса.

¹⁴⁰ Но это все равно (фр.)

¹⁴¹ Ну, рассказывайте (фр.)

— Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать, — заметила Жанни.

— Vous y etes, mademoiselle (вы угадали), но это все равно, дело в том, что Московия не чета Египту; пройти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить песню.

— Трудно только выйти, — сказал с насмешкою Виктор.

— А, а! господин любит пошучивать, но от этого нашим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов.

— Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные фабрики? — спросил лукаво хозяин.

— Покуда нам довольно и голландских, — отвечал капитан. — Нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубы, костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсаживают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих варваров образовать даже климат, и благодаря стараниям Фуше теперь он немного уступает итальянскому. Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При торжественном вступлении его в Москву...

— В Москву?! — вскричал Виктор, едва не вскочив со стула. — Эта шутка переходит уже границы терпения!

— Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин странствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили под землей, если не слышали этой новости; даже в Пекине все немые толкуют об этом!

Надобно сказать, что флот давно не получал известий с театра войны, а ван Саарвайерзен не хотел печалить русского вестью о взятии его отечественной столицы.

— Москва точно взята, — сказал он ему по-немецки, — но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерь себя.

Но эта весть как громом поразила юношу, и, наконец, худо скрытая досада овладела им. Болтун продолжал по-прежнему:

— Да, сударь, перед Москвою мы разбили пятисоттысячную армию, которою командовал Суворов или Кантакузен, ou quelque chose comme cela;¹⁴² тут дрались даже старики с бородами по колена, которые служат им вместо лат или наших хвостов на кирасирских касках; картечь или пуля ударит, да и запутается в волосах!.. При этом деле были два полка самоедов на лыжах, — mais on enfile sa comme des grenouilles¹⁴³, — в полдень все было кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя французов от души, на руках внесли победителя в город. По русскому обычаю, герою поднесли в пироге запеченного китенка, по счастью накануне пойманного в Белом море.

— Оно полторы тысячи верст от Москвы, — с презрением сказал Виктор.

— Точно так, точно так и было до Петра Великого; но он, для удобства столицы, велел подвинуть его поближе. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких мало, и если б подольше поцарствовал, то весь бы свет обратил в океан и посадил на корабли. Но я удаляюсь от рассказа. К вечеру дан был бал, на котором музыку составлял звон всех московских колоколов; говорят, что эффект был восхитительный! Для редкости, два эскадрона пленных казаков отличились в народном танце, который у них известен под именем пляска. Все лица днем и все улицы ночью были иллюминированы. От избытка приверженности к вождленным гостям жители зажгли дюжину церквей и несколько кварталов.

— Чтобы все французы погибли там! — вскричал Виктор.

В этот миг слуга принес английские газеты.

— Москва освобождена... Французы бегут! — вскричал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал его Виктору. Весть об изгнании была там напечатана большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обратил благодарные очи к небу, но потом желание

¹⁴² Или что-то вроде этого (фр.)

¹⁴³ Но их нанизывают, как лягушек (фр.)

укротить хвастуна вырвалось у него насмешками.

— Итак, господин капитан, ваши египетские герои бегут не оглядываясь!

— Sur maoi¹⁴⁴, — вскричал тот, — это газетный вздор, ото зажигательные известия английские; я никогда не видывал, чтобы французы от кого-нибудь бегали...

— Может быть, оттого, что вы бывали тогда впереди всех, — сказал Виктор насмешливо.

— Мне кажется, господин рыцарь аршина, вы на мой счет изволите забавляться? Douze mille bombes!¹⁴⁵

— На ваш счет, господин герой таможни? Нимало: я бы ничего не поверил вам в долг.

— Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли вы, что я происхожу по прямой линии от славного Монтаня, который так же умел владеть пером, как шпагою?

— В таком случае вы оправдали на себе басню, в которой гора породила мышь!¹⁴⁶

— Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворянин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стоили острия моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя.

— Дерзкий хвастун! Если б мы были не в доме почтенного человека, вы бы получили должную награду; впрочем, вы можете счесть, что взяли ее.

— Так знайте и вы, что если б не этот стол, я бы пронзил вас насквозь, — вскричал ретивый француз, — и с этой минуты вы можете считать себя мертвым!

Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. Нахотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на этого шута. Согласие восстановилось за бутылкой шампанского, которую гости распили за здоровье победителей, каждый разумея в тосте, кого ему хотелось.

После кофе капитан с значительным видом приблизился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который собирается говорить поучение, выставил вперед козлиную ножку и умильным голосом попросил хозяина удостоить его минутным, но особенным разговором о важном, очень важном деле. Слыша это, все лишние поспешили удалиться.

Глава VII

Утешься! Индия осталась за нами.

Я. Хмельницкий

О чем и как шла таинственная беседа Монтаня с хозяином, история умалчивает. Только через полчаса двери кабинета растворились, шумя, и капитан, надувшись как индейский петух, с гневным видом вышел оттуда, крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал его повторениями:

— Нос, сударь, нос! Говорю я вам — нос в два аршина с четвертью!..

Не взглянув ни на хозяйку, которая сидела с Гензиусом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом повторяла с Виктором песню собственного сочинения, сердитый герой перешагал через комнату, ворча, и, не поклонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя с лестницы, он приговаривал:

— Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне дорого заплатите за эту обиду, да, да, господин Сар-сур-сир, — между тем как наконечник волочащейся по ступенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк подков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был далек от дому и мыслей его обитателей.

¹⁴⁴ Клянусь (фр.)

¹⁴⁵ Двенадцать тысяч бомб! (фр.)

¹⁴⁶ Игра слов — montagne и Montaigne. (прим. автора)

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайерзена. Старик ходил по комнате, против своего обыкновения весьма скоро; на лбу его еще видны были морщины досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Ласково притянул он ее к себе и поцеловал в голову.

— Добрая девушка! — сказал он, — не правда ли, ты еще не хочешь покинуть отца своего?

— Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюшка? — робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, врасплох.

— Так, милая, так; мне пришло на мысль, что весною видел я молодых ласточек, которые чуть оперились и хотели покинуть кров родимый; бедняжки попадали из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки похожи на ласточек, Жанни...

— Не знаю, батюшка, только я не желала бы век разлучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с... Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас попрошу.

— Изволь, изволь, моя милая; конечно, тебе понравилась какая-нибудь игрушка: перстенок, или шаль, или заморская птичка? Хоть райскую куплю, душенька; плуты купцы ухитрились и в раю найти товар для вас. Говори; я ничего для тебя не пожалею.

— О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ничего не остается желать в этом отношении, но... но вы не рассердитесь, батюшка?

— Рассержусь, если ты долее станешь скрывать. Нужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу такую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли мадам по-ученее, я найду такую, перед которой и мадам Сталь — не больше как словесная пирожница; хочется ли танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что протанцует тебе гавот в бутылке.

— Вы все шутите, батюшка... а я...

— А ты небось в первый раз вздумала важничать? Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебе в голову?

— И в сердце, батюшка... Мы... я, Виктор...

— Да, кстати, друг Виктор, — сказал хозяин, прерывая ее и дружески сжимая ему руку, — знаешь ли, что нам скоро должно расстаться?

— Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин мой. Нам должно расстаться или ненадолго, или навсегда. Коротка будет речь моя: ни мой, ни ваш откровенные нравы не имеют нужды в длинных околичностях и блестящих словах... Я люблю дочь вашу, она любит меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный словом вашим, я по окончании войны прилечу сюда жениться.

— Жениться!.. — вскричал с изумлением Саарвайерзен, отступая на три шага. — Жениться? Это коротко и ясно, Виктор, и быстро, хоть куда, да едва ли и не безрассудно также! Сегодня, никак, целый свет взяла охота свататься на моей дочери: не успел сжить с рук этого фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтаня, и другой готов уже на смену.

— Я смею надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите меня на одну доску с этим искателем кладов?

— Сохрани меня бог, два аршина с четвертью. Я скорей бы согласился на своей фабрике век выделывать попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей моей ткани!

— Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел на то единственного, по-моему, права: ее взаимности и пламенного желания сделать ее счастливою!..

— Любезный батюшка, я сердечно люблю Виктора! — вскричала Жанни, ласкаясь к нему.

— Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая... Скажи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце?.. — возразил отец. — Девушки еще за куклами так же часто говорят люблю, как дьячки аминь, нисколько не понимая, что это значит, и я дивлюсь только одному, как смела ты сказать это слово чужеземцу, не спросясь ни отца, ни матери, и раньше восемнадцатилетнего возраста. Что касается до тебя, Виктор, тебе не мудрено было

полюбить хорошенькую девушку и единственную наследницу!..

— Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благосклонности, но не в уважении. Я имею в России независимое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы я подал вам повод сомневаться в моем бескорыстии. Отдайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду не менее счастлив, не менее благодарен... Я буду богач, когда Жанни принесет мне в приданое любовь свою и согласие ваше...

— Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще лучше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам, есть ли в твоём предприятии хоть нитка благоразумия? Я знаю о тебе столько же, как о летучей рыбке, которая взлетает над морем и опять скрывается в море. Не обижаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при записке в долговую книгу супружества надобно бы для дочери желать должайшего знакомства и вернейшей поруки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен опасностью. Монтань уже подозревает что-то и не преминет донести своему правительству, у которого я давно на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться тихомолком, покуда минут смутные обстоятельства. Кроме того, волей и неволей мы в войне с русскими, и бог весть, когда она кончится. Да если б и кончилась скоро, — скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? Посуди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться с любимой дочерью...

— Даю вам священное слово каждые два года приезжать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда поселиться с вами...

— И этого не хочу, любезный Виктор... Жена должна для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не заикнулся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридевять земель... Она так молода, ты так ветрен, что через полгода, статья может, оба не вспомните и не захотите узнать друг друга.

— Если б нам не суждено было видеться до второго пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу моего сердца, — сказал Виктор.

— Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем, — присовокупила Жанни решительно.

— Все это очень громко и очень ломко, друзья мои; вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непродолжительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша не полиняет ни от времени, ни от препятствий, и по тому-то самому полгода-год разлуки нисколько не помешает делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и найдешь Жанни с теми же чувствами, — с богом, я не стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о тебе, а Жанни испытает себя.

— Могу ли я принять это за неизменное слово? Можем ли променом колец заверить будущий союз наш?

— Что касается до моего слова, любезный Виктор, ты можешь построить на нем замок, не воздушный замок, разумеется, а другое считаю излишним. Зачем надевать на себя путы, бесполезные между людьми благородными и предосудительные, если судьба разведет вас... Ты человек военный, тебя могут убить, и тогда Жанни останется вдовою, не быв супругою. Теперь обрученье ваше походило бы на обрученье дожа с морем.

— Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не вздорная прихоть, нет, — это утешение сердцу, это залог будущего счастья... Скрепите же его, освятите его своим благословением, дайте мне отраду считать себя не чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право называть Жанни своею невестою, называть вас отцом своим...

Виктор склонил колени, прижимая руку старика к груди...

— Батюшка, — восклицала Жанни, возводя к нему заплаканные очи и объемя его колена, — сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих!

— Полно, полноте, дети! — вскричал почти тронутый старик, вырываясь из их объятий. — Что это за картина венецианской школы! Что это за водевильные песни... Встаньте, утешьтесь... И я с вами разрюмился... слезы каплют у меня с лица, будто с молодого сыра. Встаньте, говорю я вам; я дал слово, и более ни слова... Не требуйте ничего

лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто-нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время образумиться.

Виктор ясно видел, что это полусогласие было чуть-чуть не отсроченный отказ; Жанни глотала все доказательства отеческие как зерна перца; но делать было нечего, и они оба, поцеловав у старика руку, удалились с кисло-сладкими лицами.

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассыпая проклятия на обе стороны; досада его раздражалась еще более тряскою рысью огромной фризской лошади, на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, то влево по широкому седлу. Спутник его, морской солдат самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скорчившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коротенькую трубку, при каждом скачке капитана приговаривал:

— Проклятые лошади!

— Лошади и люди, Брике, вода и земля — все негодно в этой несносной стороне, *douze cents bombes!*¹⁴⁷

— Это и мое мнение, *mon capitaine!*¹⁴⁸ — примолвил Брике.

— ЭТО И мое убеждение, Брике, мое душевное убеждение. ЧТО такое здешние мужчины? Гордые лавочки! Что такое здешние дамы? Бестолковые поварихи. А девушки? Это ходячие кувшины с молоком. Никакого тона, *mon cher*¹⁴⁹, никакого умения жить в свете, ни малейшего взгляда отличать достоинства... Для них кусок лимбургского сыра с червями предпочтительнее любого дворянина с тринадцатью поколениями предков!

— Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и я, право, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней...

— Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была одна шутка, *douze cents bombes*, если не шутка! Я только для забавы посватался на дочери сукошшка, и как ты думаешь, он принял мое предложение?

— Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнутыми карманами и сердцем, — отвечал лукаво Брике.

— *Rien moins que ça*, Брике, ничего менее этого: он дерзнул отказать мне...

— Вы шутите и со мною, капитан!.. Полагаю, что в его кочане немножко поболее смыслу.

— Весь его смысл не стоит пары собачьих подков, Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень важный человек, оттого что на полу у него бархатные ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика птица! Да если б его сукном можно было обтянуть земной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда отсмею ему насмешку. Не ему чета были бургомистры амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней серебром, а его-то и подавно можно просеять сквозь судебное решето.

— Не только можно, да и должно, капитан, — он закостенелый оранжист.

— Он мятежник, — это по всему видно. Во-первых, читает английские газеты.

— Во-вторых, богат, как жид.

— В-третьих... да что за счеты? Виноват кругом, да и только.

— В-четвертых, держит у себя подозрительных людей.

— Каких подозрительных людей? — сказал Монтань, обернувшись к своему оруженосцу. — Про каких людей говоришь ты?

¹⁴⁷ Тысяча двести бомб! (фр.)

¹⁴⁸ Капитан! (фр.)

¹⁴⁹ Дорогой мой (фр.)

— А вот изволите видеть, mon capitaine: недели с две тому назад ходил я с товарищами дозором...

— Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу слышать, Брике, но попадешься — пеняй на себя: Наполеон не любит дележа.

— Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать города, кто — ломать сундуки.

— В том только разница, что кто ограбит королевство, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель: о каких подозрительных особах говорил ты мне?

— Ходя дозором, как имел я честь доложить вам, увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего пареченного тестя. Вот меня и взяло любопытство: дай посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу...

— Во сне или наяву, Брике?

— Я бы желал тогда быть на моей койке, капитан, и храпеть во славу божию, вместо того чтоб дрожать, увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких страшных с ног до головы, что наши саперы старой гвардии показались бы перед ними голубками; они говорили таким дьявольским языком, что у меня и до сих пор звенит в ушах.

— Это, наверно, английские зажигатели, Брике.

— Они так и глядели, капитан, как будто у них в каждой пуговице сидело по целой роте чертей. Вот и заметил я, что молодой человек, который казался их атаманом, увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с воплем кинулись за мною в погоню.

— Ты, помнится, сказывал, что их было шесть человек? — Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что оба они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была претемная, кинулся на землю и прижался к ней, как подошва. Они долго искали меня, но видя, что ничего не видно, ждали, ждали, да и пошел!

— Чудеса ты рассказываешь, Брике; ну, что ж потом?

— Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь...

— И только?

— О нет, капитан, совсем не только! Сегодня, за полчаса перед этим, после вашего обеда, стою я смиренно в поварне. Выходит туда так называемый племянник хозяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал клочок от вашего счета с президентом муниципалитета, или нет бишь, от...

— Чтоб черт взял тебя с твоими присказками! Говори коротко и просто.

— Чего проще этого, капитан, что он раскурил сигарку и сказал мне: «Спасибо, друг мой!»

— Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и вперед закаешься терзать меня своими семимильными рассказами!

— Тут каждое слово — дело, капитан. Вот изволите видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, ан это тот самый молодой человек, который за мной гнался с мельницы.

— Может ли быть? Неужто в самом деле? Да это находка, друг мой! Теперь говори, что я не гений, я с ничего заметил в этом насмешнике врага Франции и уж пугнул за него хозяина порядком.

— А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны у него на фабрике. Старик сказывает, что они машинисты, да черт ему верит. Верно, бьют фальшивую монету, ведь неспроста же он так богат.

— Еще лучше, еще превосходнее, Брике!.. Теперь и у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер. Завтра же, чем свет, донос правительству, что такой-то фабрикант печатает у себя возмутительные прокламации, собирает оружие, а что главнее всего, держит англичан для зажжения города... Славно, Брике... бесподобно! Будет чем погреть руки!

— И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и богатеть. Разве даром мы великая нация?

— Как попадет к нам в лапки да пристращают в военном суде дюжиною свинцовых

пуль, так радехонек будет отдать свою Жанни за самого сатану, не только за меня, дворянина с тринадцатью поколениями... Государственная измена — это не шутка, г-н Сарвезан, — это не шутка!

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи.

Глава VIII

*Вот так-то свет идет; но почему он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.*

Фон-Визин

Поутру, на другой день, приказ захватить Саарвайерзена был подписан комендантом Флессингена и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шума. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.

Случай — эта повивальная бабушка всего худого и доброго — натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который как аист шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань остановился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чувствуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.

«Тут что-нибудь недаром... — подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером. — Гензиус выходит от банкира. Гм, ге! Этот рыбак — самый удалой смоглер и уж не раз вырывал у меня из-под посу лакомые куски, — верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.

— Bonjour¹⁵⁰, дорогой Гензиус, — сказал он.

Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.

— Куда идете? — спросил он.

— Прямо по дороге, — отвечал он.

— Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натошак и голландский ум может летать по крайней мере как волан... Но так как я уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер!

Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что цежу сквозь зубы.

— Портер? — произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.

— Благодарю покорно, — отвечал он со вздохом, — ни минуты нет времени, до другого раза, капитан...

— И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги,

¹⁵⁰ Здравствуйте (фр.)

надо приласкать брюхо.

— Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.

— Жаль, право жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом подряде на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поеду в Фламгауз.

— И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником, — ныне начало месяца!

«На мельнице? Ага! — радостно подумал Монтань. — Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я вытащил из твоего носу червячка и без завтрака».

— Брике! — вскричал он, — следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена, и всех, кто в пей, захвати и веди в город за конвоем... мужчин и женщин. Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика.

— Будет исполнено, капитан! — отвечал Брике. — Только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки, — только из этой поживы они не брали законной себе доли.

— Будет всем пожива, — отвечал капитан, потирая руки.

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавить хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.

К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться; они, кажется, ждут чуда, которое отвратит ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставанья; она всегда для них внезапна и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и, наконец, все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило... Саарвайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружину; они звонко пробили пять.

Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.

— Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся, — произнесла она, — прости!

Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза канула на нее.

— Достойная Жанни, — сказал он, — пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.

— Два аршина с четвертью! — вскричал отец, обнимая отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои. — Откуда набрались вы этих романтических покровок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. В чудные веки мы живем, в чудные веки! — ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь. — Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста... Смотри, пожалуй.

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Дендермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, снедая печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.

— Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль? — сказал урядник.

— Что лягушки здесь царствуют, а люди живут как у нас лягушки, — отвечал один.

— Вот уж напрасно охаял Голландию, — возразил другой, — стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь недоставало? Можжевеловой — хоть не пей, свежины вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.

— И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев, — чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофей!

— Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскомину набили. Видел, брат, я, что они с кофея-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего, — весь в дырах! Небось молодые сыры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два будет!

— У всякого своя заведенция... — примолвил Юрка. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я думаю, сыт буду.

— У лентяя вечно масленица на уме, — возразил урядник, — то ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехи вдвое. Нароботаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта, и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурей в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: «марсовые, наверх!» Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!

— Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронскими! — воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихую зыбь. Запорошенные инеем дороги и плотины, будто раскинутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.

— Фландеркин-флаат! — произнес проводник, ударяя в ладоши. — Он здесь должен был нас дожидаться.

После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.

— Sapperloot! — вскричал он. — Я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова, — это неслыханно! Я его так взогрею, что мои талеры растут у него в кармане... Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и, наконец, Саарвайерзен, послав на Викторовой лошади проводника влево, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его домике, восклицая, что он разбудит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану!

Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе.

Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решился пуститься по берегу влево, для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поравнявшись с тем местом, где выброшен был бурей на берег, заметил он нечто белое.

— Посмотри, — сказал он уряднику, — мне что-то видится впереди!

— Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!

В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.

— Тише, тише, ребята! — сказал Белозор. — Мне кажется, подле пей вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья; это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроем врасплох, как утят в гнезде.

Едва дыша, приближался Белозор впереди всех... Но французы спали крепким сном, и захватить их было нетрудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев

и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепля рот.

Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.

— С какого ты судна? — спросил его Виктор.

— Мы таможенные солдаты, — отвечал он, — с брандвахты (patache) le Friseur.

— Кто у вас капитан? — Монтань-Люссак.

— Старый знакомый. А зачем вы на берегу?

— Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в средину края; мы берегли шлюпку.

— Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.

Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.

— Не прикажете ли остальных на упокой? — сказал Юрка, замахиваясь багром на связанного солдата.

— Пошел в свое место, — гневно вскричал Виктор, — и помни, что русские не бьют лежачего. Все ли готово?

— Все до крошки! — отвечал урядник. — Крестись, ребята, весла на воду... гребите!

Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она будто поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и, проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.

Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил перед нею мир, лежавший дотоле перед ее очами темною громадою, увлечен был от ней судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою... Сердце ее, кипящее юностью, легко прияло впечатление страсти, как плавкое стекло, и, как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом...

— Где ваш батюшка? Где все они? — спросил он торопливо.

— Там, где бы желала быть и я, — отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.

— Ради «Groos Vuch», юнгфров, скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!

— Батюшка в опасности?! — вскричала, вспрянув, испуганная Жанни. — За что? от кого в опасности?..

— Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан...

— Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!

— Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгфров... Говорил я вашему батюшке, что быть беде за русских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш батюшка держит у себя зажигателей-англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом... Спасибо за уведомление бургомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы...

— Заключить, судить!.. умертвить его! У тигров всегда виноват человек... Недоставало только этого к нашему несчастью... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведомьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти брильянты, которые получены только что из переделки...

— У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; притом же...

— Спешите, сударь, говорю я вам! — воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он, наверное, найдет отца ее. — Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.

— Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня, — говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь, — беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храпи бог, как девушка.

Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала, прервал речь всадника, и скоро умолк скок неопытного гонца.

Жанни была в неопишемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий... Через час места послышался стук у дверей.

— Отворите, — произнес грубый голос, — отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!

Это был Брике с командою.

— Боже мой, — вскричала хозяйка, — ото голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!

— Что ты колдуешь там, старая ведьма? — возгласил Брике. — Отворяй, или мы высадим двери прикладами!

— Что нам делать? — шептала Жанни хозяйка. — Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!

— О вещах не горюй, старуха, — возразил хозяин, — добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..

— Что угодно богу, — с твердостью сказала Жанни, — я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников... Хозяин, удержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду...

С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.

Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги:

— Батюшка! Виктор!.. — кричала она, слыша за собою гонящихся солдат. — Виктор! — повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шлюпку, но слабые звуки умирали на ветре. — Спасите! — восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском. — Виктор! — вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.

Глава IX

*...За счастьем, кажется, ты по пятам несешься,
А как на деле с ним сочтешься, —
Попался, как ворона в суй.*

И. Крылов

Знакомый голос проник до сердца Белозора; шлюпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка... С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своевольтва? Нет, нет... Он бережно поднял

драгоценное бремя и прынул в шлюпку...

— Отваливай! — вскричал он, и шлюпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.

— Остановитесь! — летело вслед ему. — Стой! или мы будем стрелять! — кричал Брике. Ружья патруля сверкали.

— Позволяю! — отвечал Белозор, спуская курок пистолета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шлюпку, по мрак и волнение мешали цельности выстрелов.

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.

— Спасибо за парадные проводы! — кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом веслами быстрая шлюпка, шипя, взбегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное ударение в уключины и плавное колебание судна погрузили Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя... Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Непостоянное течение менялось, туман неся над водами... С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.

— Держись на веслах! — сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.

— Мы заблудились, ваше благородие, — сказал урядник, — если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.

— И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого... Но постой, это колокол, раз, два, три!

Било восемь склянок. Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зияющего незримо и неотклонимо.

Колокол затих, гудя.

— Это должна быть ваша брандвахта! — вскричал с радостью Белозор к связанному французам. — Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!

— Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо фонарей по концам рей, — отвечал француз, ободренный близостью своих.

— Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь остриться некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.

— На судне осталось только двенадцать человек, — отвечал он.

— Тем лучше, — сказал Белозор. — Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть тендером. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?

— Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку-Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы! — вскричали в один голос удалые матросы.

— Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать — копейка, — жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уключинах; только бы добраться, а то все наше: пей — не хочу!

Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.

— Qui vive?¹⁵¹ — раздалось с борта.
— Отвечай отзывом, — шепотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.
— Le diable a quatre (бес вчетвером)! — закричал тот.
— C'est un bon diable (это добрый черт), — примолвил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор перескочил в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.

Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.

Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лесенке) к дверям и остановился послушать речей их.

— Ты прелюбезный злодей! — говорил Монтаню один из таможенных чиновников.

— Настоящий людоед на женские сердца! — примолвил другой.

— Небось на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц зашибу. — Это говорил Монтань.

— А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? — произнес первый голос.

— Ха, ха, ха! — отвечал капитан. — Голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.

— То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумеем под этим не одни пальцы, — сказал другой, — но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?

— Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу как маршал, разграбивший провинцию. За здоровье нареченной моей!

— То есть за толстоту мешков ее приданого! — вскричали оба.

— Само собой разумеется, — возразил Монтань, — что я жену считаю приданым, а гульдены, будь они старше Нового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда она у нас за кормою, да, чай, уж теперь и сам к неожиданным гостям в гости собирается. Я велел привезти сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, et vogue la galere (плыви, корабль), как не отдать дочери за француза!..

— И старого дворянина, — молвил другой лукаво.

— И таможенного капитана императорской службы! — гордо воскликнул Монтань. — Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!

Все подняли бокалы, восклицая:

— Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты ощиплем!..

Дверь скрипнула, и Белозор упал как звезда с неба и, напенив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтобы они подождали...

— Здоровье императора Александра! — крикнул он; по гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.

— Пейте, господа! — грозно воскликнул Белозор. — Или я заставлю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели ощипать сотню русских, ваше желанье исполнено: я русский!

— Это уж чересчур дерзко, — вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот. — Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шлюпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.

— Что я приехал на твоей шлюпке, это сущая правда, капитан! Только меня не

151 Кто идет? (фр.)

привезли сюда, я сам за долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым... Что вы глядите на меня?.. Вы мои пленники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!

Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, засверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый капитан залез под стол.

— Вы можете вести переговоры из вашей крепости, — сказал ему Белозор, — но знайте, что прелиминарная статья есть все-таки здоровье императора Александра... Да здравствует победитель Наполеона!

Французы, морщась, выпили свои бокалы.

— Теперь, господа, пожалуйста ваши шпаги; я ручаюсь вам за целость вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти в матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и также выслать их наверх; но я предупредомяю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фальконет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.

Сказано — сделано. Не зная зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогли русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покотился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не верила, что она видит это не во сне? Так чудно, так необычайно казалось ей все, что происходило.

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и, наконец, Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня!». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылаются обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора... Молодой мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фальконета и изо всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии, батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно, — голос его замирал в стене ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня!», погонные пушки были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал:

— Обдуй фитиль! Пли!

Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель, и пошло рикошетами далее.

— Покуда снимают с нас только шапки, — сказал Белозор, глядя на сорванный топсель, — но скоро доберутся и до головы.

— Вторая! пли! — раздалось с форкастля.

Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский офицер упал на палубу.

— Ядро виноватого найдет! — сказал один матрос.

— Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте, — молвил Юрка.

— Полно дорожиться, и пятьдесят линьков было бы довольно, — возразил, шутя, урядник.

— Это еще яблочки, — сказал третий, — а вот скоро попотчуют смородиной, — держите шире карманы!..

— Что вы тут болтаете как сороки! — вскричал Белозор. — Кричите-ка громче пушек,

а не то дорога нам будет расплата за непрошенные гостинцы.

— Не стреляйте! — заревели матросы на тендере. — Мы русские, мы нетронские!

Фитиль остановился над пушкой.

— Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские, — раздалось сверху.

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось; их сочли брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задушаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» — и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексеичу, как старому другу найденного.

— Ну, брат, чародей ты, Виктор, — говорил он, обнимая друга со слезами на глазах, — на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспрашивали, — ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, тлеешь на дне морском, словно оторванный верп, ты прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонек!

— Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.

— И что за счета между своими, — ты бы из воды сух вышел... Да это что у тебя за яхточка на бакштове? — примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, которая робко озиралась на незнакомцев. — Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазах больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.

— Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компани, покуда я объясняюсь с капитаном.

— В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.

— Это будет тебе отместкой за встречу!

Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, и когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, перемены ласковый на строгий тон, он спросил его:

— Какую девушку привезли вы с собою?

Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая головой, слушал доводы, почему ее необходимо должно было взять с собою.

— Все это прекрасно, Виктор Ильич, — возразил он, — и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное возвращение с призом, даже громкая встреча, — все обратит на вас внимание всех офицеров соединенных флотов; но это же самое возлагает на вас тройную обязанность сохранить свое имя не только без упрека, даже без сомнения... А кто, не зная вас, не подумает, что этот роман изобретен для прикрытия любовной связи!

— Капитан!.. — вскричал Белозор, вспыхнув.

— Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше узнать от друга то, что могут говорить о вас насмешники за глазами или намекать вам о том лично. Вы будете сердиться, а над вами станут смеяться; вы будете стреляться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей существенности. Во-первых, вспомните, как строго запрещают морские законы присутствие женщин на корабле в военное время; с какими же глазами я поеду рапортовать о том английскому адмиралу?.. Конечно, первый вопрос его будет: что она — жена ИЛИ сестра господина лейтенанта?

Белозор мрачно потупил очи.

— Положим, что я представлю ему неотвергаемые причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить ее в руках французов, положим, что он всему охотно

поверит, — могу ли, однако ж, я передать это убеждение всем англичанам, которые никому не уступят в злословии? Но допустим, что эта мнимая любовная выходка не только не повредит вам во мнении старых моряков, но сделает вас героем молодых; не должны ли вы позаботиться о чести этого невинного существа, которому вы случайно стали единственным покровителем? Доброе имя девушки, Виктор Ильич, — крылья мотылька: одно прикосновение уносит с него золотой пух невозвратно.

— Это был безрассудный поступок с моей стороны, — сказал Виктор печально.

— По крайней мере несчастный случай. Кто будет защищать ее от насмешек, кто будет иметь право отомстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на корабле, не подвергая теперь — своей скромности и всегда — своего доброго имени?

— Вы меня ужасаете!.. Но мог ли я, должен ли был поступить иначе?.. Что прикажете делать мне теперь, капитан?

— Прошу и советую, если вы цените уважение всех людей благомыслящих, женитесь на ней.

— Жениться?! — вскричал изумленный нечаянностью Белозор. — Мне жениться?..

— Конечно, вам. Вы не удостоили меня полною доверенностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа пробивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка вам нравится, то есть очень нравится?..

— Это дело не так страшное, капитан: она моя невеста.

— Какой же я чудак! — воскликнул с радостью капитан. — Уговариваю, когда надо было только намекнуть! За чем же дело стало? По рукам, да и к налою!

— Так скоро, капитан?

— Сей же час, сию минуту!.. Не должно, чтоб ни одна заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите, чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою каюту, и могу ли поздравить себя дружкой?

— И другом истинным, капитан! — произнес тронутый Белозор, простирая к нему руку. — Я сам бы никак не придумал уладить дело, хотя оно было самую лестною моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень богатые... подумают...

— И раздумают; нужда переменяет даже законы. Они сначала, быть может, и посердятся, потом поплачут, а потом простят и станут благодарить. Я иду распорядиться.

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие самого адмирала белого флага не убедило бы его, но тут несколько слов капитана бросили искры в порох. Небольшого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходимость брака была слишком очевидна, и когда сердце заодно с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестою, украшенные юностью и любовью, весело приступили к брачному налою. Николай Алексеич держал венец над невестою, краснея сам пуще ее и не зная, на которую ногу ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и толпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом ободрения. Вся команда, взмогшись на пушки, с любопытством глядела на обряд, не виданный под палубами; слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск валов и завывание ветра придавали какое-то священное величие этому торжеству.

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его неожиданно, но всего сладожнее лобзание венчанья, когда в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать милую своею. Какой-то неизъяснимый, священный восторг про-пик молодых, когда они слились устами, запечатлевая поцелуем союз супружества... Это был задаток будущего блаженства, будущего благополучия. Шампанское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пылая как роза, благодарила всех присутствующих.

— Приятной ночи! — сказал капитан, раскланиваясь с лукавою улыбкою, и задернул двери.

Канва для пылкого воображения.

Поутру захваченные Монтанем голландцы возвратились на берег и привезли матери

Жанниной известие о ее замужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чатам, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, был Саарвайерзен. Старик плакал и смеялся, сердился и радовался вместе, но все кончилось как нельзя лучше. Через неделю получили письмо от матери, в котором она присылала свое благословение, но, между прочим, уведомляла, что она горько плакала от мысли, как несчастна была дочь ее, не имея для свадебного стола секретного яблочного пирожного и для брачной постели пуховиков гагачьих! Жанни улыбнулась и, зарумянившись, склонилась в объятия своего Виктора.

— А, а!.. — сказал Саарвайерзен. — Два аршина с четвертью, видно, ты была счастлива и без яблочного пирожного.

Эпилог

В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встретить моряка-брата, который должен был возвратиться из крейсерства на флоте. Погода была прелестная, когда возвестили, что эскадра приближается. Сев на ялик у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на батарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гуляющих; одни, чтоб встречать родных, другие, чтоб поглядеть на встречи. Лепты и перья, шарфы и шали веяли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагрузка, оснастка по кораблям, крик спящих между ними лодочников и торговок — словом, вся окружная картина деятельности оживляла каждого какою-то европейскою веселостью. Только одни огромные пушки, насупясь, глядели вниз через гранит бруствера и будто надувались с досады, что их топтали дамские башмаки.

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопросами со знакомыми, поклонами с полузнакомыми и приветствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновенною красотою одной высокого роста дамы; она стояла на парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Ветер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал роскошные ее локоны и обдувал стройные формы стана, — но какого стана! Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой держала она шелковый зонтик, а левую опирала на плечо мальчика лет восьми, миловидного, как амур. Он так нежно припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, оба они составляли столь прелестную купу, что я загляделся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Есть возраст, милостивые государи, в который шум женского платья кажется нам очаровательною музыкою Эоловой арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гармоникой сфер.

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; шпоры мои бренчали на чугуне пушки, сабля исторгала искры из гранита, но все эти проделки не выманили у прекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего внимания. Самолюбие мое было обижено до конца ногтей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый султан, я полагал, что имею право по крайней мере на ласковый взгляд каждой женщины; но это подстрекало меня; я хотел упорством победить упорство и как бог Термин прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля взгляды и в отмщение наводя свою трубку на море.

Флот приближался как станица лебедей. Корабли катились величаво под всеми парусами, то склоняясь перед ветром набок, то снова подымаясь прямо. Легкий передовой фрегат в версте от Кронштадта начал салют свой... Белое облако вырвалось с одного из подветренных орудий, другое, третье — и тогда только грянул гром первого. Дым по очереди салютующих кораблей долго катился по морю и потом тихо, величественно начал всходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул последнего выстрела, корабли, по сигналу флагмана, стали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Несколько минут царствовало всеобщее молчание. Внимание всех обращено было на быстроту и ловкость, с которою команды убирали паруса, что называется на славу, и вдруг заревела пушка с Кроншлота, — все дрогнуло; дамы ахнули, закрывая уши! Ответные семь выстрелов исполинских орудий задержали завесой дыма картину... Когда его пронесло, весь флот стоял

уже в линии, и несколько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по морю, спеша на радостное свиданье. Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купеческие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала зыбь легкая гичка, с широкой зеленой полосой по борту. Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял в ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной плите.

— Это он, это твой папенька!.. — вскричала радостно красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась к пристани. Вспрыгнув опять на ограду, она простирала руки навстречу супругу; огонь нетерпения пылал в щеках ее; взоры ее лобзали уже милого гостя... И он увидел ее, увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отверзши уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перепрыгнуть на берег, он был живое изображение мужественной любви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной незнакомки: я любовался уже одной душою ее, я мечтал о завидной доле счастливец — ее мужа.

— Шабаш! — крикнул урядник, и весла ударились в лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы сильнее ударить, сложились они, и два крюка словно когти возникли пред грудью...

— С какого корабля? — спросил часовой, между тем как шлюпка описывала быстрый полукруг.

— Фрегата «Амфитриды». — Кто офицер?

— Капитан второго ранга Белозор! — отвечал урядник. Супруги уже лежали друг у друга в объятиях.

Латник. Рассказ партизанского офицера*

Рассказ партизанского офицера

Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов. Местом сбора назначено было местечко Ошмяны, и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок — лихая пороша на зверей и неприятелей. Впрочем, и без нее легко можно было узнать, где прошли французские отряды: взорванные ящики, брошенные повозки, павшие кони и, что всего ужаснее, замерзшие солдаты устилали дорогу. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза — сладкое усыпление; они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающею судьбою, борение судорожное, отчаянное тем более, что они обнажены были товарищами заживо, — чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным попривалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того чтоб надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь; другие сгорели полуживые, не могли от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии: глядим — он стоит вдали, опершись о ружье; подъезжаем ближе — он мертвый. Густая медвежья шапка отеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза; из-под огромных усов, на которых недвижимо низался иней, сверкали стиснутые зубы. Он был ранен в грудь, и кровь, струившаяся на снег, замерзла на нем клубами.

Под моей командой был прекрасный молодой человек, поручик Зарницкий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор, который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать гордые узлы по-александровски. Малый добрый, храбрый как пуля, зато и тяжелый как свинец, из которого она вылита.

Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги: движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов — неизменное ружье, и на этой груди виделись раны — свидетели битв, и крест Почетного легиона — порука храбрости, звезда победы.

— Бедняга, — сказал аудитор, — как не жаль эдакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и француза: ведь в любой полк во флигельманы годится.

— Завидная смерть! — сказал я. — Он умер с оружием и стоя.

— Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию! — возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его. — Эти кровавые буквы — приговор его осуждения!

— Попадись только Наполеон к нам в когти, — подхватил с жаром наш коротенький аудитор. — я как раз подведу законца, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпичрутенем, а за мятеж весьма лишит живот!

Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести.

— Сабли вон и стой! Равняйся!

Поджидаю, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и стирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава богу, добрались до них!» И потом с такою непритворною набожностью крестит грудь свою, с такою теплою верою взглядывает на небо! И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!»

Синий дымок взвился с пистолета передового казака — и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несся к нам навстречу, между тем как товарищ его принялся кружиться перед опушкой и выманил несколько выстрелов.

Неприятель сказался — вперед!

В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу.

— Много ли французов, земляк? — спросил я у казака.

— Слово крупы сыплется; да с ними и пушки есть, — отвечал он.

— Тем лучше, — вскричал поручик Зарницкий, — авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!

Скоро мы были на полвыстрела от опушки, однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие?

Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу. Спешив драгун с примкнутыми штыками, я оседлал ее, раскинув по чаще в обе стороны застрельщиков. Мы скоро нагнали отступающих французов: отряд их состоял из батальона пехоты при двух орудиях. Жалко и страшно было смотреть на обезображенных усталостью, морозом и голодом гренадеров; смешно бы было видеть их костюмы, если бы мы сами не были убраны чуть не так же. И у них и у нас были люди в рясах, в балахонах, в женских шапочках, у кого нога в лапте, у кого в сапоге; мой вахмистр, лихой рубака, целых два месяца щеголял в салопе какой-то купчихи, а я сам был завернут в ковер, посередине которого прорезал место для головы. В столицах смеялись карикатурам бегства французов из России, но поход и бивачная жизнь нарядили и пас в их мундиры; пестрота была невообразимая!

Французский отряд шел медленно, зато в непроницаемом порядке, и с каждым разом,

как мы порывались ударить на них, обращался и, твердой ногой ставши, отстреливался. Батальонный командир вился около своих, ободряя их словом и примером. «Allons, courage, mes enfants, — montrez les dents, camarades, serrez vos rangs, halte! Criblez-moi d'importance ces flandrins: ca tient, le coeur chaud; filez, filez, vous dis-je... feu!»¹⁵² — и тому подобные приговорки лились у него рекой.

Всякий раз, когда перемежался огонь, голос его слышался громок и внятен. Видя невозможность успеть в нападении по узкой тропинке, мы следовали за ними, по временам меняясь пулями и бранью, которая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий удальцов. Неприятельские орудия, подернутые морозом, скрипя и гремя цепями, прыгали через коренья литовских сосен; худые кони, натужась в упор, едва тащили их по гололедице — рвались, скользили, падали; наконец мы заметили, что одно из орудий стало отставать, отставать, и французы, видя, что ни бичом, ни криком нельзя ободрить коней, отпрягли их, загвоздили затравку, изрубили спицы и бросили пушку на дороге.

Разумеется, что и мы сделали то же. Куда нам было возиться с этою дрянью; в двенадцатом году пушками хоть пруд пруди. Мимоходом сказать, большая часть кавалерии и артиллерии наполеоновской погибла не столько от недостатка в кормах, как от безделицы — от неумения ковать лошадей на шипы. Бедняги на гладких французских подковах оставались, как раки на мели, на чуть-чуть гладкой дороге, и мы нередко ремонтировались брошенными конями, излечая их гарнцом овса и парюю цепких подков.

Но лес начал редеть; неприятель выстроил колонну и сдвоил шаг, чтобы через поле скорее добраться до замка, который вдали выглядывал из-за деревеньки. Я усилил фланкеров.

Казаки и гусары мои налетали на колонну, как ласточки на ястреба, и щипали его по перу; одни за другими падали французы на следы свои, порой валился ц русский. Мне наскучили эти шутки.

Выбрав чистое место, я развернул фронт, в надежде смять натиском неприятеля и захватить пушку, — но он угадал меня, на бегу выстроил каре, маскировал орудие и стал недвижим. Люди у меня были сорвиголова, наезжены лихо, оружием владеть мастера, прокопчены порохом до костей и так приметались ежедневными стычками к нападениям, что слушались слова начальника пуще пули неприятельской; со всем тем атаковать опытную пехоту конницею — заставит хоть у кого прыгать ретивое. Впрочем, фланговые и замочные унтер-офицеры — это нравственное основание строя — были у нас в отряде народ отличной храбрости. Ходили мы в атаку не иначе как рысью, затем что нестись во весь опор за версту кончается обыкновенно тем, что строй разорвется, многие кони задохнутся, многие понесут и лишь одна горсть отважных доскакивает до неприятельского фронта и, опрокинутая, улепетывает назад быстрее натиска. Кричать «ура» не было заводу, затем что те, которые режут прежде всех и раньше поры, первые осаживают под шумок коней и оттого расстроивают купность удара. Напомнив гусарам, что и как должны они делать, я повел атаку ровно, смело. Мерзлая земля загудела под мерною рысью; уланские пики, которыми тогда вооружены были и гусары, залепетали флюгерами, и брэнчанье оружия раздалось в осеннем воздухе; все это покрывалось изредка словами: равняться, не волноваться, не заваливать плеч! В неприятельском фронте была смертная тишина, мы близились быстро; можно уж было различать бледные лица и сверкающие над стволами глаза гренадеров под наклоненными их шапками. В ста шагах я скомандовал марш-марш и с поднятою саблею кинулся на рогатку штыков; в то же мгновение за криком feu!¹⁵³ грянул пушечный выстрел, картечи запрыгали около, и густой батальный огонь покотился вдоль фасов, — он развеял

¹⁵² Ну, смелее, ребята, — огрызайтесь, смыкайте ряды, стой! Сбейте спесь с этих бездельников: это воспламеняет сердце; стреляйте, стреляйте, говорю я вам... огонь! (фр.)

¹⁵³ Огонь! (фр.)

наш фронт как пух. Кони смешались, на раненых спотыкались здоровые, мы принуждены были обратиться назад. Картечь и штыки — нестерпимые вещи для лошадиной натуры. Три раза еще порывались мы пробить каре, и три раза были отбиты. Я грыз зубы. Поручик бесновался... но делать было нечего. Пришлось, сберегая людей, ограничиться перестрелкою, ожидая удобнейшего местоположения или времени. Завязать дело было необходимою, чтобы развлечь внимание неприятельского корпуса. Пускай себе думают, что мы, обманувшись, преследуем Наполеона проселками, между тем как наши летучие отряды катились у него на шпорах.

Так догнали мы храбрых своих врагов до небольшой деревеньки при замке Тречполь. Между тем люди и кони мои изнурились давним налетом как нельзя более, — надобно было освежить тех и других, а в поле ни стога сена, в саквах ни крошки сухарей; волей и неволей приходилось добыть себе хлеб насущный и ночлег в деревне, прогнав из нее неприятеля. На русского солдата всего сильнее действует такая логика, и когда я объявил им в чем дело, они с жаром кинулись выбивать французов из засады. Впереди шли драгуны в штыки, гусары с карабинами подкрепляли их, казаки зажигали дома с боков, — это подействовало: мы потеснили их до самого замка, ворвались во двор, и, наконец, они заняли только самый корпус дома панского и в нем отстреливались тем отчаяннее, тем безопаснее, что взвезли на подъезд свое орудие и очищали им весь двор, сквозь огромные двери сеней. С других сторон окна были высоко от земли, и потому самую выгодную точку нападения оставалось орудие, во-первых потому, что к нему и мимо его в дом можно было взбежать по подъезду, а в окна под ружейным огнем — плохая дорога; во-вторых, проникнув в середину, мы бы разрезали осажденных на две половины и, следственно, могли гораздо легче с ними управиться. Чего долго думать.

— Ребята, вперед, ура, в штыки, в дротики! За мной! — закричал мой поручик и бросился на пушку с охотниками; выстрел сверкнул — и наших обдало как варом. Зарницкий упал со стоном, и солдаты отступили в беспорядке. Я был впереди, кричал, сердился, приказывал, грозил — все даром: люди мои будто ничего не слыхали, перестреливаясь издали, медленно, лениво, — я кипел негодованием и досадой.

Вдруг, видим мы, несется к нам на рыжем копе всадник, в черных латах, в блестящей каске, из-под заброшенной за спину шинели сверкал штаб-офицерский эполет. Прискакав под выстрел, он спрыгнул с коня и обнажил палаш свой.

— Вперед, вперед! — крикнул он. — Сомкни ряды. Господин ротмистр, вы должны непременно взять этот замок! Ребята! вы русские, — вам стыдно отступать, за мной, товарищи; я ваш начальник; смерть тому, кто отстанет, — на руку, ура!

С этим словом он кинулся к стене, не оглядываясь назад, как будто уверенный, что магический пример его увлечет всех за собою. И в самом деле, неожиданное появление этого латника, его колоссальные формы, его бесстрашная осанка, его повелительный голос показали солдатам чем-то сверхъестественным; они ожили, посильнели.

— Ура! — раздалось в ответ на призыв латника, на усиленный огонь французов, и все мы кинулись к подъезду, вынося друг друга на плечах; выстрел, картечь через головы, пошла резня рукопашная. Мы ворвались в комнаты, и дело решилось. Кирасир рубил без пощады; каждый взмах его падал смертью, — он рассек голову французскому батальонному командиру, едва тот успел завалить затравку, и несчастный упал в крови через лафет; солдаты мои остервенились потерю многих товарищей и с ожесточением кололи всех французов и вооруженных шляхтичей, упорно против нас защищавшихся.

Картина была ужасная!

Пороховой дым густыми облаками ходил по залам; кровь, смешанная с рассыпанным порохом, залила паркет, на котором лежали, между множеством трупов, украшения потолка, обрушенные от выстрелов. Разъяренные победители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои; наконец, вызванные из замка для фуражировки, добычи, гораздо для них нужнейшей самого золота, они рассыпались по деревне, и в замке все утихло. Вообразить себе, что солдаты в военное время так смирны, как это пишется, — надо быть или очень

легковерну, или вовсе слепу: общая опасность уравнивает больше или менее все чины, а необходимость заставляет глядеть сквозь пальцы на некоторые своевольства. Так идет в строю; в летучем же партизанском отряде, которого главная цель есть вредить неприятелю всякими средствами, вести, так сказать, разбойничью войну, — еще более случаев пограбить за глазами начальников. Следуя правилу своему — расхищать, что могут найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни синего пороха, ни соломинки на кровлю, ни прутика для огня, — мои молодцы с особенною ловкостью пустились шарить и шныхарить. Взяв все предосторожности от внезапностей, я велел караульным разложить в одной из комнат, менее других пострадавшей, огонь в камине и перенес туда оконтуженного поручика. Он кричал и бранился, между тем как фельдшер натирал ему больной бок спиртом. Я, усталый, лежал перед огоньком на гусарских плащах. В окно светило зарево пожара, и от времени до времени слышались в селении пистолетные выстрелы.

— Проклятая пушка! — приговаривал, охая, Зарницкий при каждом разе, когда фельдшер касался до контуженного места. — Она, словно клад, не давалась мне в руки. Под Красным французская сабля мне хотя прорезала на груди петлицу, да по крайней мере я вдел в нее «Владимира» с бантом, а эта упрямец отбоярилась от меня одним чугунным поцелуем. Ох, проклятая пушка!

— Утешься, Зарницкий, она не ушла от нас! — сказал я.

— Да не пойдет и с нами. Дорога еще не окрепла, кони истощены, и колеса будут резать за ступицы. Она свяжет пас по рукам и по ногам; при летучем отряде не впору ползти этому медному тюленю.

— О перевозке не заботься: я уж велел положить ее на розвальни, и тебя жалую начальником всей нашей зимней артиллерии.

— Эта зимняя артиллерия нагрела мне бок но хуже Петровок; да скажи, пожалуй, куда девался этот кирасирский великан, который выхватил у меня пушку из-под носу? Когда я очнулся, то в облаках серного дыма он, в белом мундире и в латах своих, показался мне за привидение. Нечего сказать, удалец, — он крошил палашом своим, как будто в кулаке у пего сидел целый легион чертей, и метался в схватке, будто на нем надета была заговоренная кожа Ахиллеса. Не убит ли, не ранен ли он?

— Не знаю. Видел его я до самого конца дела, в запальчивости он истреблял встречного и поперечного; не было пощады даже тем, которые просили пардону. Кровь струей бежала с его клинка, с особенною, какою-то дикою радостью рубил он вооруженных врагов, и всякий раз, когда человек падал трупом к ногам его, он, взглядываясь в лицо, восклицал: «Это не он! все еще не он!» и спешил далее. Мне сказывали — увязавшись за кем-то в погоню, он исчез в потемках... Может статься, где-нибудь и застрелили его... Я велел всюду его искать, но до сих пор еще не нашли латника.

— Нашли, нашли! — кричал, вбегая, запыхавшись, наш кубический аудитор. — Ура! наша взяла! Мир России, слава и честь аудитору двенадцатого класса Кравченке; поздравьте меня, обнимите меня, расцелуйте меня в лепестки. Уф!.. я не могу более...

При этом он упал в кресла и, пыхтя, с гордым видом поглядывал на нас свысока. Мы с улыбкою взглянулись, желая найти на лице другого разгадку этим междометиям.

— Теперь мое имя будет сиять не в одних скрепах шнуровых книг — оно загремит в реляциях, в газетах, в историях!.. — продолжал Кравченко, собравшись с духом. — Да, да, в историях!

— По крайней мере в какой-нибудь комедии, — сказал поручик, следя глазами аудитора, который в припадке самодовольствия вертелся и прыгал по комнате, словно кубарь.

— Чинов, крестов, пансионеров — бери не хочу! Да то ли еще? На меня сбегутся смотреть стар и мал, когда я приеду в Петербург, как на моржа, который в кадке играет на гитаре. Меня наперехват будут звать вельможи на обеды, а про места и говорить нечего — хоть в министры юстиции; впрочем, господа, я и в счастья не позабуду вас... Вы, пожалуйста, обращайтесь ко мне по-дружески, если припадет нужда, — для кого же и не послужить в

случае, когда не для старых приятелей? Кстати, господа, вы будете моими друзьями, когда я женюсь на дочери Платова!..

Мы долго смотрели серьезно на его проказы, как он, подымаясь на цыпочки, воображал, что задевает носом за облака; мы долго слушали его нелепости, но при последнем восклицании хоть и уверились, что он рехнулся, но никак не могли удержаться от смеха, — так забавен был наш маленький человечек. В свою очередь и он с удивлением глядел на нас из широких кресел, как сытый кот из слухового окна; он не постигал, чему хохочем мы, схватясь за бока.

— Не проглотил ли ты, любезный Лука Андроныч, чертенка вместо мухи? — спросил поручик.

— Не опоили ли тебя французы дурманом? — сказал я.

— Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего, — подхватил Зарницкий.

— Не худо бы вам успокоиться, — примолвил я. — От бессонницы долго ли приключиться белой горячке?

— Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь... — отвечал с досадою Кравченко. — Экая невидаль — дочь Платова! Да чем бы я не зять атаману? Ведь он сам объявил всем и каждому циркулярно, что кто захватит Наполеона, за того он отдаст дочь свою, будь он простой казак, не только аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу! Разве не слыхали вы этой новости?¹⁵⁴

— А вы небось ей поверили? Знайте же, господин аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу и проч... и проч... и проч... что у Платова нет дочери-невесты, что он никогда не думал и не гадал объявлять подобного предложения. Но если б даже, по щучьему веленью, а по вашему хотенью, у него и была бы дочь, если б даже нелепая лотерея эта была в самом деле вещь сбыточная, — я все-таки не вижу, почему бы наш Лука Андронович мог иметь право на ее руку?

— Не только на ее руку, ротмистр, на ее обе руки, на нее всю с головы до ног, с душою и сердцем и с богатым приданым барыша. Да неужели я до сих пор не объявил вам о славном моем подвиге, о счастливой находке своей?

Там, в темном подвале, в самой трущобе, между хламом и ломаною мебелью, знаете ли, какой клад открыл я?

— Верно, бочонок с водкою или свиной окорок, — хладнокровно отвечал поручик. — Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове нашей полевой юстиции!

— О, зависть, зависть! — вскричал Кравченко, поднимая свои телячьи глаза к потолку. — Едва успел я отличиться, меня заране хотят унизить насмешками, отбить славу клеветою. Пусть! Разве не все великие люди имели такую же участь, — да хотя бы и не все?.. Я тем не менее свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен Наполеона!

— Наполеона? — вскричал поручик, вскакивая со стула неволью. — Наполеона, который уже два раза ускользнул у нас между пальцев, вы, сударь, ты, Кравченко, взял Наполеона?

— Я, сударь, я сам взял Наполеона с мясом и с костями, говорю я вам!.. Неужто я не знаю его покляпного носа, его зеленых глаз, его синего мундира и шляпы корабликом? Разве не двадцать раз видел я его — во сне и на карикатуре! Да вот он и сам — лукавый легок на

¹⁵⁴ Кто не помнит этого слуха во время Отечественной войны? Это была выдумка, но выдумка, характеризующая дух народный; она объяла всю Европу. Я видел английскую картину, изображающую прекрасную казачку, с надписью: «Miss Platoff», и внизу: «I join my heart to my father's will», то есть предаю сердце к воле отеческой, (прим. автора)

помине.

Мы оба очень мало верили пронизательности аудитора, еще меньше — возможности захватить на этой дороге Бонапарта; но достичь его было самую меткою мечтою, самым пылким желанием, так сказать осью помешательства, — и в этот раз, по обыкновенной всей людям слабости к вестям самым несбыточным, впали в раздумье. «Чем черт не шутит! — ворчал поручик. — Легко статься может, что Наполеон нарочно кинулся проселками, обманывая погоню! Может, истребленный батальон был его конвоем!.. Из чего бы иначе им так упорно было драться!» В таких мыслях бросились мы к дверям, в которые входила толпа наших наездников с пленным посереде.

— Вот он, вот он! — шумели гусары. Они уж вспрыснули победу некупленного водкою, и были, что называется, навеселе, и еще более расхорохорились от уверений аудитора.

— Я первый увидел его, ваше благородие! — сказал, выступи вперед, рослый драгун.

— Я первый нашел его! — восклицал другой, пристукивая каблуком, чтоб его не забыли, так мочно, что с потолка падала известь.

— Я первый схватил его!.. — уверял казак.

— Я вытащил, я держал за руку, за ногу, за шею!.. — кричали другие.

— Без нас он бы дал стрелка! — вопияли третьи. Я велел всем молчать.

— Подведите-ка пленника ближе к огню.

— Бросьте в огонь — только дайте мне расписку, что получили от меня Наполеона в целости, — ворчал аудитор сквозь зубы.

Пленник приблизился, и мы с жадностию, почти с трепетанием страха и надежды устремили на него глаза: перед нами стоял тамбурмажор какого-то егерского французского полка, с преглупою и вместе с прежалкою рожею; обципаный мундир с полинявшими галунами, треугольная шляпенка на голове и на ногах вместо сапогов русские рукавицы — вот в каком виде представился нам двойник всемирного завоевателя. Надобно к этому прибавить, что, избегнув побоища, он был бледен как смерть, исключая носа, из которого и сам страх не мог выжать винного румянца. Он трепетал всем телом, потому что солдаты в жару патриотизма провожали барабанного императора, кажется, не одними угрозами.

Мы покатались со смеху. Аудитор между тем, выставя одну ногу вперед и водя чуть не по лицу пленника указательным пальцем, начал разбирать его по частям.

— Видите ли вы этот желтый, пергаменный лоб, на котором написаны его сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который за тысячу верст чует добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит человека, эти коротенькие руки с длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, проглотив целиком Европу?.. Видите ли, что у него на лице написано число 666, он же есть антихрист, сиречь Аполион, то есть Наполеон Бонапарт?

— Прокатись-ка верхом, любезный Лука Андронович, на этом пленнике, ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса!

— Не под седло, а под нозе русских надо низвергнуть этого супостата. Зачем ты навалился на Русь с двадцатью язык? Говори, отвечай! Не заминайся! — вскричал аудитор. — Признайся... кто у тебя были на Руси сообщники?

Бедняга тамбурмажор стоял ни жив ни мертв и дрожал словно осиновый лист, видя, как петушится около него аудитор, которого, без сомнения, он считал по крайней мере главным начальником отряда. «*Mon capitaine, mon colonel, mon general*»¹⁵⁵, — твердил он ему при каждом слове, прося пощады; но тот не хотел принимать от корсиканского выходца ни даже маршальского достоинства. Наконец нам стало жаль этого копеечного Наполеона, и я, попрося нашего героя успокоиться, сказал ему, что он очень ошибся в своем призе — что это ни больше, ни менее, как французский тамбурмажор, то есть почти барабанный староста.

¹⁵⁵ Капитан, полковник, генерал (фр.)

— Хитрости, притворство, лицемерие! — воскликнул наш аудитор. — Вот еще новости — тамбурмажор! По барабану этого старосты плясала вся Европа, так пускай теперь спляшет по нашей дудке. Как ты ни зовись, мусье Наполеон, чем ты ни прикидывайся, а не миновать тебе железной клетки, как Пугачеву: будешь в птичьем ряду в Москве на потеху ребятишкам! Вы, господин ротмистр, как я усматриваю, хотите изменить отечеству и отпустить этого антихриста, — так знайте, что если это сбудется, я донесу обо всем высшему начальству... Будьте уверены, я возьму свое... Ни пенсия, ни приданое не ускользнут от моих рук!

Я вовсе не был расположен сердиться и потому очень скромно, однако ж твердо сказал ему, чтобы он не вмешивался в мои распоряжения; что если мне дана власть, то, само собой разумеется, возложена за нее и ответственность, только не перед ним; что по окончании наезда он может доносить что угодно и кому угодно, но когда будет писать об этом приключении, то не худо бы прибавить туда статью: что он, г-н аудитор двенадцатого класса, представленный к ордену св. Анны 3-й степени, был не в полном разуме.

— Эта статья будет излишняя, — заметил поручик, пуская ему под нос клубы дыму, — и без нее никто в этом не усомнится. Впрочем, я не знаю, любезный ротмистр, почему бы не послать в главную квартиру Луку Андроновича курьером вместе с этим Наполеоном, они развеселили бы всю армию на целую неделю.

Аудитор принял это за чистые деньги и вытянулся, как фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я в таком же тоне возразил, что, по недостатку в нашем отряде хлеба и водки, для нас самих необходимо подобное ободрение. Я велел, между прочим, стеречь этого пленника да осмотреть его.

— И всеконечно осмотреть! — вскричал аудитор. — Говорят, сопостат завсегда носит в перстне яд. Умри он — так и поминай как звали дочь Платова, невесту мою.

— Разумеется, осмотреть, — примолвил насмешливо поручик, — того и гляди, что у него нос заряжен картечью: сохрани боже чихнет, так и жениху не уйти.

— Мы уж и то обшарили его до самой кожи, ваше благородие, — отвечал один из гусаров, — да ничего не нашли в карманах, кроме двух накрахмаленных воротников и фабренной щеточки!

Рассерженный аудитор уселся в углу, что-то ворча про себя. Пленника увели очень довольного, что избегнул побоища по счастливой ошибке. Мы с поручиком уселись у огня. Не прошло пяти минут, к нам опять тащат другого пленника: казаки, которые чуют золото лучше всякого горного офицера, то пробуя шомполом стены и пол на звук, то наливая воду на землю, чтобы угадать по тому, скоро или медленно она всасывает ее, не взрыта ли она недавно, то перерывая даже золу в печках, — казаки, говорю, вытащили с чердака эконома замка, предоброго старика. Ободрив его ласковыми словами, мы от нечего делать принялись его расспрашивать, чей это замок, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот вам вкратке, что рассказывал дворецкий.

— Поместье Треполь — родовое князей Глинских. Последний из них, Наримунт Глинский, мой добрый старый господин, — помяни бог душу его, — имел дочь Фелицию, панну, такую красавицу, что загляденье. Женихов около нее вилось словно пчел около майского розана, только она от них отшучивалась, — видно, мила ей казалась воля девическая. В околотке, года за три до этого, расположена была русская артиллерийская рота... Ею командовал капитан... дай бог памяти, имя такое мудреное, что нейдет ни в ум, ни из памяти. Собою был он человек рослый, видный — молодец лицом и поступью, а уж сердцем да обычаем так что твоя красная девушка! Он стоял в замке... с панной Фелицией бывал с утра до позднего вечера... Молодежь-то крепко полюбилась друг другу, да и сам князь был не прочь сыграть свадьбу, благословить дочь за капитана: он страх любил русских, все, бывало, говаривал, что он сам русской крови. Вот уж дело пошло и на ладах. Капитан был повешен женихом панны Фелиции; он и она были чуть не в небе от радости; да и вся дворня и хлопы, не то что соседи, не нарадовались, что у них будут такие добрые господа. На беду ли, на грех, перед самым шлюбом (свадьбою) пишет мать капитану, что она больна и

хотела бы благословить его своей рукою, на советную жизнь и на всякое счастье... Капитан свернулся мигом в дорогу... Слез-то, слез было на расстаньях, что не приведи господи, индо вчуже сердце разрывалось. Панна Фелиция упала в обморок, когда он сел на коня, ветер замел следы его на песке, — бог не судил жениху воротиться. Здесь жил тоже дальний родственник старому князю, грабе Остроленский. Лицом, нечего сказать, красавец, зато душою вьюн; он опутал старика сетью шелковою, да и к жениху подпал он таким другом, что ни тот, ни другой не пили, не ели без него. Промежду тем он исподтишка больно зарился на панну Фелицию и спрятал в сердце досаду, когда капитан оторвал у него от губ подвенечную чару. Чуть уехал капитан, грабе стал рассыпаться мелким бесом пуще прежнего: улещает старика, плачет, словно от луку, с невестою. Уж не ведаю, как это случилось, только мы стали получать от капитана письма день ото дня реже, и с часу на час холодел к нему старый князь Наримунт. Вестимо, Панове, дело заглазное; оправдать его было некому, а наговаривать на далекого нашлись добрые люди. Грабе, как жаба, лежал у старика на ухе. Вот и совсем перепала весть о женихе; месяца с четыре ни слуху, ни духу, ни загадки. Панна Фелиция не осушала очей на солнышке; сидит, бывало, в своей комнате под окном, глядит на дороженьку да горюет, бедняга. Привозит однажды ездовой из города почту. Господа в то время сидели за столом тихо, печально, словно на похоронах. Только пан грабе шутил и смеялся, чтобы развеселить гостей. Подал ездовой князю связку писем, наверху одно с черною печатью. Открыл князь, прочел его и молча передал дочери... Не успела та заглянуть в него — вдруг побледнела, как платок: то была страшная весточка для невесты — жених ее умер.

Время текло у нас тише воды; в гостиных было как на кладбище. Не прошло полугода, слышим; объявляют, что пан грабе Остроленский женится на нашей ксенжничке (княжне)! У девушек коротка память, панна Фелиция, однако ж, не забыла прежнего милого; ее принудили выбрать другого. Отец твердил то и дело: «Я не проживу долго, дай себя увидеть не сиротою, выйди да выйди замуж за грабия»; надо было потешить отца на старости лет. У нас отпраздновали свадьбу. Нечего и говорить, что всего было вдоволь, всего, кроме радости, про любовь ни помину. Не прошло месяца, все оборотилось у нас вверх дном. Пану грабе нужно было не сердце, а приданое Фелиции. Старик отдал ему полную волю в доме и в именье, да и стал у себя первым невольником. Никому не стало житья от нового господина. Он сбил со двора даже старых собак, не то что покоевцев и ловчих. А уж глядеть на нашу милую пани Фелицию — так сердце кровью заливается: чего-то, чего она не перенесла от злости мужа! Попреками да укорами отравлял он ей каждую ложку за обедом и, наконец, до того мучил ее, что заставил принимать к себе свою отъявленную любовницу — настоящую змею подколодную, которая, бывало, спит и видит, как бы огорчить нашу голубку своею наглостью. Бедная графиня сохла, как былинка на камне, таяла, как свеча воску ярого, плакала перед одним паном богом и молчала перед добрыми людьми. Правду сказать, добрые люди скоро покинули замок наш, ворота заросли травой, и двери в столовой прижавели к петлям, — бог снял свое благословение с маионтка княжего после смерти старика Наримунта. То дождь вытопит луга, то град побьет хлеба, то зверь попортит стадо; а карты, эта бесовская грамота, рассыпали по чужим карманам дедовское серебро и золото. Напировавшись со своими панибратами досыта, граф стал уезжать бог весть куда. Настала осень, желтый лист засыпал дорожки сада, однако барыня, не глядя на ветер, бродила по нем будто на прощанье с божьим светом. В один день в сумерки (тут дворецкий оглянулся во все стороны, и, уверясь, что его никто не подслушивает, перекрестился, и, понизив голос, продолжал) — это рассказывал мне покоевец, который завсегда издали ходил за нею... в один день в сумерки она возвращалась тихими шагами в замок, печальна, бледна, потушив голову... как вдруг перед ней стал всадник на вороной, как воронье крыло, лошади... Покоевец присягал на свою душу, что все двери сада были заперты накрепко и что он не слышал ни топоту, ни ржания конского, — он явился как тень, спрыгнул долой и схватил графиню за руку. Между тем как перепуганный покоевец стоял как вкопанный, всадник что-то тихо и долго говорил с нею... что-то похожее на поцелуй раздалось впотьмах, и вдруг

графиня застонала пронзительно... Когда слуга подбежал к ней, черного всадника уж не было! Наутро не нашли даже конских следов по дорожкам сада. Спрашивать о том графиню никто не смел; сама она молчала. Когда ей после этого испуга предложили лекарства, она отвечала, что все напрасно... что она знает наверное час своей смерти и что, едва прорежется рог у нового месяца, ее не станет. С той поры в каждую пятницу сживала она по вечерам в этой самой комнате, одна-одинехонька с своею собачкою, до поздней ночи, без свечек... и словно с кем разговаривает. Здоровье ее стало на закате, час от часу плоше: похудела, хоть насквозь гляди... И вот на ущербе месяца ей стало очень трудно, а все еще на ногах бродила. В четвертую пятницу она опять пришла сюда сидеть у этого окошка и глядеть на поле, покрытое снегом. Било уж одиннадцать ночи... Вдруг все ее ближние слышали: кто-то всходит тяжелой стопой на лестницу. Что за диво! Наружные двери я сам запер крепко-накрепко. Слушаем: чудится, будто графиня с кем-то разговаривает... Тише, тише, тише, все утихло. Со страхом вбежали в комнату ее панны, глядь — графиня лежит на софе в обмороке... Назавтра поутру приехал грабе из Вильны, и в следующую ночь, — когда блеснул ноготок молодого месяца, — она скончалась. Радость, которую наш пан не хотел и скрывать, мучительная кончина графини так скоро после его приезда и синие пятна, проступившие на лице покойницы, — все это, панове, свело на него подозренье, будто графиня умерла от яду. И то сказать: кого же любят за дело, на того сплетают и небылицы... Бог судья, правда ли это; осудитель бог, если это правда! Только граф, едва переждавши три месяца после похорон, женился на прежней своей любовнице. Сказывали, что на кладбище у кляштора, где положена графиня Фелиция, три раза после того являлся черный всадник неведомо откуда, скрывался неведомо куда. Так прошло два года. Грабе наш, схоронив с первой женой совесть последнюю, разорил крестьян, измучил всех нас и, наконец, отослал в землю и вторую жену. После этого, слава папу богу, он уехал служить во Францию, и с тех пор мы не видали его до вчерашнего дня; он воротился беглецом из Москвы, как раз возмутил всю околицу, скликал шляхту, вооружил неволею слуг и хлопов своих, чтобы драться против русских, до смерти: ему, вестимо, не жить в родине — имения и доброго имени не выкупить из черного долга. Вы видели, что он рубился напропалую. Однако ж у него в саду заготовлена была лошадь для побегу, и наши сказывали, что пан ускакал, когда увидел беду неминуемую. Дай пан бог, чтобы он никогда к нам не ворочался!

Старик кончил. Я успокоил и выслал его.

Аудитор спал в углу, сидя, мертвым сном; поручик сидел в глубокой думе перед камином. Простой рассказ дворецкого нас тронул обоих.

— Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романическом веке! — сказал я. — Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский, самородный, без примеси. Притом, покуда существуют страсти и слабости, развиваемые обстоятельствами или связанные узами приличия, человек всегда будет любопытен, занимателен для человека; каждый век только обновляет новыми образами сердце. Я уверен, что, перебравши тайные предания каждого семейства, в каждом можно найти множество разнообразных происшествий и случаев необыкновенных. Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более таится их в самом блестящем обществе! Я знал многих, которые подписывали чуть не смертные приговоры с гордым лицом, на котором бы должно лежать заслуженное клеймо отвержения; я знал людей, которые громко вопияли против порока и не заглушили тем голоса сознания в собственных злодеяниях!! Но, оставя умышленное, сколько еще остается случаев от неведения, от неопытности, от заблуждения!

Зарницкий молчал.

Он был из числа тех людей, которых мы привыкли называть мечтателями: от самой шумной веселости, от самого насмешливого разговора отпадал он вдруг в глубокую думу, в грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижные очи, что пред вами один труп его, а душа улетела. В другое время, напротив, вы бы могли видеть на лице его

всю игру мыслей, как работу пчел в стеклянном улье. В этот раз он будто пробежал даль: то словно сам чего-то бежал с робостью, то улыбался младенчески.

— Друг! — сказал я, тихонько ударив его по плечу, — верно, душа твоя была теперь в домовом отпуску?

— Правда, — отвечал он, очнувшись, — тишина и сумерки стелют моему воображению мост на родину. Рассказ этого старика освежил во мне многие картины из моего младенчества, из моей юности. Но всего более эта унылая песня сырых дров, это завыванье трубы, словно призыв какого-то великанского рога, напомнили мне старину, когда, лежа в постели, я любил слушать ветер, стонущий сквозь трубу печки. Чугунная вьюшка звучала, как далекий погребальный колокол, и зимняя вьюга, сыпля иглами инея в стекла, рассыпалась едва слышною гармоникою. Какой-то новый мир, вовсе незнакомый, осязательный, но безвидный, обнимал меня; какие-то чудные существа теснились к душе... Мне казалось, я слышу лепет их крыльев, шум стоп, жар дыхания, невнятный их говор. Еще более... порою предо мной вились, сверкали, огнились символические их письмена, которые вместе были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопределенную форму. Не умею выразить, что бывало со мной в этой дремоте: я трепетал, как струна, издающая божественный голос; томный и вместе сладостный ужас пробежал по моим жилам; я хотел постичь его и болезненно сознавался, что природа не дала самой душе органов для вкушения этого безыменного чувства; на меня находила тогда тоска; я ходил на человека, который страстно любит музыку и страждет случайною глухотою. Бывало, завернувшись в одеяло с головою, из подобного состояния я переливался в чуткий сон; и в нем еще явственнее, еще живее мои видения кружились около; по тогда я уже сам становился действующим лицом: говорил, как Демосфен, читал неведомые, прелестнейшие поэмы, но от них при пробуждении оставались во мне только ощущение восторга, только слеза умиления. То ли еще: я летал птицею в безднах, я плавал как рыба, я как воздух проникал в глубь земли. Мне виделось, что я мог глядеться в душу свою, и чужие речи и мои мысли вставали, проходили передо мной, воочью совершались, как говорят русские сказки. Особые места действия, особый круг знакомства, особенное родство имел я в сонном мире своем; но каков был он, но кто эти знакомцы и родные, память моя не могла схватить, пробудившись совершенно. Зато всякий раз, склоняя голову на подушку, я обнимал ее, как друга-чародея, который унесет меня к милым.

Отрадно плыть во сне туманной Летой,
Забыв часов бряцающую медь,
В видениях пожить вне жизни этой
И без кончины умереть!!

Моралисты сулят покой несчастным за дверью гроба; зачем ходить так далеко? Сон есть лучший уравнитель в жизни. Когда вздумаешь, что царь и последний поденщик, богач и бедняк, одинаково проводят треть суток, первые не пользуясь своими преимуществами, последние забывая свое горе, — то какое-то утешительное чувство проникает в душу. Я еще допустил, что счастливцев и несчастных проводят одинаково пору сна, — но обоим ли им стелет постель усталость и чистая совесть? Не сидит ли часто раскаяние у золотошвейного изголовья, не дарит ли воображение царскими снами бедняка?

Ты спросишь, откуда пробился ключ этих наслаждений моих, это перемещение сонных призраков в явную жизнь и действительных вещей в сонные мечтания? Мне кажется, этому виною было раннее верование в привидения, в духов, в домовых, во всех граждан могильной республики, во всех снежных сынков воображения мамушек, нянюшек, охотников-суеверов, столько же и раннее сомнение во всем этом. Нянька рассказывала мне страхи с таким простосердечием, с таким внутренним убеждением, родители и учителя, в свою очередь, говорили про них с таким презрением и самоуверенностью, что я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими

доказательствами истины. Куда был перевес: на сторону ли впечатления или на сторону убеждения — угадать нетрудно. Правду сказать, человек всегда предпочитает то, чего он не может постичь, тому, чего постичь нет ему охоты. Эта борьба, однако же, не истребив совершенно моей склонности к чудесному, отняла у него нелепую одежду, в которую облекло его народное суеверие. Разумеется, чем более мужал мой рассудок, тем приметнее влияние чудесного на меня уменьшалось: образы его бледнели, блекли, исчезали, сливались с пространством, как утренние туманы. Но веришь ли? — до сих пор бывают минуты, в которые готов я почти увлечься поверьями моего детства. И как я люблю переживать вновь годы этого детства! Весна моя расцветает в памяти чудными цветами, причудливыми цветами — со всем их благовонием, со всею свежестию красок; я наслаждаюсь тогда даже минувшими ужасами, и замечу странность: это осуществление минувшего случается со мной наиболее после сильных движений души или тела, после сильных потрясений. Кажется, что ослабнувшие струны организма способнее принимать лад нежных лет наших и от малейшего повева поминки звучат знакомую, любимую песню.

Однако ж рассказ старика дворецкого разбудил в душе моей не одни полуюсные, неопределенные воспоминания. Нет! он оживил происшествие, очень подобное им рассказанному, происшествие, близкое моему сердцу. Не сказка и не выдумка, слепленная на потеху приятелей, будет повесть моя, в ней от слова до слова — все истина.

Дед мой с матерней стороны был князь Х-ий; я будто впросонках вижу его темную, суровую физиогномию, его высокий рост... его жесткий голос. Не знаю, отчего, только я боялся его ребенком как нельзя более. Как ты хочешь, а мне кажется, природа одарила всех тех инстинктом, в которых не развила разума, и дитя, находясь в этой категории, почти всегда безошибочно угадывает в каждом встречном друга или недоброхота. Князь был, можно сказать, неистового нрава — горд своим родом и богатством в обществе, невозразимый деспот в семействе. Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей — куклами для забавы; сохрани бог, чтоб они осмелились думать, не только поступать, иначе, как по его воле, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь. Он успел подавить в первых всякое благородное чувство, всякую вспышку разума, и они зачерствели в своем невольном ничтожестве, в своем вечном ребячестве. Их отправил он на службу в столицу. Совсем другое случилось с дочерью. Угнетение, унижение, под которыми держали ее, пробудили в ней гордую душу, которая без того никогда бы, может быть, не проснулась. Она почувствовала и уверилась, что правда и добро могли существовать и вне речей, вне поступков отца ее. Случай способствовал этому развитию.

Лиза потеряла мать еще в ту пору, когда не могла вполне оценить этой потери, именно по тому самому великой. Отец не удостоивал заниматься ее воспитанной. Он думал, что совершил великое благодеяние, платя мадам и наемив к ней кучу учителей — без выбору и без призору. Нежность его ограничивалась тем, что он утром и вечером допускал дочь к ручке своей да всякий месяц дарил ей на булавки.

В числе учителей Лизы приехал из Москвы недавно выпущенный из университета адъюнкт Баянов. Он был очень статный, умный, добрый юноша; дворянин небогатый, но стоящий богатства. Лизе было тогда пятнадцать лет, и он с жаром принялся за ее образование; уроки были наслаждением для обоих. Она радовалась познаниям, он — успехам своей ученицы. Ничего нет чище, возвышеннее, святее удовольствия, какое чувствуем мы, передавая,веряя благородные чувства и светлые мысли другим. Тогда мы прилепляемся к ним любовью отеческою; и в самом деле: вложить в человека душу разумную, доблесть живую — не значит ли создать, родить его для добродетели, и не ценнее ли это родство родства телесного, не священнее ли самых уз крови?..

Однако ж скоро, хоть незаметно для неопытных, вмешалась в их дружество душевная любовь более нежная, более страстная, любовь сердца. Минуло четыре года... учение кончилось... и любовники тогда лишь узнали, что взаимность для них не только счастье жизни, но самая жизнь... когда судьба погрозила разлучить их. В одну и ту же минуту они

испытали весть разлуки и признание в любви, первый поцелуй восторга и первые горькие слезы печали. Они поклялись быть верными до гроба, это уж так водится искони: для молодых людей все кажется легко, для любовников — все возможно.

Они не знали, с кем имели дело.

Старику Х-му наскучило нянчиться с дочерью. Она была невеста, и, что всего важнее, невеста богатая: мать отказала ей одной все свое приданое, все движимое и недвижимое. Однако, желая сбыть с рук дочь, ему не хотелось расстаться с ее именем, и вот для чего удалял он от Лизы женихов, которые по уму или по связям своим могли бы потребовать у него и наличного и отчета за прежнее управление.

Сгадал, решил и выбрал в зятя какого-то князька — сидня, весьма ограниченного умом, ничтожного роднёю. Он дал слово, не спросив, даже не предупредив дочери. Через три дня надо было играть сговор, а она не знала о своей участи ни сном, ни духом. Наконец он объявил ей повеление выйти замуж и готовиться к свадьбе самым беспрекословным образом. Он споткнулся на этом вовсе неожиданно: характер дочери открылся вдруг в полной силе! Подкрепленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо сказать отцу, что считает союз супружеский святынею, которая требует любви сердечной к мужу... а потому она не иначе отдаст руку свою, как вместе с сердцем; сердце же ее отдано Баянову, ее воспитателю; она прибавила, что никакие убеждения не принудят ее переменить данного обета — быть его женою или вечно остаться его невестою. «Вы дали мне жизнь, батюшка, — сказала она, — но бог дал мне душу; располагайте первою, но позвольте мне сохранить для себя вторую; и кому лучше могу я посвятить ее, как не человеку, посвятившему лучшие годы своей жизни на мое образование с таким усердием, с таким горячим самоотвержением?»

Говорят, князь после этого объяснения несколько минут стоял неподвижен и безмолвен от изумления... гнев задушил в нем голос. Можно представить себе, что почувствовал человек, привычный к безусловному повиновению от всех, к нему близких, который сроду не слышал слова нет и вдруг поражен был им так внезапно, так больно! Вся его гордость, все его выгоды и понятия, все замыслы его оборочены были вверх дном, — и кем же? Девочкою, дочерью!

Взрыв был ужасен, угрозы и брань полились на несчастную: как смела она иметь свой ум, взять свою волю! Суд короток — он запер ее в темную комнату на хлеб и на воду.

Учителя Баянова велел он выбросить из замка вместе с его вещами, не позволив показаться на глаза. Бешенство его выместилось на всех домашних; и без того все Трепетали его голоса, его взгляда, и после этого случая Головина слуг разбежалась от его жестокости, не знающей границ, незнакомой с пощадою. Он свирепствовал как зверь.

Время шло; но оно не переменяло ни упорства отца, ни постоянства дочери. С своей стороны, влюбленный Баянов, несмотря ни на какие угрозы, презирая опасности, обманывая надзор, старался проникнуть до темницы своей любезной — и долго, долго напрасно. Мало-помалу, однако ж, ему удалось деньгами склонить на свою сторону одного из тюремщиков. Золотой дождь по капле пробивает даже камень. Ему доставили случай видаться с Лизой, и минуты, которые провели они вместе после долгой разлуки, несмотря на меч, висящий над головою, были самыми счастливыми в их жизни, потому что верность в такую мучительную годину испытания получает высшую цену, и каждый миг, вырванный из львиных челюстей опасности, тем сладостнее, чем короче, тем ближе к восторгу, чем ближе к гибели. Скоро почувствовала заключенница, что существо ее удвоилось. Какое святое чувство вложила в нас природа к обновлению! Какое сердце не трепетало радостью при мысли: «и я стану матерью!», при весте: «ты отец!» В такие минуты забыты все страхи, все расчеты!!

Наши любовники были счастливы назло судьбе, и это самое придало им смелости, самой надежды. Тут уже дело шло не о них самих, но об имени, о счастье третьего, драгоценного для них залога. Они приготовились к побегу. Они согласились исполнить свое намерение, когда отец уедет на три дня в отъездное поле.

Он уехал.

Переодетый в кучерское платье, проник Баянов в тюрьму Лизы ночью. Дневальный тюремщик был подговорен бежать вместе; лихая тройка ждала их за частоколом сада; оставалось только удачно выбраться из дому. Баянов застал свою невесту на коленях перед образом. Кончив молитву, она кинулась в объятия к милому, но долго не могла промолвить слова, заливаясь слезами. Я знаю это от старика, бывшего свидетелем. Он рассказывал, что смелость ее покинула, когда надобно было ступить за порог; что она умоляла Христом-богом отложить все до завтра; говорила, сердце у нее будто стиснуто железною рукою, что она предчувствует верную, неминуемую гибель. Баянов, разумеется, утешал, ободрял, уговаривал ее; доказывал, что предчувствия не что иное, как робость, что, откладывая удобный побег, они накликут себе не только в каждом человеке, да в каждом часу неприятеля, а что всего важнее — священник ждет их в церкви.

Она уступила.

Через сад в повозки, и ударили по всем по трем.

Дело было в начале ноября. Рыхлая пороша чуть подернула павший лист дубравы. Я и забыл тебе сказать, что все это происходило в К... губернии, в усадьбе князя, называемой Шуран; лежит она над Камою, при большой дороге в Оренбург; место преживописное; барский дом на холме; дедовский темный сад шумит угрюмо на берегу; вправо... да не о том дело. Глухая ночь лежала над Шураном, когда паши беглецы оставили его. Проселочная дорога к далекой, уединенной церкви пролегла дремучим лесом и местами совсем склонялась на крутой берег Камы. По Каме шел тогда лед и с печальным звуком ломался друг о друга. Две тройки мчались быстро, но едва слышно: колеса нарочно были обвиты кушаками. Припав к груди Баянова, для которого пожертвовала всем на свете, Лиза едва дышала, едва думала. Час этот был для нее как час перед казнью преступника — он еще не мертвый, по уж и не живой; может ли он наслаждаться жизнью, когда смерть впустила в него когти свои? Такая отсрочка хуже пытки, такая бесчеловечная милость жесточе казни самой. Но едва ль не еще несноснее, когда неожиданное счастье разманит нас — и вдруг готово исчезнуть! Пусть непредвиденная беда поражает как пуля, беда, перед которою идет предчувствие, терзает, как яд жестокий. В таком точно положении были оба наши любовники. Они молчали, потому что ни один не мог найти слова утешительного; земля звучала под колесами, будто свод могильный; ветки сыпали на лицо иней, и корни заплетали им дорогу.

Все кругом было в смертной тишине; только порой спугнутый филин страшно гукал в чаще, хлопая тяжелыми крыльями, или трещал изломанный сук. Они благополучно добрались до деревенской церкви, верст за пятнадцать от Шурана. В ней приветно теплился огонек... Дверь растворилась, и женихи вошли в тусклую трапезу. Иконостас подымался до самого потолка, подпертый витыми столбиками, когда-то позолоченными; старинные лики святых, едва озаренные лампадою перед царскими дверьми, казалось, хмурились, помавали головами; хоругви колебались от сквозного ветра, который, дуя в рамы, возникал и стихал печальною песнию. Почтенный старичок священник встретил жениха и невесту у дверей благословением, и дьячок, засветя еще несколько свеч в высоких подсвечниках на деревянной ножке, запел хриплым голосом. Началась служба. Прелестна, однако ж бледна как снег намогильный, стояла перед налоем невеста... Венчальная свеча дрожала в руке ее, и когда Баянов ободрял ее нежным взглядом, она отвечала: «Это от холода»; этот холод был у ней в сердце... Она робко озиралась кругом и сторонилась теней, перебегающих по церкви от зыбкого пламени свеч, как будто они хватили ее. Вопреки всех страхов, обряд кончился счастливо. Кольца скрепили священною цепью сердца, давно уже сплавленные любовью, и поцелуй запечатлел союз их. Когда перед алтарем бога милосердия и правды супруги с радостными слезами на глазах заключили друг друга в объятия, они забыли настоящее и будущее, — никакое горестное чувство не развлекало этого восторженного мгновения.

Оно было последним в их счастьях.

Конский топот и грозные клики налетали со всех сторон; священник с

колени преклонением молился о спасении, Баянов готовился к защите — все было напрасно: выбитые двери церкви упали, и толпа охотников княжих вслед за разъяренным своим господином ворвалась в средину. На беду, он охотился невдалеке и, получив известие о побеге дочери, стремглав ударился в погоню. Что медлить правдою? Супругов силою разлучили, связали, кинули в телеги порознь и понеслись назад в роковой Шуран.

С этой поры туча злодейства одела этот дом тайною. Никто не знал, что делается с молодыми. Никто не мог догадаться, куда девались они. Двое псарей, которые везли Баянова, уверяли, что он вырвался на полдороге и ушел в лес, за это они жестоко были наказаны. Священника угрозами и лестью заставили молчать о браке; притом же он совершен был не по всем правилам — недоставало свидетелей, и священник притаился, чтобы не быть в ответе; общая молва была распущена между дворянею, что отец захватил венчанье в самом начале. Как бы то ни было, ни один человек не осмеливался спросить об этом обстоятельстве угрюмого князя. И Лиза и Баянов канули как в воду... Соседи шептались между собою, как раки под крапивою, и, как раки, пятились перед страшным соседом. Его ядовитый взгляд убивал любопытство и участие.

С большим удивлением увидела дворня ровно через год, что к ним на двор катит весь уголовный суд из Казани. Все слуги дрожали осиновым листом, чтоб не попасться в свидетели по проказам барина: затаскают, заморят по тюрьмам, ни дай, ни вынеси. В один миг слух о доносе разбежался по всему селению. Члены суда немедленно потребовали видеть дочь княжью, про которую отец отвечал, что держит ее взаперти по сумасшествию. Он повел их в тюрьму Лизы. Дверь замкнулась, и мертвая тишина воцарилась в целом доме... Все, не переводя дыхания и наострив уши, ждали, чем это кончится. Иные шепотом уверяли, что князя возьмут под стражу и что для этого приехала крытая повозка. Желание избавиться от злого барина и страх у него остаться волновали всех. Наконец двери распахнулись настежь, и тогда некоторые из слуг, заглянув украдкой в тюрьму барышни, увидели ее брошенную на соломе: в рубище; на ней не было вида человеческого — так она похудела и почернела. Глаза впали, волосы были включены, она лежала, разметав руки, в обмороке.

«Теперь мы удостоверены, что она бешеного сумасшествия», — сказал председатель палаты.

«Никакого нет сомнения, — преважно прибавил городской лекарь, — она безумна — неизлечимо».

«Держите ее крепче, — подхватил весь суд хором, — вы ей природный опекун; на днях пришлем формальную бумагу на ввод во владение!»

Роскошный завтрак скрепил определение этих неумытных судей, и юстиция отправилась в город навеселе. Вся дворня с ужасом услышала приказ. Так вот зачем приезжал суд, так вот чем кончилась эта уговорная гроза!! Когда за судьями тронулся обоз с подарками, слуги, пожимая плечами, тихонько говорили: «Скоро по этой дороге повезут на погост и добрую княжню нашу!»

Предсказание сбылось скоро — через полгода Лиза скончалась.

Люди пожимали плечами, окружные дворяне много толковали об этом случае. Все соглашались, что князь нарочно ославил дочь свою безумною, чтоб завладеть ее имением, что бесчеловечным обхождением с нею он в самом деле довел ее до иступления и, наконец, безвременно свел в могилу. Судьба Баянова не ускользнула от пронизательных взоров. Ходили слухи, что он был привезен в Шуран и брошен в один из подвалов, где и был уморен с голоду мстительным князем. Приводили в доказательство рассказы некоторых слуг... Они клялись, что слышали стоны в подполье и узнавали в них голос учителя, что потом он начал стихать, стихать и, наконец, замер в таком страшном вопле, что от одного рассказа вставляли дыбом волосы. Говорили еще, будто видели в следующую ночь, что мелькал огонь в отдушине подвала, где сидел Баянов, слышали, как там брякали лопатки, как что-то закапывали, закладывали камнем. Со всем тем ужас, наведенный князем на соседей, был так глубоко укоренен, сила его в суде и связи в столице так обширны, что ни один человек не

посмел пикнуть в обвинение.

Дело запало само собою.

Вскоре после смерти дочери в князе заметили чудесную перемену. Его злое, дерзкое лицо покрылось бледностью; походка стала робка и нерешительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, среди белого дня, он останавливался на быстром ходу и, весь трепеща, отступал; иногда вскакивал с кресел, произнося невнятные слова. Этого мало: по сказкам всей дворни, стали твориться чудеса в доме. Что ни полночь, двери из бывшей тюрьмы княжны распахивались с визгом сами, и оттуда явственно раздавались мерные шаги, только никого видно не было. В ту же минуту подымался тяжелый стон из подвала так протяжно, так страшно и пронзительно, что он слышался во всех углах замка. Напрасно зарывали все головы в подушки и завертывались в одеяла: он все слышался в ушах и звучал, как в пустом склепе могильном. В спальне у князя каждую ночь слышали чью-то походку, адский смех и потом скрежет зубов, проклятия и будто хрипение смерти. Никто не смел, однако ж, и намекнуть о том, не только спросить князя, — он хранил мертвое молчание. И вдруг в одну ночь он с воплем выбежал из спальни своей, бледный, испуганный; в одной сорочке, он сам походил тогда на мертвеца.

— Запрягайте коней! Подавайте возок! — кричал он. — Чтобы сейчас, сей же миг стар и мал бежал из этого проклятого дома, вон отсюда и навсегда... Слышите ли, говорю я вам, выбирайтесь вон мигом!

Как ни удивлены были слуги и все домашние таким неожиданным приказом, только шутить с князем было плохое дело: через час не осталось в целом доме ни человека, ни кошки. Все это кинулось, потащилось и поползло в зимнюю ночь, кто на чем попало, в другую усадьбу верст за тридцать. С тех пор дом этот стоит заколочен. Суеверие сторожит его лучше всяких караульных и собак. На закате солнца, не то чтобы в глухую ночь, ни один крестьянин не смеет мимо его вблизи проехать. Через полтора года князя нашли мертвым в постеле. Простолюдины толковали, что его заели нечистые, которым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные говорили, что правосудие божие кликнуло его на расправу. Его похороны были праздником не для одних плакальщиц.

Усадьба Шуран, вместе с деревнею, досталась на долю моей матери. Несмотря на все выгоды и устройство хозяйственное, она не хотела туда переселиться. Только два раза в лето приезжала она с нами к управителю, жившему в одном из отдаленных флигелей, для надзора и проверки счетов на месте. Само собою разумеется, что дворня наша, и мамки, и нянюшки мои не упустили случая наказать мне с три короба страхов и преданий об этом таинственном доме. С каким, бывало, трепетом, с каким удовольствием осмеливались мы с братом приближаться по заросшему крапивою двору вечером к заколоченным палатам! Главные двери были забиты досками; окна зацвели мертвою синевою; в разбитые стекла порхали птицы, и кровля во многих местах упала собственною тяжестью. Осторожно переступая, будто боясь попасть в силос или в очарованный круг, подходили мы к крыльцу; на нем, по спаям камней, росла уже трава. Брат мой был и постарее и посмелее меня и порой достигал до самой двери; но когда обращался назад, то кидался вниз по ступеням опрометью. Он признавался, что замок страшно глядел на него одним глазом своим, что в дверную скважину кто-то дышал на него морозом и петли скрежетали, как зубы. Издали бросали мы иногда камень на кровлю и с биением сердца слушали, как он, стуча и прыгая, катился по ней книзу, и когда, упав на землю, скакал еще далее, мы бросались от него, воображая, что он за нами гонится. И в самом деле, эта могильная тишь на дворе, опустелый дом, опальные ряды служб, обрушенные заборы — все внушало грусть даже детскому сердцу, и ветер, стонущий в разбитых окнах, шумящий между репейником, слышался нам говором духов, вестью с того света, оп будто наносил на нас сырость и прохладу гробов.

Как-то однажды мы были смелее обыкновенного и, разбив камнем стекло в окне нижнего этажа, решились посмотреть внутрь комнат. Брат поднял меня на плечи, чтобы я мог достать до рамы. Не без ужаса просунул я свою голову в разбитое стекло; я боялся бы не более положить ее в пасть медведя. Опершись о пыльный косяк, взглянул я внутрь, и сначала

все мне показалось темно, как ночью. Через несколько времени я пригляделся... а между тем брат ежеминутно расспрашивал меня, что я вижу. То была обеденная зала. Длинные столы стояли по стенам с полуоборванными полами; многие стулья лежали на полу, словно опрокинувшись от страха; другие, будто от слабости, стояли, прислонясь к стене. На полу лежали обломки посуды, видно разбитой впопыхах перевоза. Полинявшие, пыльные обои, в иных местах уже опавшие, колебались от ветра; из-под них выглядывала дождевою плесенью покрытая стена; инде штукатурка обвалилась и сквозили лучинные решетки, — вы бы сказали: это тлеющий труп богача, с которого падает одежда и кожа, и местами уже обнажаются ребра, на которых паутина висела как волокна и жилы. Карнизы улеплены были гнездами ласточек; летучие мыши цеплялись по углам; живопись потолка сплылась в какие-то чудовищные арабески. Трудно себе вообразить, какое странное впечатление произвел на меня вид этой опальной комнаты; я будто сейчас гляжу на нее! Все, все в ней казалось мне чудным, сверхъестественным, страшным. Этот мрак, в ней царствующий, эта полурастворенная в коридор дверь, за которою так таинственно сгущались тени, даже обшитая сукном веревка, на которой когда-то висела люстра, с огромным крючком своим казались мне орудием пытки. Мне казалось, на сером свете сумерек, сквозь мутные стекла, что все звери и птицы обоев шевелятся, трепещутся, что белая изразцовая печка притаилась в углу, как мертвец в саване, и вдруг в самом деле что-то живое, с блестящими глазами, с грохотом прокатилось по зале и прямо кинулось на меня, — я заревел, опрокинул брата, смял его, покатился с ним вместе через голову, и потом вскочили мы оба, и оба, крича изо всей мочи, ударились бежать врознь, забыв оборонительный и наступательный союз: не выдавать ДРУГ друга ни в каком случае. Чудовище, испугавшее нас, была кошка. Мы, однако ж, народ храбрый и, уверясь в том, не смели подойти к ней: кошка искони слышет сосудом оборотней, ведьм и тому подобной адской челяди второго разряда.

Улетели годы.

Давно уж покинул я родину. Учился в Москве, вступил в службу. Радостно спешил я домой показать матушке свои патенты, свои эполеты, при первом отпуске. Весь мой младенческий и отроческий быт ожил в душе, когда я увидел поприще, на котором он двигался. Правда, кукольный мир этот, не только просторный, но и огромный для ребенка, для меня, юноши, казался уж тесен, мал непонятно. Но он был моим, был связан не скажу с прекрасным, но с беззаботным возрастом, когда мы чувствуем, не ощущая сердца, думаем, не утомляя души, — с этим единственным возрастом настоящего без сожаления о вчера, без ожидания завтра, без воспоминаний, едва ли не всегда разведенных желчью раскаяния, без надежд, отравляемых ядом страха. Я сказал тебе о моей склонности к чудесному. Признаюсь, что возраст не уничтожил ее; он только высучил ее в утонченную нить, а романы раскрасили ее своими цветами. Переменился вид, существо осталось то же. Вот почему таинственный Шуран манил меня к себе своими чудными преданиями, манил неодолимо. На третий же день я велел оседлать коня и поскакал туда. Это было в октябре месяце. Когда я приехал в Шуран, ночь, как прелестная арабка, в звездном покрывале гляделась уже в померкшем зеркале Камы. Я слез у крыльца уединенного домика, в котором жил управитель, только не нашел его у себя: он уехал в дальнюю деревню. Мне вовсе не весело было коротать вечер с старухой, его женою, и, поужинав налегке, я велел подать себе топор, зажег три восковые свечи вместо факела и, не сказав никому ни слова, отправился прямо к покинутому дому. Репейник заплетал мне дорогу; испуганные лягушки, которые уже столько лет невозбранно владели мокрым двором, квакая, прыгали из-под ног моих. Я подошел к обрушенному крыльцу, которого ступени были термометром детского нашего честолюбия, я увидел окно, в которое глядел, когда был испуган кошкою, — и все фантастические существа замахали около меня знакомыми крыльями, и прежнее чувство сладкого страха втеснилось в грудь, я опять стоял школьником перед старинным замком. Это было на минуту. Я оторвал топором доски дверей и вошел в обширную переднюю. Отворенные кругом стен ящики для сиденья слуг и опрокинутые вешалки доказывали еще торопливость, с которою выбирались жильцы из дома. Паук развесил свои победные знамена по стенам,

медные задвижки дверей зацвели зеленью, сами двери едва держались на перержавленных петлях, и когда я тронул одни, они упали с треском на пол. Гул пошел по пустым комнатам, густое облако пыли взвилось, и я сквозь него вступил в залу. Летучие мыши, эти бабочки развалин, треща перепончатыми крыльями, слетелись на огонь и кругами реяли мимо глаз. Разрушение много выиграло с тех пор, как я в первый раз видел эту залу. Карнизы обвалились, и часть их лежала на столах, словно объедки от пиршества зубастого времени. Обои висели длинными лоскутьями. Занавесы окон под густым слоем пыли источены были молью. Дождевые потоки навели еще мрачнейшую краску на стены, и на них несколько портретов проглядывали сквозь копоть, будто сквозь туман забвения. Полон воспоминаний младенчества, полон думою о несчастной судьбе моей родственницы, которая жила, любила, умерла здесь, пробежал я ряд комнат, покинутых людьми, которые одни могут бороться со временем и оставили ему победу без боя. В каждом трепетании обоев мне слышался стон умирающей жертвы, одинокой посреди холодных стен и еще холоднейших стражей, в разлуке с милым супругом. И ни одно дружеское приветствие, никакое родственное утешение не радовали последней тоски ее!! Напротив, она видела подле себя Коршуновы очи, которые с жадною радостью ждали ее кончины, она знала, что мучения ее останутся никому не известны; что, испытав по сю сторону гроба злость, по ту сторону предана будет клевете; что она, измученная, очерненная, погребенная заживо, сойдет в землю не оплакана, не оправдана никем и ни перед кем, — ужасно! «Лиза! — вскричал я, — несчастная Лиза! Я защитник твоей чести!» Мой голос пробудил эхо пустых комнат, и стекла, дребезжа, дали унылый аккорд! В это время послышалось мне, будто кто-то ходит в соседней комнате... Шаги эти были тихи, легки, можно сказать воздушны; меня облило холодом, волосы стали дыбом... Прислушиваюсь — ни звука. Мало-помалу я ободрился и поднял вверх светоч свой, чтобы осмотреться, — я стоял в длинном коридоре, в конце которого виделась белая резная дверь, убитая, как видно после, железными полосами. Сверху привинчены были тяжелые задвижки, но они не были задвинуты. Мне вспало на ум: не здесь ли вытерпела дочь строптивного князя ужасную пытку? Любопытство разгорелось. Я приблизился к этим дверям, тихо взялся за скобу и дернул ее к себе... Дверь растворилась.

Друг мой! ты знаешь, робок ли я под свистом картечей, ты знаешь, бледнел ли я перед пикой, устремленной мне в сердце, по ты не знаешь, как упало это сердце, когда взглянул я в тюрьму Лизы... Казалось, ледяная гора задавила меня, казалось, сам я в одно мгновение превращен был в кусок льда... Нет, это был не сон, не мечта, не обман очей, не игра приготовленного воображения, — я тысячу раз видел портрет Лизы, висевший в спальне у моей матери, он был врезан в моей памяти, — и вдруг наяву, без всяких сомнений наяву; передо мною!..

Я слушал Зарницкого с большим вниманием; когда он был разгорячен или одушевлен, то рассказывал увлекательно. Не слова, не речи, а голос этих речей, а чувство, волнуемое этот голос, переливали участие в грудь каждого. В ту минуту, когда он произнес: «передо мною»... послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы оба так настроены были к чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и обратили глаза на дверь с каким-то робким ожиданием. Когда глаза наши встретились, мы оба усмехнулись, будто признаваясь: какие мы дети! Та улыбка, однако ж, была мгновенная. Мощная рука, которая не удостоивала, казалось, отвернуть ручку дверную, сорвала весь замок, и к нам вошел высокого роста латник, завернутый в широкую, теплую шинель. Палаш его, волочась, бренчал, каска была изрублена, и часть гребня висела над глазами. Он не поклонился нам, не молвил слова и прямо сел к огню — мы узнали в нем кирасирского майора, которому одолжены были победою. По закону военной учтивости и долгу службы, я, как старшему, отрапортовал ему о состоянии отряда и, наконец, от чистого сердца протянул ему руку с дружеским благодарением, с солдатским приветствием, говоря, что нам лестно будет иметь товарищем человека, которому обязаны блистательным успехом. Но латник встал, и приложил руку к козырьку машинально, и снова сел, будто ничего не видя и не слыша. Бледно было его лицо; глаза мутны, неподвижны. По трепетанию черных длинных его усов видно было порой

судорожное движение губ... Брови сдвинуты угрюмо.

Пробитая картечью и пулями его шинель залита была кровью, и каждый раз, когда он наклонялся, поправляя огонь, палаш его падал на дол, звуча, и цепки, связывающие кирас, брякали о железный нагрудник. Мы говорили между собой шепотом, изумленные странным появлением и еще больше странным обхождением латника. Кто он? что он? зачем он здесь? Мы напрасно заводили с ним речь, напрасно потчевали чаем: он склонением головы или движением руки прерывал все вопросы и предложения. Мы оставили его самому себе.

Опершись об руку, упертую в колено, он, казалось, глубже и глубже тонул в море минувшего, — он вздыхал тяжело, так тяжело, что у нас вчуже вздувалось сердце. Иногда слезы катились по его лицу. Он с какою-то завистью смотрел на пылкие уголья, которые меркли, угасали, распадались в пепел, будто он в них видел свое подобие. Потом вдруг, сложив руки на стальной груди своей, он опрокидывался назад и шептал невнятные слова... грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва, — он был страшен.

Мы вздремали; казалось, вздремал и он; только по временам вздрагивал и стонал. Вдруг пробуждены мы были стуком его палаша, — он с ужасом смотрел на руку свою: на нее упало несколько капель растаявшей на шинели крови... Глаза его стояли, густые кудри бросали тень на белое как саван лицо, губы были открыты, — весь он был идеал ужасно-прекрасного!

— Зачем ты пробудила меня, кровь злодейская! — роптал он, — неужели мне один сон — могила, неужели ни прежде, ни после мести нет покоя!!

Он вскочил, схватил горящее полено вместо факела и под влиянием сомнамбулизма сделал несколько шагов вокруг комнаты.

— Здесь, так, здесь видел я ее впервые! — произнес он тронутым голосом и с горькою улыбкою, но в этой улыбке отражались все муки души. — Она сидела у этого окна; мрачны стали эти стены; они подернулись как гробовым сукном... а было время, они склонялись надо мной, как брачный полог, как цветная занавеса будущего. Здесь дал я, здесь услышал я первую клятву в верности... Клятву? Они пишутся на воде и утекают с нею!! Но мою клятву я бы готов был запечатать своею кровью, и только кровь могла смыть ее... Она смыта! — прибавил он злобно и потом тихо, озираясь, пошел далее — в другую, в третью комнату. Наконец мы вышли в залу, в которой была самая горячая схватка; стены были истреляны русскими пулями, окна разломаны, несколько десятков обезображенных трупов валялись друг на друге, по полу, залитому кровью, — картина была отвратительна, не только ужасна. Латник наш, достойный гость между мертвецами, с пылающим деревом в руке, в каске и в латах своих походил на привидение какого-нибудь рыцаря веков минувших, — исполинская тень его мелькала по стенам и кралась следом.

Мы стояли в тени, неподалеку.

Стены были увешаны портретами фамильными, — это общий обычай в Польше. Латник прямо кинулся к одному из них как знакомый и рассматривал его с диким наслаждением. Это было в самом деле прелестное лицо какой-то девушки. Озаренная неверным светом, она мелькала сквозь мрак, будто неслась ангелом мира.

— И ты, сердце моего сердца! ты, которая одушевляла для меня жизнь и свет, и тебя не стало! — произнес латник, глубоко тронутый. — Земля взяла свое — черви насладились твоими прелестями... Черви? Нет, змея отравила тебя заживо, Фелиция. Свидетель бог, ты одна могла удержать руку, готовую раздавить эту гадину, я отсрочил мечь, но отказаться от нее не мог я, как от любви своей, — мечь мне осталась единственною любовью после тебя, единственною отрадою; только жажда ее могла приковать меня к колесу пытки!! Не смотри так грозно на меня, Фелиция, — я дал себе страшную клятву уничтожить изверга, а ты ведаешь, изменял ли я клятвам в добром и злом... Она свершилась!! И ты сдержала обет свой, милая тень, ты обещала мне явиться в ночь предсмертную, вестница радости... Ты явилась мне, не убегай, не улетай от меня, скажи мне, буду ли я твоим супругом в царстве смерти? Любят ли там? Я не хочу рая, когда в нем не найду тебя!!

Он кинулся навстречу милому призраку в порыве горячки своей — и запнулся за убитого француза... Внезапный ужас поразил его. Он наклонился, поднес головню к посинелому лицу мертвеца — и черты его вспыхнули гневом...

— Ты и здесь заграждаешь мне дорогу на небо... Прочь, змея! Прочь, говорю я! — вскричал он. — Как ожил ты из-под моих ударов? Зачем пришел ты умереть сюда? Неужели и ад не принимает злодея?.. В этот раз по крайней мере ты не уйдешь от меня... в этот раз ты не избежишь заслуженного ада, который вызвал на свет!

Пена била у него клубом, лицо горело кровью, — он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь, так, что у него затрещали кости, и, подняв обеими руками клинок, вонзил его в давно оледенелое сердце и дважды повернул в рапе...

— Он еще живет, еще дышит! — повторял он, прислушиваясь, — еще оставшая кровь, как червь, ползет в жилах его!..

Он снова взмахнул палашом, но иступление истощило все его силы — он рухнул на пол бесчувствен, бездыханен.

Кликнув гусаров, мы перенесли его в прежнюю ком-пату, сняли с него латы и положили на плащах. Приводя его разными средствами в чувство, мы успели возвратить ему дыхание, но не память. Только по временам пробегал по всем членам его трепет, только холодный пот проступал на теле и закрытые веки дрожали судорожно. Он тихо стонал, произнося невнятные слова, — мы оставили его успокоиться. Встреча с латником совершенно отбила у нас сон. Мы потихоньку рассуждали, до какой степени несчастная любовь делает неистовым человека, одаренного, или, лучше сказать, наказанного, пылкими страстями. Очевидно было, что он жених Фелиции и враг грабе Остроленского, что он преследовал и изрубил его.

— Однако ты, брат, не закончил своего рассказа, — напомнил я поручику.

— Он будет краток, — отвечал поручик со вздохом. — Слушай. Мы были прерваны на том месте, когда я отворил двери старинной темницы Лизы. Гляжу — в комнате этой горит свеча, под окном, забитым решеткою, стол; в углу простая кровать и на ней — вообрази мое удивление! — женщина в белом платье — и кто же? Лиза! Я говорил тебе, что кровь замерзла в моих жилах, но это не выражает ужаса, который я тогда ощутил. Казалось, тысяча ледяных иголок пронзили меня с головы до ног, холодный пот застыл на сердце, и если я тогда не упал, то обязан этим одному оцепенению... Это был задаток разрушения в час смертный.

Но все, что имеет начало, должно иметь конец. Рассудок проговорил, сердце оттаяло, и я с недоумением и страхом протирал глаза, чтоб увериться, не греза ли это; нет! белое привидение недвижимо лежало передо мной, будто в глубокой тоске, в непробудимой задумчивости. Прелестное, но бледное лицо было полузакрыто светло-русыми локонами. Я долго смотрел на это явление, колеблем между истиной и заблуждением, ступил шаг — незнакомка подняла глаза, и тут уж я убедился, что столько жизни не могло сосредоточиться в мертвеце... Я прервал безмолвие, я сказал ей, кто и почему я здесь... Теперь угадай, кто была она и как туда попала?

— Не могу придумать, — отвечал я.

— И я не вдруг узнал это. Милая девушка умоляла меня никому не открывать о встрече с нею. Напрасная просьба! Я сам бы готов был схоронить от целого света такое сокровище. Нужно ли сказывать, что через полчаса, проведенного с нею, я уж был влюблен по уши? Чудесность, таинственность всего ее быта бросили искру в сердце, а ее невинность, ее светлый ум раздули пожар. Я выпросил у нее позволение увидеть ее еще раз и еще раз, но в замену дал слово делать это с большими предосторожностями. Через три дня я уже опять спрыгнул у крыльца управителя Шурана.

«Дома ли?»

«Дома-с, очень рад».

Управитель встретил меня двусмысленною улыбкою.

«Не прикажете ли подать топор и свеч, Григорий Иванович?» — сказал он мне.

«Зачем это?» — возразил я, смутившись.

«Для ночного путешествия в опальный дом, — отвечал он. — Григорий Иванович, я все знаю. Вас ждут, и ждут с нетерпением; только позвольте, чтоб в этот раз я был проводником вашим».

Он пошел вперед, не ожидая ответа, а я так смущен был неожиданным этим приветствием, что шел сзади его, как на своре.

Когда приблизились мы к роковой двери, сердце у меня вспрыгало, будто заяц под ружьем стрелка... Незнакомка встретила нас еще прелестнее, чем прежде... Я таял, на нее глядя, самолюбие мое лакомилось пылким румянцем красавицы.

«Григорий Иванович! — сказал управитель, — прошу любить и жаловать тетку вашу... Вы видите дочь Елисаветы Андреевны, Елисавету Павловну Баянову!» Я отступил от изумления три шага назад... Мысли и чувства так были превращены этим неожиданным, непонятным объяснением, что я стоял долго, растворив рот, как будто бы я глотал чужие слова, вместо того чтоб произносить их самому.

Управитель продолжал: «Брак г-на Баянова с родственницей вашей княжной X-ой совершен был неразрывно. Его утаили, но уничтожить не могли. Девица, которую изволите видеть перед собою, родилась во время заключения Елисаветы Андреевны и названа была ее именем. Покойник князь имел свои причины скрыть новорожденную и поручил мне отдать ее на воспитание в какую-нибудь дальнюю деревню. Мне стало жаль малютки, я свез ее к брату своему, бедному помещику в Вятской губернии: он был бездетен и принял покинутую как небесный гостинец. Выкормил, воспитал ее, как видите. Никто не знал о том ни крошки: все дело шло самым тайным образом. Кого вязали свои дела, кого княжие деньги или угрозы. Умер и князь, да остались его наследники; заводить с ними тяжбу пугало и меня, несмотря на упреки совести: я и сам был в этом деле виноватый, хоть невольной. Месяц перед сим потерял я брата, а Елисавета Павловна — своего воспитателя... Неделю назад приехала она сюда. Я крепко плакал по добром брате своем и не утешился бы, если б не было со мной этого ангела. Между тем (между нами будь сказано) любезная Елисавета Павловна начиталась всякой всячины: то и дело просится посмотреть того места, где жила и скончалась ее матушка. Как отказать!! На беду эта комната ей до того полюбилась, что не вызовешь. Днем ходить сюда — пошли бы разные толки, а нам надо было молчать о ее роде до поры до времени. Вот она и стала плакать здесь по матери ночью. Не осердитесь, любезнейший Григорий Иванович, что, заступаясь за правду и за правую душу, я выхлопотал все законные свидетельства для иска наследства Елисаветы Павловны; может, придет и вам поплатиться, — да ей главное — дорога материнская слава и свое доброе имя, которых иначе нельзя выправить, как перед зеркалом. Что перед вами таиться? Елисавета Павловна нашла себе по сердцу суженого, и это всего больше заставило меня поспешить развязкою. Ваше неожиданное посещение крепко встревожило мою гостью. Я с своей стороны счел за лучшее сказать вам все откровенно. Я знаю вашу благородную душу!»

«И не ошиблись в ней! — вскричал я, обнимая почтенного, простодушного старика. — И не ошиблись!..»

По праву родства я обнял милую свою родственницу, — но чего бы я не дал, чтобы обнять ее, не слышав вестей, что она родня моя, что она невеста другого!!

Мои мечты, мои надежды рассыпались, но любовь осталась в сердце. Я избегал всех случаев видеть ее, но ее образ был всегда перед глазами... Тому уже прошло пять лет, друг мой, но я не могу вспомнить о моей Лизе без вздоха, — она была для меня настоящим призраком счастья!

Я сделал все, что мог, для ее счастья — уговорил матушку уступить ей свою часть имения, от князя X-го доставшегося, хлопотал по судам, чтобы признали ее истинною дочерью Баянова, и успел в этом. Денежный иск другое дело: он до сих пор тянется с сыновьями, князьями X-ми. Впрочем, Лиза вышла замуж за того, кого любила, который любил ее, который ее любит... Она пишет, что живет безбедно и счастливо!.. А я?..

Поручик закрыл лицо, но не слезы свои руками... Грудь его стояла надувшись, но он не

вздыхал... он не мог вздохнуть!..

Сердце мое сжалось... горячие капли пробились сквозь ресницы. Мы оба молча склонили свои головы в плащи.

Так заснул я.

С вечера я отдал приказ быть готовыми к выступлению к четырем часам утра. Рокот трубы пробудил нас.

Трудно, несмотря ни на какую привычку, спросонков слышать без содрогания звуки трубные: они имеют в себе что-то ужасающее, что-то зловещее, что-то пронзающее сердце. Кажется, призыв их выговаривает слова: на брань, на брань, на суд, на суд! Первым нашим движением было кинуться к больному кирасиру, — он спал еще крепким сном; лицо его было посвежее, хоть все еще бледно. Наконец перекаты трубы проникли и до его души, — он встrepенулся, поднялся на руку и с каким-то недоумением озирался кругом, припоминая, что было, где и как он теперь. Неужто он еще жив? — было первым его вопросом.

— Успокойтесь, майор, — сказал я, — если вы спрашиваете про кого-нибудь из неприятелей, то они все легли на месте.

Он долго смотрел на меня, будто взвешивая слова мои, будто вглядываясь не только в мое лицо, но и в душу.

Наконец он дружески протянул ко мне руку и крепко сжал ее.

— Я помню вас, я знаю вас, — сказал он, — коротко было мое знакомство с вами, дружество будет еще короче; зато одно и другое полно. Теперь я будто сквозь сон вспоминаю, что со мной случилось вчера. Господа! я чувствую, что странность моих поступков должна была изумить вас... Я бы желал, в свою очередь, в извинение себе молвить словцо-другое о том, что привело меня к этому безумию, да боюсь, чтоб не задержать похода.

Я отвечал, что мои разъезды не возвратились еще из окрестностей, и потому с час места будет досугу поговорить и послушать за стаканом чаю.

— Если так, господа, — возразил майор, — я вкратке расскажу вам свою печальную повесть. Не многие часы даны мне на белом свете, я считаю поэтому долгом открыть добрым товарищам сердце; может быть, вы повстречаете родных моих и передадите им мою последнюю исповедь. Как ни тяжело вызывать мне прошлое из могилы сердца, но я вызову его, как тень Саула, чтобы услышать от ней неизбежное пророчество гибели. Послушайте.

Здесь, в этом самом замке, стоял я с артиллерийскою ротою, которою командовал. Я любил дочь хозяина, я был любим, я был женихом ее. Перед самой свадьбой больная мать моя захотела непременно видеть меня для благословения. Я поскакал и, застав добрую матушку на смертной постеле, не отходил от нее в течение трех недель. На столике, установленном лекарствами, писал я невесте много и часто, лаская ее, обманывая себя надеждою скорого выздоровления любимой, уважаемой матери, скорого свидания с обожаемою, с нею. Бог судил иначе: матушка моя скончалась.

Бессонница, огорчение, тоска сломили меня: я схватил жестокою нервическую горячку. В бреду, в беспомысленности, наконец в летаргическом расслаблении пробыл я почти два месяца. В беспомысленности, сказал я? Нет, то было лишь отсутствие разума, отсутствие внешних чувств; но память о разлуке, о потере свинцовой горой лежала на сердце. Немая, но тяжкая, неопределенная боль тяготела надо мной, подавляла вместе душу и тело, тлела, не вспыхивая и не уменьшаясь. Я не ощущал хода часов, но чувствовал долготу времени; оно тянулось, длилось бесконечно. Нить этого отчаянного положения прервалась вдруг, я очнулся.

Все радостное и все горестное слетелось в душу с первым лучом света, проникшим в нее, — они кинулись на нее будто хищные птицы, давно голодные!! Первым моим желанием было узнать, есть ли письма от Фелиции. Все молчали; то было молчание смерти для всех надежд моих. Новый продолжительный обморок облил меня своим холодом, он поразил только что распускающуюся почку сил. Слабость моя была чрезвычайна, беспомысленность часто, выздоровление медленно. Восемь месяцев протекли с тех пор, как я разлучился с Фелициею, и вот я стал на ноги. Боже мой, боже мой! для чего ты отдал мне жизнь, не отдав

счастья! Тогда узнал я то, чего не смел подозревать, чему бы никогда не поверил! Фелиция вышла замуж за одного из дальних своих родственников! С первого раза я считал ее мертвою, ибо жить и не писать ко мне были две мысли, которых не мог я связать вместе... Я уже свыкся с этою мыслию, как люди привыкают к яду. Она была горестна, но не обидна для меня... Можете судить, каково было мое бешенство, когда я узнал неверность Фелиции! Выброшенный взрывом гнева из круга обыкновенных страстей, я не знал никакой узды, никаких границ. Казалось, адская сила стремилась ко мне, как ядро, на разрушение чужое и собственное. Огонь тек в моих жилах; сера кипела в груди. Я был глух на советы и увещания совести: я решился убить Фелицию! Что вы так страшно глядите на меня, господа? Постигаете ли вы чувство нетерпимости раздела в любви? Можете ли вы вообразить, можете ли понять, оправдать, по крайней мере извинить человека, который скорее убьет своего соперника, чем уступит ему любовницу, скорее пронзит сам ее сердце, чем позволит ему биться на груди другого? Если вы не имели о том мысли, если не слыхали тому примеров, то перед вами стоит тот, кто готов был произвести это в действие, кто лелеял месть за любовь, как прежде самую любовь, — месть, это страшное наследство страстей необузданных. Воля, которую не умели переломить во мне с младенчества, разбила мое сердце, да я не ищу извинений. Бог, перед которого скоро предстану, рассудит, прав ли я, виноват ли я... Чему было должно свершиться, свершилось. Каждый миг замедления был мне нестерпим; я спал и видел кровь. Я жаждал увидеть изменницу еще однажды и в последний раз; этот раз должен быть последним часом в ее жизни. Я просился и был переведен в кирасирский полк, стоявший невдалеке отсюда. Я сделал это потому, что рота моя во время моей болезни перешла в Россию. Полный кровавых замыслов, я полетел на роковое свидание.

Приближаясь к замку, я с зверскою радостью воображал себе ее изумление, ее смущение передо мною, я предугадывал ее извинения, ее стыд при моих укорах, я наслаждался заранее ее ужасом при блеске лезвия, — решимость моя была непреклонна.

Однако чем ближе сюда, тем мягче и мягче становился гнев мой. Душевная боль опала, кроткие воспоминания прошлого счастья овладели мною против воли. Глухая осень оборвала уже листья с деревьев сада, зато каждое из них одето было для меня сладкою поминкою. Я без мысли, без цели перепрыгнул на коне через рогатку садовую и наудачу тихим шагом объезжал все дорожки, знакомые глазу и милые сердцу; все было мрачно, и печально, и пусто, как в груди моей; павший лист хрустел под ногами, и ветер звучал, как в струны, в замерзлые сучья; грустна была песня его, но она лилась как масло на сердце. Осенняя заря разливала свои розовые сумерки будто на прощанье; она хотела разьяснить улыбкою целый день угрюмое небо. И вдруг совсем неожиданно наехал я на сидящую под деревом Фелицию. Не умею, не смею выразить, что тогда случилось, когда я взглянул на нее!! Я ожидал ее найти в полном расцвете прелестей, с гордым самодовольствием в глазах, близ ласкающегося к ней мужа или в толпе поклонников... И где ж и как нашел я ее? Сердце мое облилось кровью: она была худа и одинока! Все, что могут страдания душевные и болезни телесные, написано было на ее бледном лице. Одна прелесть еще сияла на нем — прелесть невинности. Слезы покатались из глаз ее, — они растопили мое сердце. Все подозрения, все сомнения, вся уверенность моя рассыпались при первом ее взгляде, — я упал, рыдая, к ногам ее...

Это свидание не было последним. Я вымолил у Фелиции позволение видать ее в замке по пятницам, дни, в которые граф уезжал обыкновенно в гости. Живучи вблизи, я узнал все адские хитрости, которыми намостил он себе дорогу к супружеству. Перехватывание писем, ложные вести, коварство под личиною участия — все было там на мою беду. Этого мало. Ему нужна была Фелиция для золота; она стала лишняя, когда он получил его. Злодейская холодность, ядовитые упреки, презрение ко всему, что достойно уважения в женщине, в супруге; все огорчения, какие только злоба может выдумать и бесчувственная подлость исполнить, отравили ее жизнь, уничтожили здоровье. Она чахла, она разрушалась в глазах моих, — я видел, я чувствовал это и перенес это; меня подкрепляла надежда, жажда мести. Я поклялся прахом отца и тенью матери, поклялся всеми страшными и священными клятвами

для человека отомстить злодею неумолимо. Но я не хотел смешивать с кровью последних минут Фелиции; я молчал о моем намерении. Звезда души моей гасла чиста и невинна!.. Так блещет луна перед закатом своим в зимнюю ночь, — мрак и холод окружали меня.

Когда в последний раз видел Фелицию, она предчувствовала свою кончину, и я не мог ее не предвидеть. Не знаю, с чем сравнить жестокую известность, которая близилась... Я был вне себя... В безумии умолял я ее, если не суждено нам еще однажды видеться здесь, чтобы хоть тень ее явилась мне перед тем днем, в который кончатся мои земные бури и страдания.

«Это будет рассветом моего будущего, блаженства... — говорил я. — Дай мне на этой земле вкусить небесную радость!»

«О, если б это было в моей власти, — отвечала она, — я бы слетела, как луч, вестником соединения!»

«Кто любит, тот верит, — возражал я, — и почему бог не исполнит невинного желания людей, рожденных друг для друга и только страдавших друг за друга!»

Она с улыбкою пожала мне руку. «Последняя молитва моя к богу будет об этом, — сказала она, — но последняя просьба моя к тебе — не мсти за меня графу!» Она не могла кончить речи и лишилась чувств, и я должен был оставить ее в таком положении!.. Легче, во сто раз легче было бы мне расставаться с душою, чем тогда с любезною! Она умерла, и я не закрыл ей очи!.. И кто лишил меня этого горестного утешения, кто, если не Остроленский? Последний завет, последняя воля ее была прощение, — но мог ли я простить ему!!

Судьба противостала и злобным и мирным моим желаниям; вскоре после похорон Фелиции она оторвала меня даже от тех мест, где бы я мог выплакать душу, как цветок намогильный. Я был послан ремонтером на всю дивизию внутрь Малороссии и, воротясь через два года в полк, узнал, что грабе Остроленский, обвиненный уголовно за жестокость с крестьянами, бежал во Францию и вступил там в службу Наполеона.

Радостен был я, когда загорелась нынешняя война. Мысль кончить по крайней мере со славою жизнь без счастья утешала меня. Мечь врагам, разорителям отечества, меня одушевляла, но и собственная, сердечная мечь меня не покидала ни в походах, ни в сражениях. Приближаясь ныне к местам, столь для меня памятным, она заговорила в душе громче, нежели когда-нибудь. Я сыпал золото, рассылая жидов проведать, не здесь ли граф Остроленский. Вчерась один из кровопродавцев воротился с вестью, что граф точно здесь и возмущает околоток к отпору. Я выпросился у генерала примкнуть к вашему отряду и поскакал вслед за вами с одним ординарцем. Остальное вы знаете, кроме заключения!..

Тут латник остановился, глаза его снова засверкали гневом, и кровь пятнами вступила в лицо...

— Я увидел в схватке бегущего графа, — продолжал он, — я следил, я достиг его далеко от замка. Конь его, застреленный мною, пал и придавил собою злодея. Палаш мой сверкнул над его головою. О! как сладки были для слуха моего мольбы врага о пощаде! Подлец! Он не умел и умереть благородно; он не выкупил ни одною минутою твердости черной своей жизни. Как унижительно выпрашивал он, будто милостыни, чтоб я дал ему время раскаяться! Нет, злодей! я не дам тебе раскаяться! Ты превратил в ад мое небо — ступай же сам в вечный ад! Я мог бы простить свою собственную, кровную обиду; но тысячи обид, нанесенных существу драгоценнейшему для меня всего на свете, с которым ты разлучил меня, — этого не мог и не должен был я простить. Это было выше души моей, — я с ожесточением вонзил ему в грудь свой клинок.

В это время вошел вахмистр мой с рапортом и за приказаниями для похода.

— Спрашивай о том у господина майора, — сказал я, указывая на латника.

Он вскочил.

— У меня одно приказание для вашего отряда, господин ротмистр, — отвечал он, — одна просьба до вас самих — велите зажечь замок со всех сторон: хочу, чтоб и самая память Остроленского погибла под пеплом!

Я склонил голову в знак согласия; скоро зазвучала труба. Мы едва успели сесть на

коней, как замок вспыхнул столбом. Латник долго ехал, оборотись назад, будто любовался пожаром; но когда лес заслонил нас даже и от дымного облака, он впал в глубокую думу; мы не хотели докучать ему нескромным участием и ехали тихо, безмолвно.

Вдруг мой латник будто проснулся от сна.

— Господа! — произнес он, — прошу вас, как товарищей, отошлите этот кошелек в мой эскадрон. Пускай поминают меня мои добрые кирасиры! Отправьте также эти бумаги к брату моему (он назначил адрес), они будут ему весьма нужны... Наконец простите меня сами — не осуждайте память мою; сегодня, непременно сегодня я буду убит! Тень Фелиции посетила меня в прошлую ночь!

Мы изумились, слыша, с каким уверением говорил человек воспитанный о предчувствиях, о явлениях по смерти.

Впрочем, мы очень осторожно старались разуверить его.

— Вы видели портрет Фелиции, майор, а сон мог продлить заблуждение. Кровь ваша была вчерась так взволнована, так воспалена! — сказал я.

Латник горько улыбнулся.

— Господа! — отвечал он, — может быть, я не могу так же красно, как вы, толковать о лживости предчувствий, о невозможности сообщения живых с умершими... но я верил этому так жадно, так долго, эта вера была моею отрадою, какой-то голос в душе говорит мне, что я не обманут. Отчеству посвятил я жизнь мою, но умереть хочу для себя! За границу этого мира ожидает меня Фелиция!!

Более не молвил он ни слова.

Под вечер вышли мы на Виленскую дорогу и соединились с главным отрядом славного нашего Сеславина; к ночи налетели мы на Ошмяны, — там был сам Наполеон.

Несмотря на превосходство французов в силах, мы ударили в них как гром. Сам начальник наш с ахтырцами врубился в средину города, мы ворвались туда со всех сторон; крик, тревога, пальба, сабли и штыки в работе, но темнота, подарившая нас победою, укрыла Наполеона от поисков наших. Если б мы знали место ночлега, Ошмяны бы были геркулесовскими столбами его поприща.

Но, видно, судьба судила иначе: он ускакал.

Назавтра, на рассвете, я с поручиком Зарницким выступал из Ошмян в аррьергарде нашего летучего, отряда. На улицах лежали еще трупы убитых; многие дома дымились после пожара... живые прятались по углам. Мы тянулись через площадь, на которой французы держались упорнее прочих мест. Тела лежали на телах, ободранные, обезображенные. Вдруг Зарницкий осадил коня, спрыгнул с него и припал к какому-то трупу...

— Боже мой! — сказал он. — Посмотри, Жорж, это наш латник!

В самом деле то был он, и обнажен весь; кирас его брошен был недалеко в грязи, но каска на голове и палаш в стиснутой руке остались. За оружием никто не гнался. На теле его видны были несколько ран пулями и штыками. Выражение лица его сохранило еще гордость и угрозу, но на нем не виделось ни следа страстей, обуревавших его молодость, оно было светло и спокойно.

— Нашел ли ты мир, которого не знал в жизни? — сказал я, качая головою.

— Дай бог! — прибавил Зарницкий. — Чудный человек! ты задал мне чудную загадку. В самом ли деле тень Фелиции была вестницей твоей смерти, или вера в заблуждение заставила найти ее?

— Не пройдет, может статься, трех часов — и французская пуля разрешит кому-нибудь из нас эту тайну, — возразил я.

Задумавшись, стояли мы над телом убитого товарища... Эскадрон прошел... Звук трубы вызвал нас из забвения.

Мы вспрыгнули на коней и молча поскакали вперед.

Комментарии

Роман и Ольга *

Старинная повесть. Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1823 год, за подписью: А. Бестужев.

Эпиграф взят из стихотворения В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

«Разговоры о древностях Новагорова» и *«Опыт о древностях русских»* — «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода» Е. Болховитинова (1808) и «Опыт повествования о древностях русских» Г. П. Успенского (2-е изд... 1818).

...сотник конца Славенского. — Сотник (истор.) — командир небольшого войскового подразделения, сотни. Население в Новгороде делилось на сотни, на «концы», то есть районы, а жители «концов» назывались кончане.

...потомок самого Вадима... — Вадим — полулегендарный вождь новгородцев, упоминаемый в Никоновской летописи; выступил против власти князя Рюрика. В глазах декабристов был символом героической борьбы против тирании.

...косячатое окошко... (косячатое, косячатое, косящето) — окно с косяками.

Мальвазия — сорт греческого виноградного вина.

Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822).

Семик — в Древней Руси — народный праздник поклонения душам умерших.

...кушак шамаханский... (шамахинский) — по названию гор. Шемаха в Северном Азербайджане, население которого занималось, в частности, производством шелка и различных тканей.

Багряница — торжественная одежда, плащ из дорогой ткани багряного цвета (в древности — одежда царей как знак верховной власти).

...бежим к доброму князю Владимиру... — вероятно, в Киев, к Владимиру Святославичу, князю Смоленскому (конец XIV — начало XV в.).

Эпиграф взят из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1803–1805).

...читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом... — Речь идет о торговых соглашениях Новгорода с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, а также о заключенном в 1395 г. новгородскими боярами союзе с ливонскими феодалами.

Изяслав — князь (1024–1078), старший сын Ярослава Мудрого (978–1054), великого князя Киевского.

Липец — липовый медовый напиток.

Алдерман (ольдермен, англ.) — член городской администрации в Англии.

...запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду... — Гаральд Строгий (1015–1066) — норвежский король (1046–1066 гг.), был женат на дочери Ярослава Мудрого — Елизавете. Подвиги Гаральда воспеты в скандинавской поэзии.

Бирюч (бирич) — в допетровской Руси — вестник, глашатай.

...бегун фряжский... — быстрая на ходу лошадь иностранной (заморской) породы.

Корольковые кисточки — пучок из корольков (петушиных или куриных перьев), служащий для украшения лошади.

Лядунка (ладунка) с снарядом... — у артиллеристов — металлическая сумка для патронов.

...строятся стороны... — Новгород делился пополам рекой Волхов на левую сторону — Софийскую, с центром в Детинце (Кремль), и правую — Торговую, где находилось Ярославово дворище и собиралось вече. Многие столетия обе стороны враждовали между собой.

Василий I Димитриевич (1371–1425) — великий князь Московский (с 1389 г.). Борясь против Орды, еще сильной, несмотря на поражение на Куликовом поле, он вынужден был заключить союз (1392 г.) с литовским князем Витовтом Витаутасом (1350–1430), который был скреплен браком Василия I с дочерью Витовта Софьей.

...жду покорности новгородской митрополиту Москвы... — то есть подчинения

Новгорода суду Московского митрополита, чему Новгород сопротивлялся. Вскоре Москва потребовала от Новгорода подчинения и в вопросах внешней политики, особенно после похода Московского князя 1396 г.

Скиригайло — Свидригайло (Швитригайла; 1354–1396) — младший брат польского короля Ягайла Ольгердовича, великий литовский князь с 1388 г. В 1392 г. вынужден был уступить власть Витовту, ставшему великим князем Литвы.

Наримант — один из сыновей литовского князя Ольгерда Альгирдаса (1341–1377); был повешен Витовтом на дереве и, повешенный, расстрелян.

Витовт... хвалится... — Витовт, великий князь Литвы, препятствовал объединительной политике московских князей: разорял Смоленск, Рязань, Тверь, трижды вторгся в пределы Московского княжества (1406–1408 гг.), хотел захватить и Новгород.

...отразили предки булат Андрея Боголюбского? — Имеется в виду битва новгородцев (1170 г.) с владими́ро-суздальским князем Андреем Боголюбским (ок. 1111–1174 гг.), сыном Юрия Долгорукого.

Феревь (ферязь) — старинная русская одежда.

Камчатные завесы — от слова «камка» — шелковая цветная ткань с узорами. Здесь — узорчатые занавеси,

Опашень (истор.) — летняя одежда — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами.

Баскаки — на Руси при татарском иге представители ханской власти и сборщики податей.

Сальчей — князь монголов, захватил шайку новгородских разбойников и продал их тюркским болгарам, жившим на Волге.

Война с Димитрием... — Имеется в виду война Дмитрия Донского против Новгорода (1386 г.).

Эпиграф взят из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

Эпиграф взят из элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

...через Москву белокаменную... — Явный анахронизм у А. Бестужева: время действия его повести относится к 1396–1398 гг... а «белокаменной» Москву стали называть после того, как при царе Федоре Иоанновиче в 1586 г. были поставлены белокаменные стены по нынешнему малому Садовому кольцу (стены Китай-города воздвигнуты в 1534 г.).

Размётная грамота — то есть грамота с объявлением о разрыве отношений.

Эпиграф взят из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить...», входящей в цикл песен, написанных в 1803–1810 гг.

...ворвался в Двинские области... — В 1397 г. великий князь Василий Дмитриевич послал войска в Двинскую землю, требуя признания его власти. Северная новгородская колония отделилась от Новгорода и признала власть великого князя.

...люди житые... — то есть хозяева, земледельцы.

Пятины — пять административных волостей, на которые делились земли Великого Новгорода в XII–XV вв.: Водская (около Ладоги), Обонежская (до Белого моря), Бежецкая (до р. Меты), Деревская (до р. Ловати), Шелонская (от р. Ловати до р. Луги), была и собственно Новгородская волость.

...разбили его рогатки... — В Древней Руси узникам надевали на шею железные (или деревянные) ошейники.

Орлец — новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины. Двинскими боярами она была сдана московским войскам. В 1398 г. была разорена новгородцами.

...с московскими кормовщиками и отсталыми... — Кормовщик — старший в артели, заведовал питанием людей.

Шишак — металлический шлем с острием (шишом).

Ратовье (ратовитце) — древко копья.

Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1812).

Замок Венден *

Замок Венден. (Отрывок из дневника гвардейского офицера), Впервые — в «Библиотеке для чтения, составленной из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности», 1823 год, кн. IX, за подписью: Александр Бестужев. Первая повесть из ливонского цикла.

Замок Венден (Цесис, в русской летописи известен как Кесь) — город в 90 км к северо-востоку от Риги. Основан в XIII в.; служил резиденцией орденского гермейстерства (1201 г.). В 1557 г... во время штурма войсками Ивана Грозного, был взорван осажденными.

Доезжачий — старший псарь.

Тенетить — ловить в тенета (обл.), сети для ловли зверей.

Перкун — главный языческий бог у литовцев и латышей.

Епанча — одежда в виде широкого и длинного плаща.

Колет — в некоторых конных полках — короткая форменная куртка.

...первый том Истории Арндта. — Имеется в виду первая часть «Лифляндской хроники» И.-Г. Арндта (1769–1860). У Арндта есть и собственно исторические произведения, напр... «История крепостного права в Померании...» (1803).

Вечер на бивуаке *

Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1823 год, за подписью: А. Бестужев.

Эпиграф взят из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара» (1819).

Фуражир (воен.) — военнослужащий, ведающий заготовкой, хранением и выдачей фуража (норма для лошадей и скота).

...приказав кормить лошадей через одну... — то есть поочередно, сохраняя цепь.

Ментик — гусарская куртка с меховой опушкой, носимая на левом плече.

...старее Дендерского Зодиака... — Дендра — местность в Египте, севернее Фив, на левом берегу Нила, где сохранились развалины древнего храма с изображением на своде знаков Зодиака.

Иготь — ручная аптечная ступка.

...но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел... — Имеется в виду то, что французские писатели Лесаж Ален Рене (1668–1747) и Мольер Жан Батист (1622–1673) в некоторых своих произведениях изображали лекарей-шарлатанов.

...ящик Пандоры... — Пандора — в древнегреческой мифологии имя женщины, мужу которой Зевс подарил сосуд, содержащий все человеческие несчастья, пороки и болезни. Любопытная Пандора, открыв его, выпустила их на волю. Здесь: источник всяческих бедствий.

Ведеты — передовая цепь часовых, сторожевое охранение.

Фланкеры — солдаты или конные, высылаемые в боковой дозор во время движения отряда.

Второй вечер на бивуаке *

Впервые — в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823 год, ч. XXIII, № 7, за подписью: Александр Бестужев.

Эпиграф взят из послания В. А. Жуковского императрице Марии Федоровне «Подробный отчет о луне» (1820). Первая строка у Жуковского читается иначе: «Там пушек заряженный строй...»

Пифагорова школа молчания... — Среди декабристов было распространено учение Пифагора и пифагорийцев, проповедовавших организацию сект для «общественного блага», самовоспитание в духе уединения, самовоздержание, умение не проливать слез и не жаловаться в несчастиях, не показывать страха и слабости в опасностях. На первом месте

был обет молчания, умение хранить тайну. Здесь выражение употреблено иронически.

Вернетова картина . — Верпе Клод Жозеф (1714–1789) — французский художник — пейзажист, маринист.

...в Кургановой арифметике... сказано... — Н. Г. Курганов (1726–1796) — русский ученый и писатель, автор «Универсальной арифметики» (1757).

...замок Армиды. — Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), красавица, удерживающая героя поэмы Ринальдо своими чарами в волшебном саду.

Дормез (фр.) — громоздкая карета.

Квинта — самая высокая струна в музыкальных струнных инструментах.

Канонер (канонир) — пушкарь, солдат-артиллерист.

Конгревова ракета — ракета, изобретенная английским инженером У. Конгривом (1772–1828).

Рейтары — всадники.

Банник — цилиндрическая щетка на длинной палке для чистки орудийного ствола.

Кацбахское сражение . — 14/26 августа 1813 г. при речке Кацбах в Силезии генерал Блюхер, командующий силезской армией, одержал победу над французским корпусом под командованием генерала Макдональда.

Ташка — кожаная полевая сумка у гусар, носимая сзади на левой стороне.

Замок Нейгаузен *

Рыцарская повесть. Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1824 год, за подписью: Александр Бестужев. Вторая повесть из ливонского цикла.

Давыдов Д. В. (1784–1839) — поэт, герой партизанского движения во время Отечественной войны 1812 г.

Нейгаузен — пограничный замок ливонских рыцарей, построенный в начале 40-х гг. XIV в. (у Марлинского неверно — 1277 г.) и служивший опорным пунктом рыцарей при набегах на псковские и новгородские земли (современное название — Вастселийна).

...взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II... — Эбергард фон Монгейм — ливонский магистр с 1327 г. Дата взятия Риги у Бестужева неверная: Рига была взята в 1330 г... а не в 1334 г. Кроме того, архиепископом в Риге в это время был Фридрих Лобенштет (с 1304 по 1340 г.), а не Иоанн II, умерший в 1295 г.

...стенные пищали... — длинное тяжелое ружье, заряжающееся со ствола.

...осьмиконечный мальтийский крест... — орденский знак мальтийских рыцарей, возникший в XI в.

Миннезингеры — средневековые поэты Германии, воспевавшие рыцарскую любовь.

Муравленые (муравчатые) украшения — украшения, покрытые глазурью.

Камлотовое платье — платье из шерстяной ткани.

Фрейграф — член тайного рыцарского судилища.

...с литовским князем Витовтом. — Как установлено комментаторами, А. Бестужев ошибся, назвав князя Витовта вместо другого литовского князя, Витена, который в 1298 г. нанес серьезное поражение рыцарям, и дата — 1286 г. — указана ошибочно.

Ревельский турнир *

Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1825 год, за подписью: А. Бестужев.

Звон колоколов с Олая... — Церковь св. Олая является памятником древнегерманского зодчества в Прибалтике. Впервые упоминается в 1267 г.

...кружева Арахны — то есть паутина. В «Метаморфозах» Овидия упоминается героиня Арахнея, искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать Афину на состязание в ткачестве и превращенная ею за это в паука.

Брандсугель (нем.) — зажигательное ядро.

Греческий огонь — зажигательные снаряды.

Кираса (фр.) — металлические латы, надевавшиеся на спину и грудь для защиты от ударов холодным оружием.

...под Магольмом, под Псковом... под Нарвою! — Имеются в виду сражения с русскими войсками в 1501–1502 гг.

Орвиетан — особый эликсир от всех болезней, названный по имени лекаря Фероата из Орвието; впоследствии — название всякого шарлатанского лекарства.

Паладин (фр.) — в средние века — рыцарь из свиты короля.

Рыцарь Икскуль — владетель поместья Резенберга; за жестокость со своими вассалами и убийство одного из них был казнен жителями Ревеля в 1535 г.

Ратсгер (нем.) — член совета магистрата.

Шпензер (нем.) — род одежды.

Риттергауз (нем.) — рыцарский дом в Ревеле (Талдине) на Вышхоре; перед ним в старину происходили рыцарские турниры.

Фрез (фр.) — высокий плотный воротник.

Герольд (нем.) — вестник, глашатай; распорядитель на рыцарских турнирах.

Далматика — род мантии или накидки.

Кишвассер (нем.) — вишневая водка.

Пергамин (пергамент) — кожа животных, особым образом обработанная и служащая для написания документов и писем.

...с фогтами и командорами Ордена... — Командоры и фогты — высшие чины Ливонского ордена, назначавшиеся магистром Ордена, ведали надзором и управлением округа.

Фейерверочный бурак — гильза с порохом, выбрасывающая огненный фонтан.

Бургомистр — здесь: старший член магистрата.

Ландрат — член королевского или земского совета.

Вицбетрейбер (нем.) — шут, острослов.

Эпиграф взят из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

...в прусском Ордене, преданном Сигизмунду... — Сигизмунд I Старый (1467–1548), польский король, в 1525 г. согласился преобразовать духовно-рыцарский Тевтонский орден в герцогство Пруссия.

Полевать — ездить в поле для военных действий.

Общество Черноголовых — военно-торговое братство, основанное в XIV в. в Ревеле для обороны города; имело большое влияние на Политическую жизнь Ревеля и всего Балтийского побережья.

Изменник *

Повесть. Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1825 год, за подписью: А. Бестужев.

Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Отелло» (1604).

...кличет к себе из Польши царей... — Московские бояре предательски заключили соглашение об избрании Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, на русский престол. В результате этого польские интервенты были тайно введены в Москву в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г.

...вор Сапега обложил Троицу... — Один из военачальников в войске Лжедмитрия II, Сапега Ян Петр (1569–1611), в сентябре 1608 г. начал осаду Троице-Сергиева монастыря, являвшегося сильной крепостью на северо-востоке от Москвы. Обороняли монастырь небольшой гарнизон, монахи, крестьяне и посадские. Осада была снята только в январе 1610 г... хотя многие города еще осенью 1608 г. перешли на сторону Лжедмитрия II.

...за царя Бориса... — Борис Годунов (ок. 1551–1605), русский царь.

Шуйский — Скопин-Шуйский М. В. (1586–1610), князь, военачальник, успешно

боровшийся с польскими интервентами.

...засадным воеводою... — начальником войск.

...князь Иван поверил... — Имеется в виду князь Иван Дмитриевич, княживший в конце XIII в. в Переславле-Залесском.

Лисовский Александр-Иосиф — польский военачальник; вместе с Сапегой осаждал Троице-Сергиев монастырь, во главе войск Лжедмитрия II разгромил Коломну.

Шуйский Василий Иванович (1552–1612) — русский царь в 1606–1610 гг.

Охабень — верхняя боярская одежда.

Кунтуш (кунтуш) — в старину верхний кафтан у поляков и украинцев.

Гультай (польск.) — праздный человек, пьяница.

Рында — оруженосец или телохранитель у московских царей.

Испытание *

Впервые — в «Сыне отечества и Северном архиве», 1830 год, №№ 29, 30, 31, 32, за подписью: А. М... с пометкой: 1830, Дагестан. Текст сверен с беловым автографом, хранящимся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, фонд 69, ед. хр. 7.

Посвящается Ардалиону Михайловичу Андрееву, петербургскому знакомому А. А. Бестужева, принимавшему участие в подготовке его Собрания сочинений.

Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) — царица Египта, прославившаяся красотой и умом.

...и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. — Согласно преданию, Клеопатра поспорила с римским императором Антонием, что она за скромной трапезой может потратить 10 тысяч систерций; она велела подать чашу с уксусом, опустила туда жемчужину из своей серьги, которая тут же растворилась, и затем выпила этот уксус (см.: Плиний-Старший. Естественная история, кн. IX, гл. 58).

...гомеровского описания дверей... — Имеется в виду описание двери опочивальни Телемаха в «Одиссее» Гомера.

...славный китолов Скорезби... — Вильям Скорезби (1789–1857) — английский мореплаватель. Свои наблюдения о северных морях изложил в сочинении: «Account of the arctic regions» (Лондон, 1820).

...сохрани меня Аввакум! — Имеется в виду или Аввакум Петрович (1620–1682) — протопоп, поборник русского старообрядчества, или один из библейских пророков.

...трехбунчужный паша... — Паша — высший титул сановников Турции. Знаком их достоинства был бунчук (пучок конских волос).

Плум-пудинг (англ.) — сливовый пудинг.

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович; 1779–1869) — военный писатель и теоретик. Родился в Швейцарии, служил в швейцарской, французской армиях. В русской армии служил с 1813 г... был генералом от инфантерии (1826).

Люцифер (лат.) — в христианской мифологии сатана, дьявол.

«Фрейшиц» (нем. Freischütz) — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786–1826), впервые поставленная в 1821 г.

...аппликатура V.C.P. со звездочкой... — сорт шампанского вина; аппликатура — металлическая накладка на горлышке бутылки.

Рутировать — ставить на одну и ту же карту.

Знак Водолея — одно из зодиакальных созвездий, в которое солнце вступает в январе.

...соляной обломок Лотовой жены... — По библейскому преданию, жена патриарха Лота, покидающая обреченный на гибель Содом, вопреки запрещению бога, обернулась и взглянула на пылающий город, за что была обращена в соляной столб.

...убрался в Елисейские... — В греческой мифологии Елисейские поля, или Элизиум, — часть загробного мира, где пребывают праведники. Здесь: умереть.

Арендт Николай Федорович (1785–1859) — хирург, лейб-медик.

Альнаскар (Альнаскар) — отставной мичман, персонаж из комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818).

Платон (427–347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

Декарт Рене (1596–1650) — выдающийся французский философ, физик, математик и физиолог.

Эпиграф взят из поэмы Байрона «Дон Жуан» (1824).

Финская Пальмира (Северная Пальмира) — то есть Петербург. Пальмира — древний город в Сирии, славившийся пышностью и богатством (I тысячелетие до н. э.).

Гогарт Вильям (1697–1764) — английский живописец и гравёр, изображавший бытовые и уличные сцены.

...гуси, забыв капитолийскую гордость... — Гуси у древних римлян считались священными птицами и находились в Капитолии, так как, по преданию, они спасли Рим, предупредив своим гоготанием спавших жителей о приближении врагов.

...писателю апологов... — Аполлог — аллегорический рассказ, басня. Возможно, имеется в виду И. И. Дмитриев (1760–1837), писавший апологи.

...пустынника Галерной гавани, или Коломны, или Прядильной улицы... — Подразумеваются популярные в журнальной литературе 20 — 30-х гг. псевдонимы критиков; напр... «Житель Галерной гавани» — псевдоним О. М. Сомова; под псевдонимом «Лужицкий старец» выступали М. Т. Каченовский, М. П. Погодин и П. Л. Яковлев (см.: В. Г. Белинский. Поли. собр. соч... т. VIII. М... Изд-во АН СССР, 1955, с. 690).

...гирлянда с цветами из «Потерянного рая»... — по-видимому, одна из причуд моды того времени, взятая с богатого орнаментом красочного описания эдема с его цветами, кущами, виноградными гроздьями, лаврами, миртами в издании поэмы Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667).

Изида — египетская богиня. «Покрывало Изиды» олицетворяет тайну.

Окен Лоренс (1779–1851) — немецкий философ и естествоиспытатель.

Кастор и Поллукс — по греческой мифологии, неразлучные братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды.

Чичисбеизм — обычай в старой Италии, по которому замужняя женщина не может прогуливаться без сопровождения постоянного спутника.

Лавка Петелина . — Петелин — петербургский торговец женскими нарядами.

...жили в Аркадии... — Аркадия — страна, где протекала идиллическая, счастливая жизнь.

...в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень... — неточная цитата из стихотворения А. Мицкевича «Первоцвет» (1820–1821).

Мизогин — ненавистник женщин.

Мария Стюарт (1542–1587) — шотландская королева. Была казнена английской королевой Елизаветой, обвинившей ее в заговоре.

Генрих IV (1553–1610) — французский король, первый из династии Бурбонов. В 1593 г... во время гугенотских войн, перешел в католичество, в 1598 г. издал Нантский вердикт о предоставлении гугенотам свободы вероисповедания.

...восхищаться гением нашего великого Петра... и всего более под Прутом... — Имеется в виду Прутский договор 1711 г. между Россией и Турцией, подписанный Петром I.

Селадон (фр.) — имя героя романа французского писателя д'Юрфе (1568–1625) «Астрея», ставшее нарицательным для определения сентиментального возлюбленного, а также волокиты.

Темляк (польск). — петля из ремня или ленты на рукоятке холодного оружия, надеваемая на руку при нанесении удара.

Эпиграф взят из трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт» (1801).

Криспен — слуга, герой комедии Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707).

...аттической формой рук... — Здесь: изящная, стройная.

Дафнис и Меналк — герои любовной, идиллической поэзии XVI–XVII вв.

Барабинская степь — расположена между реками Иртыш и Обь, в пределах теперешней Новосибирской области.

...свадебные подножки... (устар.) — коврик, постилаемый во время обряда венчания.

Шнеллер (нем.) — спуск у пистолета.

Мемнова статуя — статуя в Египте, издававшая при восходе солнца дрожащий звук, что объяснялось сменой температуры дня и ночи.

Вечер на кавказских водах в 1824 году *

Впервые — в «Сыне отечества и Северном архиве», 1830 год, №№ 38, 39, 40, 41, за подписью: А. М... с пометкой: Дагестан. 1830 (продолжение обещано).

Линейные казаки — казаки, поселенные на Кавказской линии (по рекам Терек и Кубань).

Нижегородский драгунский полк — один из старейших русских полков, сформирован в 1707 г. С конца XVIII в. был направлен на Кубань для охраны Кавказской линии.

Ремонтер — офицер, закупающий лошадей для полка

...трансцендентальной философии... — идеалистического учения о потустороннем мире, недоступном познанию.

Шампольон Жан-Франсуа Младший (1790–1832) — французский ученый, положивший начало расшифровке египетской иероглифической письменности.

Солитер (фр.) — крупный бриллиант.

...масонских лож... — Масонство — религиозно-этическое учение, возникшее в начале XVIII в. в Англии и затем распространившееся в других странах. Организационная форма масонства была заимствована из обихода средневековых цеховых объединений каменщиков (отсюда название: масоны, франк-масоны — «вольные каменщики»). Будущие декабристы использовали масонские организации в целях конспирации. В 1822 г. они были запрещены правительством.

...от Макарья... — Имеется в виду знаменитая русская ярмарка на р. Ушке. В 1817 г. она была перенесена в Нижний Новгород, но сохранила прежнее название.

Тамплиеры (храмовники) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного в 1119 г. во время крестовых походов.

Подкумок — горная река в окрестностях Кисловодска.

...струями Эперне. — Эперне — местность и городок во Франции, центр производства шампанских вин.

Амстердамский банк — крупнейший банк, основанный в 1609 г.

Гардемарин (фр.) — воспитанник морского кадетского корпуса.

Торквемада Томас (1420–1498) — испанский инквизитор, доминиканский монах; осудил на сожжение более десяти тысяч «еретиков».

Тифон — сильный ветер, резко меняющий свое направление; смерч.

Карронады — чугунные пушки большого калибра, впервые изготовленные в 1779 г. заводом Каррон в Шотландии. Предназначались для флота.

Глаголь — здесь: виселица.

...при начале войны конфедератов... — Речь идет об освободительном польском восстании 1794 г. против реакционного магнатства, захватившего власть в 1792 г. и интервенции царской России в Польшу. Восстание готовилось прогрессивными шляхетско-буржуазными элементами, которыми руководил Тадеуш Костюшко (1746–1817).

...об ужасной варшавской заутрене... — Восстание в Варшаве вспыхнуло ночью 17 апреля 1794 г... поляки разбили русскую армию и освободили город. Окончательно царские войска взяли Варшаву только в ноябре 1794 г.

Майонтка (польск.) — владение, поместье.

Станислав Август Понятовский (1732–1798) — последний польский король,

правивший с 1764 по 1795 г... ставленник крупных магнатов; во время восстания 1794 г. вел предательскую политику; в 1795 г. после третьего раздела Польши отрেকেя от престола.

Игельстром О. А. (ум. в 1817 г.) — русский генерал, командующий русскими войсками в Польше в 1793 г.

Посполитое рушение — всеобщее шляхетское ополчение феодальной Польши, существовало с XIII по XVIII в. В XVI в... в связи с появлением постоянного войска, посполитое рушение теряет свое значение.

Сухарева башня — здание в готическом стиле, построенное Петром I в Москве в 1692 г. в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным Петру во время бунта 1689 г. Разобрана в 1935 г.

Центавры (кентавры) — в греческой мифологии древнее племя, якобы населявшее Фессалию; изображалось в виде полулюдей-полуконей.

Ратовики (ратовье, ратовище) — древко копья.

Флюгарки (польск.) — флажки с изображением какой-нибудь эмблемы.

Фольварк — отдельное поселение, усадьба, хутор.

Фараонова корова — библейское выражение, основанное на рассказе о том, как семь тощих коров съели семь тучных и не стали от этого полнее.

Фаларидов бык — медный бык агригентского тирана Фаларида (2-я пол. VII в. до н. э.), который жарил в нем ненавистных ему людей.

Кружало (истор.) — в старину в России — питейный дом, кабак.

Кантовать (кантуй). — Здесь: кутить, пировать (устар.)

Копыл (копылка) — брусочек в полозьях саней, служащий для опоры кузова.

Страсбургская колокольня — колокольня знаменитого Страсбургского собора, в архитектуре которого были отражены все средневековые стили зодчества.

Ляшка Белый — Лешек Белый (ок. 1186–1227 гг.), польский король, сын Казимира Справедливого и русской княжны Елены.

...дома Тарлов... — Имеется в виду известный дворянский польский род, восходящий к началу XV в. и потерявший свое значение ко 2-й пол. XVIII в.

Бардзо пришемный! (польск.) — очень милый, приятный.

Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) — выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима.

Фантом — призрак, видение.

Попель — полупоупендарный польский король; по преданию, отравил всех своих родственников, а сам был съеден мышами. Династия Попелей кончилась ок. 860 г.

...подполковник Тучков — Николай Алексеевич Тучков (1765–1812), участник войн со Швецией (1788–1790) и Польшей (1792–1794); убит в Бородинском сражении.

...кивер зверски набекрень... — строка из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара» (1819).

Лансада (спорт.) — крутой и высокий прыжок верховой лошади.

Костюшко Тадеут-Аидрей-Вонавентура (1746–1817) — вождь польского восстания 1794 г.

Мыза (финск.) — загородный дом, дача с отдельным хозяйством.

...как пучина Левкада... — В Древней Греции с Левкадийской скалы ежегодно сбрасывали в море одного преступника для искупления грехов всего населения. Ему не давали утонуть, но заставляли навсегда покинуть страну.

Астольфов гиппогриф — образ сказочной лошади из героической поэмы «Неистовый Роланд» (1516) итальянского поэта Лудовико Ариосто (1474–1533).

Гершелев телескоп. — Гершель Вильям (1738–1822) — выдающийся английский астроном, открывший планету Уран и ее спутники; в 1790 г. с помощью гигантского телескопа открыл два новых спутника Сатурна.

...о супе из костей графа Румфорда... — Румфорд-Бенджамин-Томпсон (1753–1814) — английский физик, покровительствовавший бедным и кормивший их супом

из костей, дешевых продуктов; позднее этот суп стали называть «Румфордов суп».

...о поездке на пароходе в Кронштадт... — Первый пароход в России — «Елизавета» — был построен в Петербурге в 1815 г... плывал между Петербургом и Кронштадтом,

...о ... бомбардировании Копенгагена... — Копенгаген сильно пострадал в 1807 г. от бомбардировки англичан.

...заглавный листок «Телеграфа»... — Имеется в виду журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», издававшийся с 1825 г. Программа его отличалась пестротой. А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» иронически отмечал, что этот журнал «...заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках». Впоследствии А. Бестужев сблизился с «Московским телеграфом», сотрудничал в нем.

Мантелет — особый щит, защищающий от пуль при осадных работах.

Страшное гаданье*

Рассказ. Впервые — в «Московском телеграфе», 1831 год, №№ 5 и 6, за подписью: Александр Марлинский, с пометкой: 1830 г. Дагестан.

Лутковский Петр Степанович (ок. 1800–1882 гг.) — морской офицер, друг Михаила и Александра Бестужевых; был близок к кругам декабристов. Его брат Ф. С. Лутковский (1803–1852) привлекался по делу декабристов.

Кика — праздничный головной убор замужних женщин.

«Красавица озера». — Имеется в виду поэма «Дева озера Лакатринского» (1810), то есть Елена Дуглас, героиня английского романиста Вальтера Скотта (1771–1832).

...с одною барскою барынею. — Так крепостные крестьяне иронически называли служанок в помещичьих домах.

Лейтенант Белозор*

Впервые — в журнале «Сын отечества и Северный архив», 1831 год, №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, за подписью: Александр Марлинский, с пометкой: Дагестан, 1830. Текст сверен с беловым автографом, хранящимся в Архиве Бестужевых (ИРЛИ).

Эпиграф взят из стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824). Первая и четвертая строки цитируются А. Марлинским неточно.

...блокировал при голландских берегах флот французский... — г В 1806 г. Наполеон ввел континентальную систему для подрыва экономического и политического могущества Англии. Англия в ответ на это блокировала в ноябре 1807 г. все порты Франции, Голландии и других европейских стран, присоединившихся к системе Наполеона. С 1812 г. приняла участие в этой блокаде и Россия.

Фальшфейер (нем.) — старинное сигнальное устройство, применяемое на судах для указания их местонахождения и для иллюминации.

Стеньга — верхняя надставная часть мачты.

Шканцы — часть верхней палубы на военных парусных судах, где происходят официальные церемонии.

Битенг — чугунная тумба на палубе на пути движения якорной цепи.

Льяло — водосточный канал вдоль борта в нижней части трюма корабля.

...держим на храпу... — Здесь: работа помп (насосов) с предельной силой.

Марсарей — рей, к которым прикрепляется прямой парус.

Рангоут — совокупность оборудования верхней палубы.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831) — выдающийся русский адмирал, сподвижник Ф. Ф. Ушакова; был главнокомандующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море во время 2-й Архипелагами экспедиции русского флота 1805–1807 гг.

...бить рынду... — звонить в колокол в полдень (от англ. ring the belle — звонить в колокол).

Сейтали — приспособление из блоков и троса для обтягивания канатов, поддерживающих мачту, для подъема тяжестей.

...обрасопить нос... — повернуть.

Рифмарсель (голл.) — ряд продетых сквозь парус веревок, с помощью которых можно управлять парусом трапецевидной формы.

Репетичный фрегат — фрегат, служащий для немедленного повторения сигналов флагамена.

Выговорная пушка — пушка, подающая сигнал кораблю.

Бейдевинд — курс парусного судна против ветра.

Шкоты (голл.) — снасть для управления парусом.

Бизань (голл.) — парус на самой задней мачте.

Ванты (голл.) — снасти для бокового крепления мачт.

Ют — кормовая часть верхней палубы судна.

Ростра — площадка над палубой судна для установки шлюпок.

Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Ричард III» (1592).

Эней — в греческой мифологии один из троянских героев, сын царя Анхиза и богини Афродиты. Римский поэт Вергилий (70–19 гг. до н. э.) описал приключения Энея в поэме «Энеида».

...нового французского короля Луциана... — Речь идет о брате Наполеона I, Луи Бонапарте, который был провозглашен главой Голландского королевства в 1806 г. Он проводил слишком самостоятельную политику и нарушал континентальную блокаду, вследствие чего был отстранен от власти и королевство было включено в состав Французской империи.

...выброшен из кита, словно Иона... — Иона — один из библейских пророков; согласно легенде, он три дня пребывал в чреве кита.

Гебея (Геба) — в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры; на пирах богов выполняла обязанности виночерпия.

Брюсов календарь — настольный календарь, составленный библиотекарем В. Куприяновым под наблюдением Якова Брюса в 1709–1715 гг. Содержал астрономические данные, церковные справки и астрологические предсказания.

Пико де ла Мирандола Джованни (1463–1494) — итальянский философ и ученый эпохи Возрождения, полиглот.

Рюйтер (или Рейтер) Михаил-Адриансон (1607–1676) — голландский адмирал.

Оранжисты — монархическая группировка, сторонники династии принцев Оранских-Нассау в Нидерландах.

Бурмицкие зерна (бурмитские) — крупные, окатные (круглые) жемчужины.

...воздушные вавилонские сады... — то есть «висячие сады» Семирамиды, легендарной ассирийской царицы. Сады эти считались в древнем мире одним из «семи чудес света».

Фризские кони — лошади из северо-восточных районов Германии, где в древние времена жило германское племя фризов.

Мета — здесь: намеченная черта, остановка.

...мавританских замков в Альгамбре... — Имеются в виду мавританские архитектура и искусство, созданные арабскими завоевателями в Испании. Самым значительным памятником этой архитектуры является крепость-дворец Альгамбра около Гранады (XIII–XIV вв.).

Аргус — в греческой мифологии стоглазый великан, зоркий страж.

Конфуций (Кун-цзы, 551–479 гг. до н. э.) — известный древнекитайский философ.

Теньер (Тенирс Давид Младший; 1610–1690) — фламандский живописец-жанрист, основатель антверпенской Академии художеств (1663).

Ван дер Неер (1603–1677) — голландский живописец-пейзажист.

Остаде — голландские живописцы: Адриан ван Остаде (1610–1685) и его брат и ученик Исаак ван Остаде (1621–1649).

Вуверман (Водверман) Филипп (1619–1668) — голландский живописец.

Ван-Дик (Ван-Дейк) Антонис (1599–1641) — выдающийся фламандский живописец, ученик Рубенса.

Витт Ян (1625–1672) — известный нидерландский деятель.

Бинг Джон (1704–1757) — английский адмирал.

Кальян (перс.) — прибор для курения табака у восточных народов.

Аббас I (1557–1628) — иранский шах.

Типпо-Саиб (Типу-Султан; 1750–1799) — правитель южноиндийского княжества Мансур в 1782–1799 гг... возглавивший борьбу против английских колонизаторов.

Элезинские таинства — религиозные обряды, совершавшиеся в Древней Греции, в городе Элевзине.

Экклезиаст (греч. проповедник) — одна из книг Ветхого завета, проникнутая пессимизмом.

Манфред — герой одноименной поэмы Байрона (1817).

Перкинс — английский механик, производивший с 1823 г. опыты по применению пара высокого давления в паровых машинах.

Дженкинс, Допкинс — видимо, иронические условные имена английских изобретателей.

...являлся... подобно карпам в пруде Марли. — Марли — дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721–1723 гг.; в прудах около дворца была рыба, по звону колокольчика подплывавшая к берегу и получавшая корм.

Филиппика (филиппики, греч.) — обличительные гневные речи против какого-нибудь лица.

Пери — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов».

Эпиграф взят из поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька» (1775).

Элизиум, элизий (лат.) — в античной мифологии — благодатное место на крайнем западе земли, где блаженствуют избранники богов.

Франциск I (1494–1547) — французский король; в начале своего царствования покровительствовал ученым, литераторам, художникам.

Пирамида Вестриса. — Здесь спутаны имена французского балетмейстера Вестриса и египетского фараона Сезостриса.

Фуше Жозеф (1759–1820) — буржуазный политический деятель Франции. Был тленом Конвента, позднее (1799–1810 гг.) министром полиции Наполеона I.

Рыцарь Меркуриева жезла — то есть всезнающий человек, разносчик вестей. Меркурий в древнегреческой мифологии — вестник богов. В руке он держал жезл.

Монтань (Монтень Мишель де; 1533–1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор «Опытов» (1580).

Эпиграф взят из комедии Н. И. Хмельницкого (1789–1845) «Воздушные замки» (1818).

Обручение дожа с морем... — обычай в Венеции: новый дож бросал в море кольцо, что символизировало его обручение с морем.

Эпиграф взят из «Послания к слугам моим» (1763) Д. И. Фонвизина.

Смоглер — контрабандист,

Тартана — цветная шотландская материя.

Юнгфров (голл.) — барышня.

Буцефал — так звали коня Александра Македонского.

Эпиграф взят из басни И. А. Крылова «Ворона и Курица» (1812).

Тендер (англ.) — небольшое одномачтовое парусное спортивное судно.

Бугшприт — передняя мачта на парусном судне, лежащая наклонно вперед, за водорез.

Прелиминарная статья — основное предварительное условие.

Фальконет (англ.) — старинная пушка, стрелявшая свинцовыми снарядами.

Погонные пушки — установленные для стрельбы прямо по носу корабля.

Обдуй фитиль! — Фитиль — приспособление для взрывания снарядов. Здесь: очистить фитиль.

Гафель (голл.) — специальный рей, служащий для прикрепления верхней кромки паруса.

Топсель — рейковый парус треугольной (иногда четырехугольной) формы.

Форкастель — небольшой помост на палубе над средней частью судна.

Линьки — веревка тоньше одного дюйма, служившая на судах для телесного наказания.

Брандер (нем.) — судно, применяемое для поджога неприятельских судов.

Верп — малый, вспомогательный якорь.

Бакишоф — канат, с помощью которого одно судно укрепляется за корму другого.

Эолова арфа — в греческой мифологии арфа повелителя ветров Эола.

Термин — в древнеримской мифологии бог — охранитель границ.

Кроншлот — отдельное укрепление к югу от Кронштадта, заложенное Петром I в 1703 г.

Латник. Рассказ партизанского офицера *

Впервые — в «Сыне отечества», 1832 год, №№ 1, 2, 3, 4, за подписью: А. М... с пометкой: Дагестан, 1831.

Сеславин А. Н. (1780–1858) — генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 г.; первым заметил отступление французских войск и сообщил об этом М. И. Кутузову.

Местечко Ошмяны — расположено на берегу р. Ошмяны (бассейн Немана), по бывшей Виленской дороге.

Аудиторы — чиновники, исполнявшие при военных судах должность следователя, прокурора и секретаря, а во время походов заведовавшие обозом, квартирмейстеры.

...разрешать гордые узлы по-александровски. — По преданию, Гордий, родоначальник одной из фригийских династий, привязал узлом ярмо к дышлу колесницы, подаренной им в храм Зевса. Оракул предсказывал, что тот, кто развяжет узел, будет владеть Азией. Александр Македонский разрубил узел мечом.

Крест Почетного легиона — французский нагрудный знак отличия, учрежденный Наполеоном в 1802 г.

Флигельман (нем.) — фланговый солдат.

Саква (сак) — холщовая переметная сума на седло для овса или сухарей.

...заговоренная кожа Ахиллеса. — Тело Ахиллеса, одного из храбрейших древнегреческих героев, было неуязвимо, кроме пятки, за которую держала его мать, богиня Фетида, купая ребенка в волшебном ручье. В Троянской войне он и был смертельно ранен в пятку стрелой Париса.

Платов Матвей Иванович (1751–1818) — герой Отечественной войны 1812 г... атаман донского казачьего войска.

...в получении Анны на шпагу! — Голштинский орден св. Анны, учрежденный в 1735 г... с 1797 г. вошел в состав русских орденов.

Тамбурмажор — старший над музыкантами в полку.

...у него на лице написано число 666... — Число 666 — «звериное число» в Апокалипсисе (одной из книг Нового завета), под видом которого якобы скрыто имя антихриста. Церковники утверждали, что Наполеон I — «апокалипсический зверь» (антихрист), находя в численном значении еврейского начертания его имени число 666.

...грабе... (грабий, польск.) — граф.

Кляштор (польск.) — монастырь.

Демосфен (384–322 гг. до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель.

Шуран — поместье на Каме, принадлежавшее помещику П. А. Нармацкому, отличавшемуся, по народному преданию, использованному А. Марлинским, жестоким и буйным характером. Как сообщает П. Н. Суворов в «Записках о прошлом» (М... 1899, ч. I), в подземельях этого замка погибло много жертв его владельца.

...как тень Саула. — По библейской легенде, Саул, иудейский царь (XI в. до н. э.), пришел к власти с помощью пророка Самуила, но затем стал действовать самовластно и мстительно. Перед битвой с филистимлянами Саулу явилось видение умершего Самуила и предрекло Саулу гибель в этом сражении (Первая книга царств, гл. 28). У Марлинского: сам Саул, напоминание о нем (его тень) — символ рока, гибели.

...там был сам Наполеон. — Наполеон, тайно покинув свою армию в декабре 1812 г. в местечке Сморгонь, близ Ошмян, передал командование Мюрату.

...были, геркулесовскими столбами его поприща. — Геркулесовы столбы — древнее название Гибралтарского пролива, за которым, по мнению древних народов, находился конец Земли. Здесь: конец какого-либо дела.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)